

Доминик-Жозеф Гара

Философские сочинения

Фрагменты из «Анализа разума» и «Исторических мемуаров о жизни г-на Сюара». А также развернутая критика Гара авторства мистика Сен-Мартена.

Перевод с французского

Перед вами сочинения человека, который одновременно был философом, преподавателем, журналистом и участником Французской революции. Поэтому здесь встретятся и рассуждения о происхождении человеческих знаний, и ответы на возражения слушателей, и рассказы о философах XVIII века, и политические оценки уходящей эпохи революции. Этот человек - **Доминик-Жозеф Гара** (1749–1833), представитель французского сенсуализма и один из тех авторов, через которых философия позднего Просвещения перешла в школу «идеологов». Для нас особенно важны его *«Анализ человеческого разума»* (1795) и *«Исторические мемуары о жизни г-на Сюара, его сочинениях и XVIII веке»* (1820). В первом случае мы видим, как Гара сам преподаёт философию, а во втором - как он описывает среду, в которой эта философия складывалась.

С характером этих текстов связана и особенность их первоначального издания. Лекции Гара 1795 года печатались в общем собрании *«Лекций Нормальных школ»*, вместе с курсами других преподавателей. Отдельно выходили лекции, отдельно - обсуждения, в которых преподаватели отвечали на вопросы и возражения слушателей. Поэтому *«Анализ человеческого разума»* приходится читать вместе с соответствующими «Дебатами»: именно там некоторые положения изложены подробнее, чем в самом курсе. Кроме того, среди выступлений Гара встречаются письма и рассуждения его оппонентов. Их присутствие позволяет увидеть, какие идеи он защищал, против кого выступал и почему его сенсуализм уже тогда вызывал обвинения в материализме.

Теперь несколько слов об авторе. Гара родился в Байонне, получил образование в Бордо и начал свою карьеру как адвокат. Перебравшись в Париж, он вошёл в литературную и философскую среду, сотрудничал с *«Меркурием Франции»* и *«Парижским журналом»*, писал исторические похвальные речи. Среди героев этих сочинений были канцлер Мишель де Лопиталь, Сугер, герцог де Монтозьё и **Фонтенель**. Некоторые из этих работ получили академические премии. Ещё до революции Гара преподавал историю. Таким образом, к 1789 году он уже был известен как литератор и преподаватель, связанный с культурой французского Просвещения. В 1789 году Гара был избран депутатом от третьего сословия Лабура. В Учредительном собрании и журналистике его интересовали законодательство, судебная организация и происходившие общественные перемены. В октябре 1792 года он сменил Дантона на посту **министра юстиции**. Именно ему пришлось сообщить Людовику XVI о смертном приговоре. В марте 1793 года Гара стал министром внутренних дел, но уже в августе оставил эту должность. Его связи с жирондистами и попытки действовать между враждующими политическими группировками делали положение особенно трудным. Позднее он работал в области общественного образования, был дипломатом и членом Совета старейшин, а при Наполеоне стал сенатором и графом империи. Его политическая биография, как и биографии многих «идеологов», далеко не свободна от компромиссов.

Для истории философии наиболее важен другой эпизод его деятельности. В 1795 году Гара преподавал анализ человеческого разума в Нормальной школе, созданной для подготовки преподавателей новой Франции. В том же году он стал членом класса нравственных и политических наук Национального института. Здесь его работа оказалась частью общего движения, к которому принадлежали **Кабанис**, **Дестют де Траси**, **Вольней**, **Рёдерер**, **Дону** и другие представители школы «идеологов». В основе этого движения лежало стремление исследовать человека, его познавательные способности и общественную жизнь средствами наблюдения и анализа.

Для Гара главными философскими предшественниками были **Бэкон**, **Локк**, **Кондильяк** и **Бонне**. Его *«Анализ человеческого разума»* представляет собой попытку сделать сенсуалистическую философию основой массового образования. Гара начинает с органов чувств и ощущений, затем переходит к способностям разума, образованию идей, знакам и языкам, а завершить курс намеревается общим учением о методе. Это программа, в которой логика связана с первоначальным опытом человека и с тем, как он учится различать собственные впечатления. Гара прямо выступает против философов, которые объявляют чувства источником

одних только ошибок. Среди таких врагов разума он называет Платона, Мальбранша и даже некоторых последователей Локка. В одной из лекций он формулирует свою позицию следующим образом:

«Я докажу, что если смутные ощущения служат источниками иллюзий, то точные ощущения служат источниками истин; что если наши ощущения ничему нас не учат, когда мы ищем в них знания, которых в них быть не может, то, правильно отыскивая то, что в них есть, мы найдём знания, которые будут весьма естественными и покажутся нам почти чудесными; что когда одно из наших чувств готово нас обмануть, все остальные готовы предупредить нас о его обмане; что следует не порочить чувства, а направлять их, не унижать, а помогать им, не разделять, а соединять, чтобы удостоверять и подтверждать неуверенные сообщения каждого единодушными и, так сказать, юридическими свидетельствами всех.

Галилей, который, несомненно, знал об иллюзиях чувств, поскольку так хорошо их избегал, не проводит часть своей жизни в сетованиях на слабость, обманчивость и ограниченность органа зрения. Он устанавливает телескоп, который представляет собой как бы другой орган зрения, созданный искусством и гением, и тотчас открывает новые небеса; а открытые им спутники Юпитера становятся самыми постоянными и надёжными проводниками наших мореплавателей среди неизвестных путей и опасностей океана».

Это место особенно интересно для истории нашей традиции. Исправление чувственного знания Гара связывает с более точным наблюдением, сопоставлением показаний разных органов и использованием инструментов. Само развитие науки служит для него доказательством того, что человеческие чувства можно совершенствовать. Отсюда следует и педагогическая задача: обучать человека правильному пользованию собственными способностями. При этом язык занимает в его курсе огромную роль. Знаки позволяют удерживать, расчленять и соединять идеи, а плохо устроенный язык способен запутать даже те отношения, которые сами по себе доступны пониманию.

Особенно показательны обсуждения Гара с **Луи-Клодом де Сен-Мартеном**, отстаивавшим самостоятельность духовного начала и возражавшим против происхождения всех знаний из ощущений. Здесь спор выходит на вопрос о том, может ли материя чувствовать и мыслить. Гара отказывается выдавать недостаточно исследованную физиологическую гипотезу за доказанный факт. Однако и противникам материализма он не позволяет прикрывать незнание уверенными заявлениями о невозможности мыслящей материи. В ответе Сен-Мартену он говорит:

«Если бы я столь же очевидно видел, что наши ощущения являются явлениями определённой организации материи, как я очевидно вижу, что все наши мысли представляют собой лишь простые, отвлечённые или соединённые ощущения, я основал бы своё учение на первом из этих принципов так же, как на втором. Но второй для меня - факт, который я принимаю, а первый - гипотеза материалистов, в которую я не вмешиваюсь, потому что если у них нет доказательства, которое они могли бы мне предъявить, то и у меня нет доказательства, которое я мог бы предложить им.

Спиритуалист и материалист оба говорят больше, чем я; знают они не больше. Я отказываюсь подниматься так высоко, как они, чтобы опереться на основание, доступное мне и которое ничто не может поколебать».

При этом Гара замечает, что религиозные догматы опираются на исторические свидетельства, которые не могут перевесить математическое доказательство или истину естествознания, установленную постоянными и всеобщими показаниями чувств. А дальше прямо заявляет: если бы материализм был истиной, он считал бы его полезным, как всякую истину.

Такие формулировки хорошо показывают характер его философии. Гара защищает сенсуалистический анализ, признаёт связь ощущений с деятельностью органов, но считает устройство нервов и мозга слишком мало изученным для окончательного решения вопроса. Вместе с тем в поздних мемуарах он защищает существование Бога и бессмертие души, а об атеизме Дидро и Гольбаха пишет с явным неодобрением. Эти различия между ним и более последовательными материалистами стоит учитывать при чтении.

В «Дебатах» есть и важное обсуждение **Гельвеция**: обладают ли все нормально организованные люди одинаковой способностью к умственному развитию, а различия между ними создаются воспитанием и обстоятельствами? Гара придаёт огромное значение образованию, но напоминает и о внутренней организации человека, прежде всего мозга. В качестве простого примера он приводит действие чашки кофе: после неё умственные операции становятся более быстрыми, хотя изменились прежде всего физические условия работы организма. В этом рассуждении уже хорошо виден круг вопросов, который позднее будет подробно исследовать Кабанис. При этом практический вывод Гара состоит в том, что воспитание и метод доступны нашему воздействию, поэтому именно на них следует сосредоточить усилия.

Другой важнейший источник - двухтомные *«Исторические мемуары о жизни г-на Сюара, его сочинениях и XVIII веке»* (1820). Биография писателя и переводчика **Жана-Батиста-Антуана Сюара** становится здесь способом рассказать об интеллектуальной жизни целого столетия. Гара описывает салоны, журналы, переводы, дружеские отношения, споры и совместное обсуждение рукописей. Часть этих рассказов основана на его собственных впечатлениях, часть - на воспоминаниях Сюара. Поэтому книга интересна и как источник по истории философии, и как свидетельство того, каким образом идеи распространялись между людьми ещё до того, как получали окончательную печатную форму. Но для нас особенно ценны рассказы о доме **Гольбаха**, о судьбе книги **Гельвеция** «Об уме», о возражениях **Дидро**, о философии **Кондильяка** и о связях французских авторов с **Юмом**, **Адамом Смитом**, **Беккариа** и **Верри**. Здесь можно увидеть, как философы, защищавшие друг друга от преследований, одновременно резко расходились в оценке своих учений. Гара рассказывает, как Сюар собирал и объяснял Гельвецию замечания его друзей, как за обедами обсуждались положения будущей книги и как Дидро спорил о соотношении воображения, красноречия и строгого анализа. Эти эпизоды помогают восстановить конкретные связи между мыслителями, которых история философии слишком часто размещает по отдельным учебным рубрикам.

В тех же мемуарах содержится и поздняя защита философии опыта против **Канта**, и защита увлечения немецкой метафизикой у **мадам де Сталь**. Гара сохраняет высокое мнение о её литературном таланте и даже хватит отвратительно убогое произведение *«О Германии»*, но все таки отстаивает достижения Локка, Кондильяка и Бонне. Для истории сенсуализма это особенно важный эпизод. Один из представителей старшего поколения «идеологов» продолжает защищать своё направление уже тогда, когда во Франции усиливаются совершенно другие философские влияния. Рядом с этими рассуждениями находятся оценки **Ларомигьера**, шотландской философии и роли анализа в политической экономии.

Наконец, Гара постоянно возвращается к общественному значению образования. В позднем рассказе о Нормальной школе он подчёркивает, что её слушатели имели право задавать вопросы преподавателю, возражать ему и вступать с ним в импровизированные споры. Задачей образования он считал развитие здравого смысла у целого народа. Именно поэтому теория познания занимает у него такое большое место в рассуждениях о революции: изменение общественного порядка связано с изменением способов мыслить, наблюдать и судить. Его уверенность в могуществе образования иногда чрезмерна, но сама связь сенсуалистической философии с реформой преподавания представляет большой исторический интерес.

Поэтому, в рамках проекта по восстановлению философской традиции эпикурейского материализма, Гара важен прежде всего как деятель французского сенсуализма, участник становления школы «идеологов» и свидетель связей между философами XVIII века. В его работах

сохранились и защита чувственного знания, и споры о воспитании, и рассуждения о физических условиях умственной деятельности, и подробные рассказы о Гельвеции, Дидро и Гольбахе. Собранные здесь тексты позволяют познакомиться с его собственными идеями и одновременно проследить, как наследие Просвещения преподавалось, обсуждалось и защищалось в революционной и послереволюционной Франции.

Содержание

Содержание	1
Анализ разума (1795)	2
Из первого тома сборника лекций, прочитанных в Нормальной школе.	2
Из второго тома лекций, происходивших в нормальной школе	13
Из первого тома дебатов, происходивших в Нормальной школе.	26
Из третьего тома дебатов, происходивших в нормальной школе	36
Фрагменты из книги Исторические мемуары о жизни г-на Сюара, о его сочинениях и о XVIII веке (1820)	55
Религия, материализм и кружок Гольбаха	55
Гельвеций и судьба «Об уме»	59
Спор Сюара с Гельвецием и Дидро	64
Кондильяк, Локк, Кант и де Сталь	69
О философии Англии	76
Философия познания, революция и Нормальная школа	79
По поводу Пьера Бейля	81
По поводу Фонтенеля	82
Кратко о Кондильяке, Дидро, Гельвеции	84
Юм во Франции и его конфликт с Руссо	88
Адам Смит и шотландская философия	95
Связи французского и итальянского Просвещения	99
Политическое расхождение философской среды: Лавуазье, Кондорсе, Тюрго, Морелле; затем - исключение моральных и политических наук из Института	104
Луи-Клод де Сен-Мартен - гражданину Гара, профессору курса о человеческом разуме в Нормальных школах (1795)	108

Анализ разума (1795)

Из первого тома сборника лекций, прочитанных в Нормальной школе.

*Ибо чистота озарения и свобода воли одновременно
возникли и одновременно пали; и во всей вселенной нет более
тесной связи, чем связь между истиной и благом.*
- БЭКОН.

ПРОГРАММА

Самое прекрасное свойство человека, то, благодаря которому он занимает первое место среди всех существ, обитающих на земле, - это его рассудок, его разум. Всё, что делает человек, всё, чего он желает, и даже во многих отношениях всё, на что он способен, зависит в конечном счёте от того, как он чувствует вещи, как он их видит, как он о них рассуждает и как он их, в некотором смысле, понимает. В его мыслях всегда присутствует некий образ или идея - отчетливая или смутная, реальная или вымышленная, истинная или ложная, - на основании которой он строит свои замыслы, исполняет свои труды, определяет свою волю и совершает свои поступки. Слабость и сила человека, его заблуждения и мудрость, его пороки и добродетели, его лишения и наслаждения, все его качества и все его судьбы проистекают, словно из единого источника, из его *рассудка*.

К сожалению, разум не является способностью, которая была бы неизменной и постоянной ни для одного и того же человека, во все времена, ни для всех людей одной и той же нации, ни для одних и тех же народов во все века. Природа, по-видимому, заложила это семя почти повсеместно в человеческую проницательность; но у большинства людей, народов и веков это семя остается бесплодным. У одних развитие начинается и навсегда замирает на самых слабых зачатках; другие достигают большего прогресса, но вступают на ложные пути и продвигаются по ним, и тогда сами приобретения ума становятся губительными для человеческого разума.

Ни в одном веке, ни у одного народа и ни у одного человека разум еще не обладал той достоверностью, тем блеском и тем масштабом, на которые, как мы теперь отчетливо видим, он способен. Столь огромное неравенство в том, как люди наделены этой общей для всех способностью, должно было стать и во все времена становилось феноменом, который поразительным образом занимал умы: люди искали причины этого явления, и, поскольку найти их было непросто, воображали самые странные вещи.

Иногда, чтобы объяснить гений, отличавший некоторых людей и определенные народы, предполагали, что они вдохновлены богами. Это объяснение тех времен, когда разум встречался так редко, что должен был казаться чем-то чуждым человеческой природе. В других случаях различие умов приписывали различию душ; и из двух слов, выражающих одно и то же, когда они вообще выражают что-то реальное, одно выдавали за решение проблемы, которую ставило другое.

В иных случаях философы, считавшие себя более глубокомысленными и старавшиеся, по крайней мере, держаться ближе к природе, полагали, что раскрыли её секрет, объясняя любое неравенство умов различием в физиологическом устройстве организма. По их мнению, столь явные и поразительные различия в интеллекте двух людей обусловлены едва уловимыми и неопределимыми различиями в их органах чувств и мозга. И поскольку эта причина очевидно верна в некоторых случаях - таких как слабоумие или безумие, - они утверждали, что она верна во всех ситуациях и носит всеобщий характер. Они едва ли не заставили людей поверить, что «Энеида» и закон всемирного тяготения были словно выгравированы рукой самой природы в мозг Ньютона и Вергилия.

В то время как эти дерзкие исследователи причин, ускользающих от всех органов чувств, блуждали в дебрях гипотез, основанных на скрытых принципах, люди более просвещенные - поскольку они были менее амбициозны - заметили причину, находившуюся прямо перед глазами и объяснявшую, по крайней мере в значительной степени, это унижающее неравенство умов. Эту причину они видели в различии обстоятельств, воспитания, обучения, методов и трудов. Существование этой причины очевидно для каждого; оно неоспоримо. Существование же других причин, если они и реальны, ускользает от любого чувственного восприятия; оно остается сомнительным. Эта причина, хотя её и не всегда можно наблюдать во всех её проявлениях, тем не менее действует прямо у нас на глазах; её действие легко направить более верно, чтобы сделать его более полезным. Другие же причины, даже если бы они и были более могущественными, действуют в тех таинственных глубинах, где они скрыты; и заниматься ими бесполезно, поскольку невозможно направить их лучше.

Влияние разнообразия культур - это не гипотеза и не умозрительная система; это факт, и этот факт пронизывает всю вселенную и все века. Он повсеместно повторяется как в истории отдельных личностей, так и в истории целых народов. Каким бы ни было, к примеру, устройство мозга Ньютона или Лейбница, можно быть уверенным: если бы оба они не занимались геометрией, ни один из них не открыл бы метод исчисления бесконечно малых. Народы, которые от времен Гомера до Филопемени жили на побережьях Малой Азии, на островах Архипелага и на материковой части Греции, возможно, были одарены более совершенной природой для искусств и философии, чем все остальные народы земли; однако, если бы у них не было общественных институтов, на редкость благоприятных для развития любых талантов и гения, они могли бы навечно остаться в состоянии варварства, из которого выбрались лишь после столетий проб и ошибок и в которое их столь стремительно вновь ввергло османское иго.

Если и можно было не признавать это влияние культуры на умы, то столь же трудно было не понять, что эта культура, дабы принести все свои благие плоды, должна быть направлена на определенные правила. Ее цель - вести умы к истине; поэтому люди должны были почувствовать, по крайней мере смутно, потребность знать, по какому пути следует идти к истине и по какому признаку ее можно распознать. Народы, которые более всего развивали искусства и науки, поочередно или одновременно избирали себе четырех проводников, чтобы уверенно продвигаться по путям природы и истины: **вкус**; **индукцию**, то есть метод Сократа и его учеников; **силлогистическое искусство** Аристотеля и его школы; и **метод** геометров.

Однако вкус наслаждается своими заблуждениями так же, как и своими самыми изысканными ощущениями; он может легко обмануться, и ничто не предостережет его об этом. Кроме того, его свойство - судить скорее о красоте, чем об истине: будучи верховным и тонким судьей в сфере талантов и воображения, он кажется чужеродным в мире точных наук. Метод Сократа - эти неожиданные вопросы, задаваемые с притворным или искренним невежеством, этот остроумный способ вести или направлять ум через застающий врасплох расспрос к ответу, который человек дает себе сам и который его просвещает, - эта индукция, несомненно, является лучшим методом, какой только природный инстинкт когда-либо давал философу. Она представляет собой своего рода расследование истины по отдельным фактам и пунктам; однако Сократ скорее наткнулся на этот метод по счастливой случайности; он не вывел его из глубокого анализа человеческого разума: этим методом пользовались, не зная, с каких вопросов следует начинать, через какие проходить и какими заканчивать. Бессистемные расспросы приводили к разрозненным ответам; а ясный и всеобъемлющий свет возможен лишь при наличии связи между идеями. Подобные допросы изобличали ложные знания, но не созидали истинную науку; они привели школу Сократа к всеобщему сомнению. Это была точка, с которой следовало отправляться в путь, но отнюдь не тот предел, которого нужно было достичь и на котором стоило остановиться.

Силлогизм упрощает и сковывает суждения в определенной форме; он сжимает и теснит их, представляя единому взору разума. Однако силлогизм не достигает ни ложных значений слов, в которых таятся заблуждения, ни глубин природы, где сокрыты истины. Это своего рода

кулачный бой ума, в котором разум упражняет, умножает и растрчивает свои силы, не совершая при этом никакого полезного для человечества труда.

В самом деле, если бы метод геометров применили ко всем видам идей, то, несомненно, любой из них была бы придана строгая геометрическая точность. Однако люди переняли лишь форму, которой пользуются геометры, но вовсе не их метод. Полагая, что подражают им, они лишь создавали подделки. Чтобы подражать им по-настоящему, следовало бы наделить язык всех наук той же точностью, которой обладают геометры в своем деле; но в таком случае их язык, применимый лишь к их собственным объектам исследования, оказался бы бесполезным. Весь этот аппарат из аксиом, определений, схолий и выводов, которым были обезображены многие труды, не имеющие отношения к геометрии, послужил лишь тому, чтобы, так сказать, отсечь смутные, путанные и ложные представления, скрывающиеся за внушительными и почитаемыми формами.

Потому, пока повсюду прославляли чудеса изящной словесности, пока точные науки совершали еще более неоспоримые подвиги, пока многоликий силлогизм оглашал своими криками все школы, а индукция представляла философию в наиболее привлекательных формах беседы и драмы, - старые заблуждения становились вечными. Новые ошибки рождались и множились вместе с новыми трудами; повсюду виделись лишь мнения и системы, но нигде - истина и природа. Сама мудрость оставляла поиски знаний, наиболее необходимых человеку, считая их недоступными для любых его изысканий.

С шестнадцатого века семь или восемь философов, уstraшенных бессилием всех этих методов и хаотическим беспорядком в представлениях человеческого разума, рассудили, что существует лишь один способ верно им управлять: это значит досконально его познать и шаг за шагом проследить за всем, что с ним происходит и что он совершает, - от ощущений, общих у него с животными, до самых сложных концепций обширнейшего интеллекта. Эта работа, начатая **Бэконом**, была продолжена в Англии, Германии и Франции людьми, которые сочетали в себе великое мужество ума и великую мудрость. Само намерение искать этим путем верный метод, дало им в руки способ более совершенный, чем все те, которым следовали до них. С бесконечной прозорливостью они разграничили то, что каждое отдельное чувство приносит в разум, и то, что все они вносят в него сообща. Они осознали как причины столь частых заблуждений наших чувств, так и средства, с помощью которых чувства сами исправляют свои ошибки. Открыв, как и почему наши ощущения столь часто оказываются смутными и ложными, они поняли, каким образом можно сделать их ясными, отчетливыми и точными; они предоставили средства для очищения самих истоков познания.

Перейдя от исследования ощущений к различным способам их применения разумом - то есть к умственным способностям, - они доказали, что все эти способности (внимание, сравнение, суждение, размышление, память, воображение и рассуждение) суть не что иное, как само ощущение, принимающее различные формы, но никогда не меняющее своей природы. Это открытие, которое может показаться очень простым и которое столь затруднялось множеством общепринятых догм, научило их тому, как сделать внимание более живым и устойчивым, память и воображение - более надежными, рассуждение - более точным, а размышление - менее тяжеловесным, более гибким и подвижным.

Досконально изучив источники, из которых черпает разум, и способности, которыми он для этого пользуется, они обратили свои наблюдения на идеи, которые человеческий дух составляет о предметах, и на понятия, которые он из них формирует. Они разграничили, выделили и определили все роды и виды идей; они выстроили своего рода генеалогию, в которой первые идеи - те, от которых происходят все остальные - представляют собой образы внешних предметов, а последние, то есть самые сложные интеллектуальные понятия, являются лишь результатом разделения или объединения этих образов. Даже для наименее внимательных умов они проложили и разровняли путь, ведущий от ощущений к абстракциям и возвращающий от абстракций к ощущениям. Благодаря этому искусству, первыми мастерами которого они стали, тот, кто им владеет, смог разбирать самые сложные понятия, перегруженные множеством различных идей, с такой же легкостью, с какой часовщик разбирает на мельчайшие

детали созданные им часы. Как только стал понятен механизм формирования наших идей, как только стало ясно, как именно они возникают, люди вплотную подошли к искусству совершенствования этих идей. И тогда - и только тогда - стало возможным, не боясь проявить излишнюю дерзость, приступить к осуществлению великого замысла, предложенного Бэконом: полностью пересмотреть наши идеи и воссоздать человеческий разум.

Для выполнения столь масштабного труда необходимо было хорошо изучить и усовершенствовать все инструменты, которыми предстояло пользоваться. Внимание философов, о которых я говорю, сосредоточилось на языках. Каково же было их удивление! Рассматривая языки лишь как необходимые средства для передачи наших мыслей, они обнаружили, что языки необходимы и для того, чтобы эти мысли вообще рождались. Они убедились и доказали, что для того, чтобы связывать идеи между собой и формировать на их основе четкие суждения, необходимо привязывать их к определенным знакам; что, одним словом, мы мыслим лишь потому, что говорим, - потому, что с помощью слова мы фиксируем и удерживаем в уме ощущения и идеи, которые иначе рассеялись бы и исчезли со всех сторон, и что искусство мыслить здраво неотделимо от искусства выражаться точно. С тех пор как было сделано это открытие - одно из прекраснейших достижений человеческого разума, уже доказанное, но которое еще долго будет казаться парадоксом, - языки приобрели в глазах истинных философов значимость, которой не имели никогда прежде. Слово, которым одни пользовались словно нехотя, а другие - лишь как пустым украшением, стало сопутствовать всем трудам и размышлениям, посвященным вещам и мыслям; и гений усовершенствовал языки именно потому, что стал относиться к ним с уважением. Едва химия научилась говорить на созданном для нее новом языке, как она тут же обогатилась множеством новых открытий.

После того как столь яркий свет пролил ясность на истоки, способности и процессы человеческого разума, больше не нужно было искать лучший метод: он был найден. На деле, верный метод может заключаться лишь в искусстве множить и расширять отчетливые и тщательно проверенные ощущения; направлять действия ума в соответствии с природой его способностей; владеть секретом формирования идей любого рода, чтобы всегда ясно видеть, как они были созданы и что именно они представляют; и, наконец, говорить точно, лаконично и последовательно, чтобы придать всем мыслям ясность, достоверность и широту. С таким методом все еще можно совершить ошибку; но будет легко обнаружить, кроется ли она в том, как мы воспринимали, как действовали, как формировали идеи или как их выражали; и в каком бы уголке рассудка ни пряталась ошибка, ее можно будет выследить и изгнать оттуда. Именно так математики очень быстро находят и исправляют неверный расчет: в совершенстве зная устройство каждой части своих операций, они быстро и различными способами перепроверяют все составляющие.

Этот метод применим не только к некоторым областям знаний; он применим ко всем. У каждой науки есть свои знаки и приемы; но все эти приемы и знаки, если они точны, соответствуют данному методу, который является естественным методом человеческого разума.

Этот метод сопоставили с тем, что направлял великие открытия, сделанные со времен Галилея в точных и естественных науках. Стало очевидно, что это один и тот же путь, и что пути, проложенные такими мыслителями, как **Бэкон** и **Локк**, в анализе человеческого разума, - это в точности те же пути, которыми следовали Галилеи, Гюйгенсы и Ньютоны. Наконец, прежде искали особые методы для созидания, особые методы для суждения и особые методы для выражения идей; однако этот метод, сам по себе, является наилучшим для искусства выражать, судить и создавать идеи.

Таков предмет, который будет рассматриваться в этом курсе: чтобы точно его определить и сделать понятным, мне пришлось составить нечто вроде его истории. В нашем языке, да и, пожалуй, ни в одном европейском языке, до сих пор нет точного термина, который одним словом пробуждал бы в уме всё это понятие целиком. Обычно его называют *метафизикой*; но это слово не дает о нем верного представления, зато вызывает пугающий образ. Именно из-за этого слова его так часто путают с той мрачной наукой старых школ, которая также именовалась

лась *метафизикой* и которая, бесконечно рассуждая о сущностях вещей, о модусах, об акциденциях, о духовных и материальных субстанциях, лишь напускала туман на самые простые и ясные идеи. Первой заботой философов, чьи труды и первые успехи я упоминал, было искоренение этой ложной науки, после того как они выставили её на заслуженное посмешище. Смешивать их искусство с этой наукой под общим названием - значит путать свет с тем туманом, который он рассеял.

Шарль Бонне на титульном листе одного из своих сочинений заменил слово «метафизика» словом «психология»; **Кондильяк** также предлагал его, хотя и не использовал в своих работах. Выбор этого слова кажется мне не вполне удачным: оно не обретает в нашем языке должной ясности, поскольку почти ни с какими нашими словами не соотносится. Своей этимологией оно восходит скорее к понятию о душе, нежели к понятию о деятельности человеческого разума; оно придало бы вид отдельной, обособленной науки той области знаний, которая по самой своей природе должна стать всеобщей и привычной для каждого. Я принял наименование, предложенное Локком, который озаглавил свой труд «Опыт о человеческом разумении». Справедливо, что слова «Опыт о разумении» и «Анализ разумения» образуют скорее целую фразу, чем простое название предмета; они указывают на исследование объекта, а не на сам объект. Это не вполне краткое имя, но данные слова достаточно ясно и лаконично выражают суть того, что предлагается вниманию, - а это и есть самое главное.

Предметом этого курса, как можно заметить, является совершенно новая наука. Её происхождение восходит не далее, чем к Бэкону. Она зародилась в то время, когда все реальные науки только готовились появиться на свет; она присутствовала и даже направляла рождение многих из них. Науки, основанные на расчёте и наблюдении - математика и астрономия - поделились с ней своим светом; однако она сама пролила гораздо больше света на науки физические и нравственные, которые лишь благодаря ей научились идти по тем путям, где сегодня совершается столько прекрасных открытий. Именно она служила, так сказать, посредником и толкователем между науками точными, физическими и нравственными, помогая им обнаружить то общее, что в них было (хотя они об этом и не догадывались), и налаживая между ними новые связи, о которых они и не помышляли. Если взглянуть на достоверность этой новой науки, то она равна достоверности наук физических; она - та же самая, ибо в равной мере основывается на наблюдении фактов и явлений. Если взглянуть на интерес, который представляет её предмет, то он не может быть выше; ведь это явления и действия человеческого разума, то есть всё самое прекрасное и совершенное среди всего познанного. Если взглянуть на её пользу, то она не может быть более обширной, так как это искусство направлять во всех областях любой ум к истине. *«Если позволительно, - говорит Бэкон на этот счёт, - измерять каждую вещь мерой её собственного достоинства, то универсальные методы науки служат для всех остальных наук подобно ключам. И так же, как рука есть инструмент всех инструментов, а человеческий разум - замысел всех замыслов, точно так же и эти общие методы следует рассматривать как искусство всех искусств. Они не только направляют ум, но и укрепляют его; подобно тому, как привычка упражняться в стрельбе из лука не только приучает вас целиться точнее, но и позволяет натягивать более тугой лук с большей силой»*.¹

ПЕРВАЯ ЛЕКЦИЯ

Подробно и обстоятельно рассказывая вам о величии и красоте вопросов, которые должны стать предметом наших лекций в этом курсе, я ничуть не скрывал от себя, граждане, насколько я рискую оказаться недостойным этих тем. Возможно, именно в ущерб самому про-

¹ Впрочем, если угодно оценивать каждую вещь по её собственному достоинству, то принципы науки являются безусловными ключами ко всему остальному; и так же, как рука есть инструмент инструментов, а душа - форма всех форм, так и эти искусства должны считаться главными. Они не только направляют, но и укрепляют; подобно тому, как навык и привычка к стрельбе позволяют не только лучше целиться, но и натягивать более мощный лук.

фессору я столь высоко превозносил ту науку и то искусство, которые он собирается преподавать. Но если бы я пришёл к вам с какими-либо личными притязаниями, я бы никогда не взял слово. И даже если это лишь увеличит ту опасность, которой я уже себя окружил, я всё же продолжу говорить вам о величии побуждений и надежд, призывающих нас к этому изучению и к тем размышлениям, которых оно требует.

Существует простой и верный способ судить о реальной пользе какого-либо искусства, об истинности науки и о совершенстве того или иного инструмента. Достаточно спросить: какой новый закон природы открыли, какое прекрасное творение создали, какую важную услугу оказали обществу те, кто пользовался этим инструментом, и те, кто усердно развивал это искусство и эту науку? Если они не раскрыли ни одной тайны природы - не верьте их науке; если они не создали ни одного полезного для людей труда - знайте, что принципы их искусства и само это искусство - лишь иллюзия. Судите же о них не по обещаниям (их легко давать в самом величественном виде), а по их делам и заслугам. Ведь великие свершения и великие труды могут быть порождены лишь теми науками и искусствами, что глубоко укоренены в истине и в самой природе.

Ещё не так много времени прошло с тех пор, когда сомнения, которые испытывают сегодня относительно реальности и пользы науки о человеческом разуме, высказывались по поводу пользы и реальности математических наук. Геометров постоянно утомляли назойливыми вопросами; к насмешкам, которыми пытались осыпать этих серьезных мужей, примешивали даже некое подобие философии: *«К чему, - говорили им, - эти столь глубокие формулы расчетов, которыми никогда не доводится пользоваться в общественных делах? Зачем иссушать свой мозг и истощать свои силы в расчетах бесконечного, когда вокруг нас всё имеет столь тесные границы? Что значат эти фигуры, которые вы чертите, измеряете и постоянно сравниваете? Все эти предметы ваших исследований - лишь абстракции вашего ума; в природе не существует ни прямой линии, ни идеального круга, ни правильного треугольника. А раз эти объекты вашего познания не имеют прообраза или модели в природе, то ваша наука не может быть полезна ни обществу, ни людям».*

Геометры же, которые для своего счастья не нуждались ни во внимании, ни в рукоплесканиях света, посреди этих нападков и почти издевательств продолжали в тишине свои мирные и почти всеми игнорируемые изыскания. Они неустанно совершенствовали методы своих вычислений, не переставая чертить линии, круги и треугольники. И знаете ли вы, каковы были плоды их скромных трудов? Это величайшие чудеса, совершенные на Земле, и самые масштабные преобразования, когда-либо осуществленные в человеческом обществе. Благодаря им Земля была измерена, величины и расстояния небесных тел были вычислены, открыты новые небеса; благодаря им были познаны законы движения, а силы природы поставлены на службу человеку. С их помощью созидательный, хоть и незримый, гений проник в те механические искусства, что служат всем нашим нуждам. Для искусной навигации, которой они управляют, у океана более нет недостижимых берегов. Укрепления цитаделей, возведенных деспотами, оказывались бесполезными, когда геометры направляли атаки свободного и суверенного народа. Всё, что обладает протяженностью, формой и движением - то есть почти всё, из чего состоит Вселенная, - было подчинено их расчетам. Кажется, физики, владеющие этим инструментом, вот-вот раскроют самые тайные притяжения и средства элементов материи, загадки растительной жизни и строения живых существ. Можно сказать, что человек - это существо столь слабое и мимолетное на Земле - готовится принять от геометрии власть и могущество вечного Геометра.

Вот как геометры ответили на сомнения - истинные или притворные - касательно пользы геометрии. Могут ли создатели анализа разума дать подобный ответ? Или же они больше похожи на тех учителей философии и красноречия, которые не написали ни одной убедительной страницы и даже не знакомы с открытиями настоящих философов? Какие труды они создали, какой свет пролили на нас и какое место занимают они в общественном признании?

Первым среди творцов анализа человеческого разума - и первым, несомненно, как по гениальности, так и по времени - является **Бэкон**. Едва лишь Бэкон сформировал свои первые

взгляды на способности ума и на способы управления их развитием, как вдруг - словно постигнув природу собственного духа, он удостоился откровений гения, стоящего выше человеческого, - он является и занимает место среди наук и ученых как их всеобщий законодатель. Каждая его мысль, каждое слово дышат неким необъяснимым величием, выдающим в нем человека, который пришел, чтобы изменить все мнения и возродить весь человеческий интеллект. В своем первом труде «О достоинстве и приумножении наук» он охватывает все области знания так, будто все они в равной мере являются его владениями. Он подвергает их новому делению, вносящему в них ясность, и указывает новые способы их развития, которые обогатят их. Здесь, словно в самом центре веков литературы, науки и философии, он учреждает своего рода судейский трибунал, куда вызывает и перед которым заставляет предстать всё, что было помыслено и написано во все времена. Он отделяет истину от заблуждений и, оценивая сделанное, набрасывает куда более обширную картину того, что еще предстоит совершить. Он указывает на пути, на которых люди сбились с дороги, и закрывает их; он намечает и повсюду открывает новые пути. И, как говорит он сам в своем стиле, искрящемся образами, которые делают рассуждение более ярким, не лишая его точности, он не похож на те статуи, что стоят у обочин дорог и лишь указывают кончиком пальца путникам путь, которым те должны следовать, но сами при этом остаются немymi и неподвижными. Прокладывая дорогу, он сам вступает на неё: он делает первые, самые трудные шаги; он говорит с путниками, которых ведет за собой, и, расставаясь с ними, наставляет их, как им следует идти дальше, когда его уже не будет рядом или во главе их. В его втором труде, который должен был стать еще прекраснее - ведь истинному гению свойственно непрестанно расти, - в его «Новом органоне», его взгляды расширились настолько, что стали универсальными: он больше не рассматривает науки по отдельности, чтобы предписывать каждой частные правила; он ищет принципы, которые станут общими законами и светилами для всех наук одновременно. *«Я не уподоблюсь тем, - говорит сам Бэкон, - кто, желая осмотреть и познать храм, намеренно погруженный во мрак ради пущего благоговения, бродит с лампадой в руке от часовни к часовне, от алтаря к алтарю и, освещая лишь малую часть храма, оставляет всё его величие во тьме: я подвешу в центре свода люстру, которая, озарив всё разом, позволит единым взором охватить все алтари и изваяния всех богов».*

Несмотря на подобный размах, который может показаться дерзким даже для его гения, при выборе всех его методов и средств исполнения им руководит крайняя осторожность, я бы даже сказал - крайняя робость. Во все века, предшествовавшие Бэкону и присваивавшие себе звание ученых, в школах философов Греции и в школах докторов Европы после самого поверхностного наблюдения явлений, которые представляет Вселенная, и даже часто вообще без какого-либо наблюдения, поднимались или, вернее сказать, в некотором роде взмывали к самым общим принципам, к универсальной теории мира и сущностей. Казалось, господствовало убеждение, будто для объяснения Вселенной вовсе не обязательно её знать; будто природу вещей следует искать в грёзах собственного воображения, а не в тех свойствах, которые мы воспринимаем чувствами или открываем опытным путём.

Насколько же иной предстает методика, которую предлагает - или, вернее, открывает нам - Бэкон! И сколь оправданным кажется его решение дать своему методу столь оригинальное название - «Новый органон», *NOVUM ORGANUM*! Его суть - повсюду искать и собирать факты и явления: как те, что ускользают от нашего внимания, поскольку неизменно находятся у нас перед глазами, так и те, что скрыты от наших чувств из-за своей удаленности или из-за завес, которыми они окутаны. Он призывает непрестанно подвергать новым испытаниям саму природу, которая, подобно Протею, таится под тысячью личин и открывается лишь тем, кто терзает и сковывает её тысячью опытов.

Он велит - дабы облегчить память и придать уверенности разуму - составлять обширные таблицы фактов, явлений и наблюдений, где схожие опыты, явления и факты были бы связаны аналогиями, дающими одни и те же результаты. А рядом с этими таблицами - составлять другие, параллельные им, где факты, на первый взгляд принадлежащие к тем же классам и аналогиям, приводят к результатам противоположным. Он учит подолгу наблюдать и созерцать

эти обширные скопления фактов, сопоставленных и упорядоченных подобным образом, прежде чем выводить из них какой бы то ни было результат или принцип. Бэкон призывает тщательно следить за тем, чтобы принятый принцип никогда не выходил за рамки тех результатов, которые дают сами факты. Опираясь на зарождающийся свет первого, четко очерченного принципа, следует переходить к новым опытам, на которые должен указать сам этот принцип, а также к наблюдению за новыми фактами и новыми явлениями. Их нужно классифицировать и упорядочивать точно так же, сводя в двойные таблицы: то по сходству их внешних проявлений и различию результатов, то по идентичности результатов при несхожести внешних признаков.

На этой основе следует выводить принципы более широкие, чем первые, но неизменно ограниченные кругом тех фактов и явлений, что были охвачены исследованием. От этих новых принципов нужно вновь спускаться к новым фактам, опытам и наблюдениям, чтобы затем подняться к принципам еще более обширным, и снова возвращаться к изучению фактов, дабы ступень за ступенью восходить к аксиомам всё более и более общего порядка. Нужно неустанно вращаться в этом круге, который не является «порочным кругом», подобно почти всем логическим суждениям, но представляет собой тот самый круг, в котором сама природа совершает свои превращения и действия.

Следует всегда искать ответ на вопрос о том, как устроены вещи - ведь это знание столь полезно и притом столь труднодостижимо, - и никогда не вопрошать, почему они устроены именно так; на последний вопрос можно нафантазировать сотню ответов, и все они будут совершенно бесполезны для приумножения могущества и счастья человека. Нужно оставить созерцанию, монастырским кельям и алтарям эту философию конечных причин, которая, подобно деве, посвященной небу, остается бесплодной. Вместо этого нужно неустанно возделывать ту экспериментальную философию, которая, следуя за природой в её рудники и к её печам, становится столь же деятельной и плодотворной, как и сама природа, ежедневно порождая новые блага и новые труды. Таков метод Бэкона: он изменил облик наук, а науки со времен Бэкона изменили облик мира.

Неисчерпаемая плодотворность гения Бэкона воображает и предлагает такие опыты, которые все ученые и все грядущие века едва ли смогут полностью испробовать и осуществить. Ему самому не хватало времени, средств, инструментов и, несомненно, навыков, чтобы проверить их лично. Разумеется, с тех пор были задуманы и выполнены более удачные эксперименты, а многие из тех, что предлагал он, должно быть, казались невыполнимыми или бесполезными. В ту эпоху, в которую поместила его природа, и на той высоте, на которую вознес его собственный гений посреди наук, его мысли неизбежно чаще оказывались лишь догадками, нежели ясными взглядами. Однако есть один факт, о котором я должен упомянуть - не только потому, что он является ярчайшим свидетельством славы Бэкона, но и потому, что он должен дать вам более точное и высокое представление о пользе (несколько оспариваемой) анализа человеческого разума.

Три величайших открытия **Ньютона** - возможно, величайших за все века - это система всемирного тяготения, объяснение морских приливов и отливов, а также открытие природы цветов при разложении света. И что же! Ньютон, открывая эти три великих закона природы, лишь подтвердил опытом и расчетом три идеи Бэкона. Я называю их идеями, а не просто догадками, так как он неоднократно возвращается к ним в своих многочисленных трудах. Они являются частью цельной системы его взглядов на природу, и он сам указывает на опыты, весьма схожие с теми, что были проведены впоследствии. Таким образом, славу этих открытий должны разделить между собой Ньютон и Бэкон; равно как должны её разделить анализ человеческого разума и геометрия, ибо анализ разума был инструментом Бэкона, подобно тому, как геометрия была инструментом Ньютона.

Физические науки и наука о разуме, при всей их необъятности, всё же не могли вместить в себя весь гений Бэкона. В целом в Европе сухая эрудиция мешала рождению или распространению философии, а философия, которая далеко не всегда руководствовалась истинным разумом, выказывала глубокое презрение к эрудиции. Бэкон же, в равной мере стоящий между

эрудитами и философами, отличается от всех прочих писателей тем, что он одновременно является и тем, кто открыл грядущим векам наибольшее число путей и новых горизонтов, и тем, кто в совершенстве владел всем великим и прекрасным, что было создано веками минувшими. Самые яркие события древности, самые блестящие мысли, богатейшие обороты речи и наиболее меткие выражения неизменно жили в памяти Бэкона, а его гений еще более возвеличивал и украшал их, рассыпая по страницам своих сочинений. Древняя мифология среди своих божеств имела одно, которое изображалось двуглавым: одна голова была обращена к минувшим векам, которые она охватывала единым взором; другая - к векам грядущим, которые она также видела, хотя они еще и не наступили. Можно сказать, что это истинный образ и символ гения Бэкона.

Среди философов, занимающих в истории аналитического искусства познания первое место после Бэкона выделено для **Локка**. Локк не сразу предстает перед нашим воображением наделенным теми созидательными качествами и тем величием, что окружают память об английском канцлере. Похоже, что и сам он провел значительную часть жизни, даже не подозревая в себе никакого выдающегося таланта и не чая для себя громкой славы. Однажды он оказался свидетелем весьма жаркого спора между несколькими учеными мужами; он вовсе не вмешивался в полемику, но наблюдал за мнениями и речами спорящих и заметил, что эта бесконечная дискуссия между людьми, полагавшими, будто они сражаются за нечто крайне важное, была лишь спором о словах; и что, возможно, было бы достаточно договориться о значении этого слова, чтобы в тот же миг война сменилась миром.

Это раздумье стало зародышем его великого труда о человеческом разуме: он обращается к истокам идей; он доказывает - быть может, даже слишком пространно - что никаких врожденных идей существовать не может; он исследует то, как они могут рождаться и формироваться в том разуме, который в первые дни младенчества столь же лишен знаков и образов, как чистый мрамор, только что добытый в каменоломне. Застигнув мысль у самых её истоков и проследив за её течением, он видит, через какие ступени ощущения превращаются в понятия. Вслед за Бэконом он замечает - но разбирает более детально и доказывает с помощью гораздо большего числа свидетельств - то пагубное влияние, которое оказывает на наши рассуждения злоупотребление словами. Твёрдой рукой он одновременно закладывает фундамент достоверности человеческих знаний и очерчивает непреодолимый предел их охвата.

Локк начинал свой труд о человеческом разумении ощупью, но едва он его закончил, как в своих собственных глазах стал словно другим человеком. Этот ум, который так долго не решался подступить ни к одному вопросу, теперь последовательно обращается к самым разнообразным материям, и в каждую из них он вносит не гордыню, но уверенность, позволяющую трактовать их совершенно по-новому. И эта уверенность никогда его не обманывала. Первым делом, за которое он берется с этим чувством обретенной силы, становится важнейший для всего рода человеческого вопрос - поиск законных основ гражданского правления. И он находит их в естественных правах человека, являя их тиранам и рабам, к изумлению одних и к ужасу других. Обнаружив таким образом истинные устои общества, этот столь мудрый и умеренный человек колеблет основания всех европейских тронов. Именно из трактата Локка о гражданском правлении были частично почерпнуты принципы того общественного договора, который столь мощно поспособствовал Французской революции. Почти в момент своего рождения аналитическое искусство разума открыло права человека; именно благодаря существованию этого искусства Франция обрела свободу, и Европа тоже должна стать свободной. Кто мог бы дать вам о нём более высокое представление? Философ, желающий, чтобы народы пользовались великой свободой, тотчас задумывается о средствах сделать людей более просвещенными и добродетельными. В своём труде о воспитании - менее знаменитом, чем трактат о гражданском правлении, но столь же мудром, смелом и глубоком - Локк сокращает освященные временем заблуждения, которые вели к развращению человека через невзгоды его детства. Он заменяет их взглядами и правилами, призванными облегчить обучение и заставить знания служить разуму, а разум - счастью. Автор «Эмилия» делает честь самому себе, отдавая должное труду Локка о воспитании и черпая из него идеи так же, как прежде он черпал

их из трактата о гражданском правлении. Нигде принципы веротерпимости, ставшей религией просвещенных и добродетельных людей, не были изложены с такой непреодолимой очевидностью, как в некоторых сочинениях Локка. Сиденхем, врач, знаменитый во всей Европе - и, что еще ценнее и встречается реже, врач-философ - часто признавал, что именно дружбе и беседам с Локком он был во многом обязан своим даром наблюдения, который он применял в лечении больных. Этим талантом, который, быть может, когда-нибудь позволит превратить медицину - искусство, слишком часто находящееся в руках шарлатанов - в подлинную науку облегчать страдания и продлевать человеческую жизнь.

Имя **Шарля Бонне** ещё не принадлежит к истории человеческого разума так, как имена Бэкона и Локка; и я не думаю, что оно когда-либо займет в ней такое же положение. Тем не менее, «Анализ способностей души» Шарля Бонне - это великая книга, даже если её нельзя назвать безупречным трудом. Множество недостатков портят её, но эти изъяны являются, в некотором роде, следствием чрезмерного интеллектуального напряжения автора и мощи его метода. Он стремится проникнуть туда, куда анализ привести не может: он начинает с духовной природы человека, а заканчивает его воскресением - это значит начинать и заканчивать во тьме. Но между этими двумя безднами, в которые он жаждет проникнуть и в которых теряется, он озаряет свой путь яркими и обильными потоками света. Никто лучше него не знал механизм мышления и не умел так искусно пользоваться способностями рассудка, словно подвластными ему пружинами. Там, где Локк бывает многословен, Бонне лаконичен; он даже слишком стремится к этой сжатости, и порой кажется, будто слышишь лязг соприкасающихся звеньев в плотно сбитой цепи его идей.

Однако две вещи в его трудах поразительным образом доказывают превосходство этого метода. Шарль Бонне испытывал непреодолимую тягу к суеверным предрассудкам, но его метод, словно канат, который не в силах разорвать даже самые яростные бури воображения, всегда удерживает его или возвращает к ощущениям, к природе и к истине. В нем чувствуется некое смешение и необычайная борьба духа Мальбранша и духа Локка; эти два начала торжествуют поочередно, но дух Локка побеждает чаще. Шарль Бонне долгое время был слеп, и всю свою жизнь он обладал крайне слабым зрением. Тем не менее, это зрение, столь слабое и почти угасшее, будучи направленным благодаря его методу на все предметы природы, запечатлело их образы с величайшей точностью, а его кисть рисует их в самых живых красках. Его созерцание природы - это, по сути, лишь череда описаний; но он описывает формы и цвета всех предметов с такой правдивостью, что кажется, будто видишь воочию то, что он сам едва мог разглядеть. В его рассуждениях об органических телах принятая им система бесконечного вложения, возможно, является гипотезой не более обоснованной, чем те, которые он опровергает; однако и те системы, с которыми он борется, и ту, которую принимает, он излагает и обсуждает с помощью такого анализа, который придает идеям формы столь же отчетливые и обособленные, как формы физических тел и предметов. Он ничего не создает заново, но оценивает всё придуманное другими с тем превосходством и той уверенностью суждения, которые, возможно, характеризуют гениального человека в той же мере, что и открытия, требующие проверки веками. Существа, которые, кажется, больше всего ускользают даже от самого пронизательного взгляда - насекомые, - стали преимущественным предметом его наблюдений; и его взгляды на насекомых и на листья почитаются и даже считаются знаменитыми среди натуралистов.

Я перехожу к **Кондильяку** и чувствую, будто обретаю покой после долгого утомления; мне кажется, что я выхожу к свету, миновав тьму или лишь наполовину освещенные пути. Я не знаю, предложил ли Кондильяк меньше, столько же или больше новых взглядов на человеческий разум, чем философы, предшествовавшие ему на этом поприще; но взгляды других, которые, кажется, становятся его собственными благодаря новому свету, пролитому им на них, и те идеи, которые никто не может у него оспорить, одни лишь, по-видимому, придают анализу разума ту пользу, которая должна была стать очевидной и всеобщей, чтобы не подвергаться постоянным сомнениям. Именно Кондильяк первым обеспечил трудам, которые именovali метафизическими, столько же читателей, сколько было у сочинений, считавшихся

образцами вкуса. И вовсе не очарование его стиля, лишенного всякой иной красоты, кроме ясности, сумело привлечь и удержать внимание и вызвать одобрение: это сделала та прозрачность выражений и идей, которая представляет предметы как они есть, ничего к ним не прибавляя и ничего от них не отнимая. У него нет той свойственной бесплодным умам склонности выдумывать новые слова; напротив, он настолько точно определяет обычные слова языка самим их употреблением, что одновременно с совершенствованием человеческого разума он совершенствует и французский язык. Приглашенный благодаря своей известности, которую он приобрел во всей Европе, для воспитания юного герцога Пармского, он создает труды для обучения ребенка, которые подготавливают переворот в системе образования всех народов. Для курса обучения своего воспитанника он составляет грамматику, руководство по искусству мыслить и рассуждать, всеобщую историю людей и империй; и его метод не просто оказывается применим к столь далекому друг от друга в своем разнообразии жанрам - он проявляется в каждом из них с выдающимися чертами превосходства, которое не бросается в глаза сразу, но с каждым мгновением чувствуется всё сильнее. Он пишет грамматику; и как грамматик он ставит себя значительно выше даже самого Дюмарсе. Он пишет труд об искусстве рассуждать, и это искусство - вовсе не тщетное умение строить силлогизмы и энтимемы; это возвышенное искусство тех людей, чьи имена едва известны народам, которым они принесли столько блага, тех ученых, которые со времен Галилея совершили столько открытий и так расширили могущество и счастье человечества. Он пишет историю, и если искать в ней иной интерес, нежели в романе или драме; если можно простить ему сухость изложения, лишенного всякого воображения и стилистических изысков; если, наконец, искать в его истории и выделять из нее всё то, что может дать важные результаты для законодательства, морали, искусств и наук, - то из всех этих частей, извлеченных из полного курса воспитания юного герцога Пармского, можно было бы составить историю искусств, наук, морали и законодательства, более философскую, чем любые сочинения подобного рода, когда-либо появлявшиеся у просвещенных народов Европы.

В томе об искусстве рассуждать, о котором я хочу упомянуть еще раз, он - хотя и вступает в область Кеплера и Ньютона в некотором роде как странник - идет не за ними вслед, а рядом с ними. Он не подобен им, но он им равен; объясняя их открытия, он проникает во все тайны их гения и словно передает их своим читателям. Первым среди всех и, возможно, единственным, он замечает, что эта великая система мироздания, открытие которой является венцом управления человеческим разумом, по сути, является лишь удачным применением простейших начал механики.

Вернувшись во Францию и едва оказавшись в Париже, Кондильяк замечает, что и в книгах, и даже в светских кругах только и говорят, что о принципах политической экономии, которые должны управлять народами и обеспечивать их процветание. Устав слушать случайную и пустую болтовню об этих принципах - которые станут универсальными законами экономики, как только их по-настоящему поймут, - Кондильяк решает подвергнуть их новому исследованию. Он убежден, что ради общего блага такой пересмотр необходим. Экономисты создали свой собственный язык, но у этого языка была одна беда: его понимали лишь немногие. Их принципы, в остальном превосходные, пребывали в такой туманности, что это внушало почтение посвященным, но выставляло авторов в несколько смешном свете перед светским обществом, слишком легкомысленным, чтобы с готовностью выражать свое восхищение. Кондильяк берется за ту же тему. Он не окружает себя горой чужих трудов в поисках подспорья; он просто применяет свой метод к вопросам, которыми занялся впервые. И впервые с тех пор, как этими проблемами задавалось столько выдающихся людей, они оказываются решены - причем с такой простотой и ясностью, что удивляешься не столько самому факту решения, сколько тому, что ради них вообще стоило трудиться. Кажется, будто он говорит лишь о самых обыденных вещах, и при этом он проясняет вопросы, считавшиеся наиболее сложными и глубокими: это и вексельный курс, и денежное обращение, и многое другое. Подобно ровному свету, который позволяет видеть предметы, не привлекая внимания к самому себе, его ум выявляет истинные связи между всеми объектами так, что талант автора остается незаметным.

Экономисты изрядно нападали на этот труд, пришедший им на выручку: похоже, им не нравилось, что кто-то другой защищает их лучше, чем они сами. Кондилляк, чьему уму была в равной степени присуща и тонкость, и простота, отвечал им: «Это не я, это мой метод».

Я чувствую, граждане, что слишком увлекся, с удовольствием рассказывая вам о писателях, которых люблю; но ведь именно они - создатели той науки и того искусства, которые я должен преподавать вам. В их трудах вы сможете найти то, чего, возможно, не хватит моим речам. Прошло двадцать лет с тех пор, как меня поразили свет, исходящий от их сочинений. И хотя по своим природным склонностям я, возможно, был предназначен для иных занятий, меня всегда - словно вопреки моей воле - тянуло и к их трудам, и к темам, которые они разбирали. Я обдумываю их вот уже двадцать лет, но до сих пор не написал ни единой страницы. Именно среди вас я собираюсь создать тот труд, который должен написать для вас. Мы создадим его вместе. Еще недавно, когда над каждой головой был занесен топор и над всеми нами нависла общая опасность, которой нам удалось избежать, я жалел о жизни в том числе и потому, что боялся умереть, оставив подле эшафота так и не завершённым труд, к которому готовился столь долго.

Из второго тома лекций, происходивших в нормальной школе

ДВЕНАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ

(23 плювиоза)

Гара, профессор. Целью моего первого занятия было показать на ярких примерах, насколько необходим для правильного применения всех способностей ума тот метод, который совсем недавно был открыт пятью или шестью философами в процессе анализа человеческого разума. Мы видели, как создатели этого анализа применяли свой метод сразу же, как только он был ими найден, в самых разных областях - не то чтобы противоположных (поскольку противоположных не существует вовсе), но наиболее отличных и далеких друг от друга; и во всех них они демонстрировали одинаковое мастерство в его способности формировать верные понятия и передавать их с должной точностью, мыслить и выражаться с предельной ясностью. Этот талант, который оставался неизменным у людей, чей гений в остальном был крайне различен, доказывает, как мне кажется, неопровержимо: их метод применим к получению любых знаний, а используемый ими инструмент - универсален.

Сегодня, граждане, я намерен изложить общий план курса, который я открыл и который проведу перед вами. Наши встречи предназначены для того, чтобы профессора и ученики могли обсудить все принципы, идеи и факты, изложенные в лекциях. Но если и есть что-то, требующее обсуждения прежде, чем мы двинемся дальше, то это сам план курса. Если бы он был несовершенен, его изъяны и недостатки отразились бы на всей дальнейшей работе. Начнем же с этого разбора, чтобы нам не пришлось возвращаться назад и чтобы не рисковать совершить ложные шаги. Разумный архитектор, которому поручили возвести здание, должен согласовать свой проект прежде, чем заложит первый камень. И это особенно важно, когда те, для кого строится здание, сами являются архитекторами.

Весь курс анализа разума будет разделен на пять разделов. Ни количество разделов, ни порядок их следования не должны быть случайными. Вам предстоит судить, располагаю ли я темы в соответствии с их природой и взаимными связями.

Первый раздел будет посвящен изучению чувств и ощущений. Именно с этого всё начинается для разума, и именно с этого мы должны начать его анализ. Оказавшись посреди великого зрелища природы, которая непрерывно воздействует на все наши чувства, среди того множества ощущений, которыми мы словно осаждены, мы довольно легко выделяем те, что почти во всех языках и почти всеми людьми верно обозначаются словами, ставшими их знаками. Это ощущения, присущие исключительно какому-то одному из наших органов чувств. Никто никогда не мог спутать впечатление, которое производят на зрение цвета радуги, и шум, поражающий слух раскатами грома в небесах и в пространстве. Аромат цветка, хотя он

и представляет собой своего рода касание, невозможно принять за то ощущение, которое мы получаем через осязание, когда кончики наших пальцев легко скользят по гладкой поверхности. Эти ощущения отчетливы для каждого; и чтобы передать их, скорее требуется кисть поэта, нежели анализ философа.

Однако для того, чтобы воспринимать каждое из этих ощущений по отдельности, потребовалось некое искусство. Мы путаем это искусство с самой природой, так как научились ему у неё самой, и никакой иной наставник не примешивал сюда свои уроки. Произошло это потому, что дни нашего раннего детства, когда опыт давал нам эти уроки, стерлись из нашей памяти, и потому, что, как замечает Кондильяк, мы не помним, чтобы учились чему-либо, кроме того, о чем мы помним, что прежде этого не знали. Следовательно, нам придется постараться вернуться к тем самым урокам - единственным, которые приносят пользу всем нам почти в равной мере; возможно, именно в них мы найдем совершенные образцы как для искусства преподавания, так и для искусства обучения.

Среди наших ощущений есть и такие, что возникают в равной степени благодаря всем нашим чувствам и являются для них общими; именно поэтому их гораздо труднее распутать и разграничить. Таковы ощущения благополучия и недомогания, удовольствия и боли, любви и ненависти, последовательности, длительности, числа и так далее. Наконец, существуют и иные ощущения, которыми мы обязаны лишь одному из наших чувств, хотя и полагаем, будто получаем их от другого: таковы, например, ощущения формы и очертаний предметов, их протяженности и положения в пространстве. Мы можем обрести их только посредством осязания, однако принято было считать, что мы воспринимаем их и зрением. Одно из наших чувств передало свое умение другому, и в этом обмене нам потребовалось немало времени, чтобы распознать, кто здесь ученик, а кто - учитель.

Все эти различия требуют крайне тонкого и глубокого анализа. Я изложу те выводы, к которым пришли философы, о которых я вам рассказывал, и порой буду дополнять их собственными размышлениями. Это в некотором роде напоминает расщепление невидимых нитей или лучей света; но мы увидим, что именно в таких тончайших разложениях целого на части зачастую кроются самые важные открытия и истины.

Спустившись таким образом в глубины наших ощущений, к их истокам, скрытым под наслоениями суждений и иллюзий, накопленных временем, мы обречем определенную легкость в различении обстоятельств, в которых наши ощущения туманны, запутаны и неполны, и тех обстоятельств, в которых ничто не препятствует их полноте, ясности и точности. Эти обстоятельства, будучи четко разграничены, направят нас к поиску способов всегда избегать первых и неизменно ставить себя в условия вторых. Это стало бы способом всегда чувствовать верно. Принято считать, что это - дар; мы же увидим, можно ли превратить это в ИСКУССТВО. Задача всякой здоровой философии должна состоять в том, чтобы постоянно стремиться превратить то, что является лишь частным и счастливым даром, в искусство надежное и всеобщее.

Здесь я представлю на суд философии нашего века и здравого смысла всего человечества мнения тех древних и современных философов, которые в поисках истины отвергали свидетельства всех органов чувств; которые обвиняли все наши ощущения в том, что они - лишь источники иллюзий и заблуждений; которые пытались сокрушить человеческий разум его же собственной властью и вырвать науки с корнем. Именно так поступали Платон в Греции, Мальбранш во Франции, а до него - Монтень; и, что поразительно, в Англии - некоторые последователи Локка. Если их амбицией было добиться рукоплесканий от людей, которых они принижали, то они преуспели, и триумф их красноречия был весьма блистателен. Если же они полагали, что служат человеческому разуму, смиряя его гордыню преувеличенным чувством собственного бессилия, то они ошибались; ведь человеческое тщеславие питается даже теми иллюзиями, в которых само признается, и готово гордиться прежде всего своим невежеством. Если же они думали подавить разум, парализовав его страхом, то ошибались еще сильнее: стоит человеческому духу начать действовать, как деятельность становится для него столь же необходимой, как движение для материи. И вовсе не от них, а от совсем других людей разум

узнал, как направлять свои действия на предметы, чтобы стать их верным отображением, подобно чистому и правильному зеркалу.

Я докажу, что если смутные ощущения являются источниками иллюзий, то ощущения точные служат источниками истины. Пусть наши чувства ничему не учат нас, когда мы ищем в них знания, которых там и быть не может; но если мы будем искать в них именно то, что в них действительно есть, мы обречем знания совершенно естественные, которые покажутся нам почти чудесными. Когда один из наших органов чувств готов нас обмануть, все остальные спешат предупредить о его лукавстве. Чувства нужно не поносить, а направлять; не принимать, а поддерживать; не изолировать, а объединять их, чтобы проверять и подтверждать сомнительные показания каждого через единодушные и, так сказать, законно выверенные свидетельства их всех.

Галилей, который, несомненно, знал об иллюзиях чувств, раз умел так ловко их избегать, вовсе не тратил жизнь на то, чтобы оплакивать и обличать слабость, обманчивость и ограниченность зрения. Он направляет в небо телескоп - своего рода новый орган зрения, сотворенный искусством и гением, и в то же мгновение открывает новые небеса; открытые им спутники Юпитера до сих пор остаются самыми постоянными и надежными проводниками для наших мореплавателей, ведущими их по неизведанным путям среди океанских рифов.

Галилей с помощью инструмента невероятно расширил возможности органа зрения; но разве не могут существовать для всех органов наших чувств способы расширить сферу их действия без какой-либо технической помощи, лишь благодаря более удачному или умелому обращению с ними? Все способности нашего тела при правильной тренировке обретают больше гибкости и силы; наши чувства, которые также являются органами нашего тела - причем самыми чувствительными из всех, - разве не могли бы они точно так же, благодаря специально подобранным упражнениям, обрести больше тонкости, энергии и широты охвата?

Детям необходимо учиться видеть, слышать и осязать, хотя всё это и кажется нам совершенно естественным; следовательно, в этом кроется некое искусство. Разве нельзя довести это искусство до гораздо большего совершенства, чем то, которого люди обычно достигают? Неужели невозможно создать такое искусство видения, которое научило бы воспринимать быстрее и на большем расстоянии гораздо большее число объектов одновременно, во всем многообразии их форм и с тончайшими оттенками их цветов? Неужели невозможно создать искусство осязания, которое научило бы быстро различать и распознавать на поверхности предметов формы, контуры, гладкость и шероховатости, которые мы не можем даже заподозрить, поскольку мы не упражнялись в том, чтобы распознавать их через наши ощущения и давать им названия? Неужели невозможно, наконец, создать искусство слуха и искусство вкуса, которые позволили бы нам одновременно расширить сферу наших удовольствий и знаний с помощью органов вкуса и слуха - при том что один из них стал источником столь многих излишеств, а другой породил искусство, обладающее такой огромной властью над человеческим сердцем?

Не стоит удивляться тому, что подобные вопросы не задавались в те века, когда люди были убеждены, что наши знания вовсе не происходят из ощущений; однако вызывает удивление то, что за целое столетие, в течение которого эта истина была представлена в столь ясном свете, никто даже не подумал их поставить.

Множество фактов - среди которых есть как вполне подтвержденные и широко известные, так и более редкие, но отнюдь не невероятные, - доказывают, что человечество может успешно стремиться к обретению этого искусства. С его помощью, расширяя сферу действия всех органов чувств, оно могло бы бесконечно умножать ощущения, источником которых они являются, и, следовательно, расширять во всех направлениях границы своих познаний.

Первый пример, который приходит на ум, поскольку он всегда находится рядом с нами, - это пример музыкантов и художников. Одни в концерте, а другие в картине различают столько звуков и форм, столько впечатлений и предметов, которые сливаются воедино и ускользают от тех, чьи слух и зрение не столь натренированы и опытны. Путешественники

уверяют, что готтентоты с высоты скал мыса Доброй Надежды невооруженным глазом обнаруживают в бескрайнем океане корабли, которые европейцы едва способны различить в телескоп. Различать великое множество ароматов и запахов гораздо труднее, чем множество физических тел и звуков; однако исследователи, изучающие явления природы и искусства, рассказывают об одном индейце, который настолько упражнялся в распознавании различных ароматов цветов и растений, что различал их, даже когда они были смешаны и перепутаны в одном парфюмерном мешочке. Вы знаете - и, возможно, задумались об этом еще до того, как я об этом заговорил, - вы знаете, какую широту, какую тонкость и какую почти чудесную проницательность обретает орган осязания у тех несчастных, которых природа или несчастный случай лишили зрения. Наконец, граждане, поскольку всё, что служит поиску истины, облагораживается и обретает значимость, я не побоюсь напомнить вам о людях, полагающих всё своё счастье в удовольствиях стола и употребляющих свой талант на то, чтобы отличать одно блюдо от другого. Насколько искусны древние и современные Апиции, различая и определяя нюансы вкуса между окуном из конкретного озера или реки и окунями из любых других вод; между бутылкой вина со знаменитого виноградника и другой бутылкой того же самого урожая. «Сколько ощущений потеряно для нас, обычных едоков!» - говорит по этому поводу Монтескье.

Сопоставляя и обдумывая все эти факты, мы приходим к выводу, что нет ни одного органа чувств, который при определенных обстоятельствах и благодаря известным упражнениям не мог бы обрести такую широту, тонкость и точность восприятия, которые кажутся нам почти невероятными чудесами, если сравнивать их с обычными возможностями человеческих органов. Из этого вывода логично вытекает следующий: если создать аналогичные условия и заниматься упражнениями подобного рода, можно было бы сделать эту необычайную степень совершенства органов привычной для человека. В конечном счете, можно было бы превратить в настоящее искусство то, чем некоторые люди владеют как бы неосознанно; искусство, которое человеческий род практиковал бы, опираясь на разумную и очевидную теорию.

Я попытаюсь отыскать первоосновы и главные правила этого искусства, которое сделало бы более обширными, глубокими, чистыми и ясными все источники, из которых человеческий разум черпает свои представления.

Наряду с этим искусством, возможно, стоит выделить и другое - оно могло бы стать его частью или своего рода дополнением, безмерно увеличивающим красоту и пользу всего метода в целом. Органы наших чувств подобны инструментам, которыми мы можем научиться пользоваться с большим или меньшим мастерством. Однако дело не только в искусстве владения органами чувств: сама чувствительность, судя по всему, различается у разных людей, да и у одного и того же человека она меняется от мгновения к мгновению.

И именно здесь открывается иная способность человека, едва замеченная и совершенно забытая: человек может воздействовать на свою чувствительность, чтобы пробудить или усыпить её, умерить её или сделать более активной и пылкой. Это своего рода инструмент, который он может, прежде чем на нем играть, настроить выше или ниже на определенный лад. Выбор воздуха, которым он дышит, условий, при которых он принимает солнечные лучи, пищи, которой он питается, и жидкостей, которые он заставляет течь в своих жилах вплоть до самых фильтров мозга - таковы известные и естественные средства, с помощью которых человек может настраивать инструмент своей чувствительности на различные лады. Чашка кофе не дарует гениальности, но она сообщает гению тот импульс, благодаря которому он творит и созидает. Этот факт, как и некоторые другие того же рода, хорошо известны, но их оценивали неверно: им приписывали либо слишком большое, либо слишком ничтожное влияние. Одни отрицали эти природные явления, другие же пытались выставить их как явления сверхъестественные. Я намерен заняться поиском фактов более многочисленных и разнообразных, нежели те, что уже приводились и повторялись; ведь именно через обогащение собрания фактов мы обретаем и средство для их взаимной проверки, и способ определить масштаб и пределы их результатов.

Во втором разделе я рассмотрю то, что называют способностями человеческого разума. Способность - это сила и средство действия; и поскольку наш разум не может ничего совершить без ощущений, поскольку он не является и не может быть ничем иным, кроме как ощущением; поскольку понимать и чувствовать - это одно и то же, из этого следует, что способности разума являются и могут быть лишь способами направлять наши чувства и сочетать наши ощущения, чтобы всегда получать те из них, которые соответствуют нашей связи с природой вещей. Поэтому мы будем детально и тщательно наблюдать за всем, что происходит в человеке и что он делает сам, когда получает ощущения, когда уделяет внимание какому-то одному из них, когда сравнивает несколько ощущений между собой, когда на основе этих сравнений он выносит суждения, а на основе суждений строит рассуждения; когда в отсутствие самих предметов он воскрешает их в памяти и видит их с помощью воображения; когда путем размышления его внимание переходит и переключается от одного образа к другому, от одной идеи к другой, от одного рассуждения к следующему. Мы приложим исключительные усилия, чтобы четко разграничить частные изменения ощущения в каждой из тех форм, которые оно принимает или обретает; и поскольку это способности, то есть средства действия, мы займемся прежде всего поиском метода, способного расширить эти способности, чтобы дать человеку большую силу.

Среди этих способностей есть четыре, которые, обладая наибольшим влиянием на все остальные, обязывают нас рассмотреть их более пристально: ВНИМАНИЕ, ПАМЯТЬ, ВООБРАЖЕНИЕ, РАССУЖДЕНИЕ.

Внимание, в зависимости от того, слабое оно или сильное, правильно или неверно направленное, устойчивое или мимолетное, определяет состояние всех остальных способностей разума. Оно действует одновременно и на ощущение, которое открывает цепь этих способностей, и на размышление, которое её завершает, а также на все промежуточные способности. Все эти чудеса разума, о которых люди так любят рассуждать и которыми привыкли восхищаться, - не что иное, как естественные проявления внимания. Правильно направленное и сосредоточенное внимание улавливает тончайшие нюансы предметов и охватывает их самые обширные связи; подобно тому как слон, чей разум, кажется, столь близок к человеческому, способен своим хоботом поднять с земли едва заметную соломинку и в то же время вырывать с корнем или валить дубы, растущие в лесах. Опыт доказывает, что гибкость и сила внимания приобретаются благодаря его упражнению; а любое упражнение, коль скоро его результаты поддаются наблюдению, может подчиняться определенным правилам. Поиску этих правил мы уделим значительное место; по сути, это будет исследование тайн человеческого разума и гения.

Память не пользовалась в прошлом и до сих пор не пользуется большим почетом среди философов: с ней обходились примерно так же, как с эрудитами и педантами, которые ею слишком часто злоупотребляли. Стоит заметить, что это пренебрежение к памяти - истинное или напускное - было крайне распространено среди мыслителей современности, в то время как у древних мы вряд ли нашли бы подобный пример. У древних все Музы считались дочерьми Памяти; и эта остроумная аллегория ясно давала понять, какое исключительное влияние они приписывали памяти в искусствах и науках. То малое значение, которое долгое время придавалось у нас памяти, могло иметь под собой законные или правдоподобные причины; в течение долгого времени в эти архивы разума заносились лишь туманные и путанные идеи, а также ложные или пустые знания. Но когда рождается искусство вырабатывать точные и истинные идеи, память, которая собирает и хранит их, становится сокровищницей разума; и богатства, которыми она владеет, отнюдь не мешая гению, дают ему и материал, и образцы для его прекраснейших творений.

Было придумано немало способов создания искусственной памяти; я также рассмотрю способы сделать память более быстрой, обширной и верной; и в этих способах не будет ничего искусственного, хотя они и могут составить целое искусство. С памятью всегда связывали способность, которая стоит к ней очень близко, напоминает её и даже затмевает её - ВООБРАЖЕНИЕ. Воображение и память - это, по сути, одна и та же способность, проявляющаяся лишь с

разной степенью силы. Память - это ослабленное воображение, воображение же - это память живая и полная. Когда мы комбинируем полученные образы, чтобы создать из них картины, не имеющие прообраза в природе, мы также называем эти действия разума воображением; мы видим в них только воображение, и именно в таких действиях оно проявляется ярче всего. Однако в этом кроется недостаток наших языков, и этот недостаток проистекает из неполного анализа наших идей. Всякий раз, когда мы соединяем вместе образы, воспринятые по отдельности, и всякий раз, когда, основываясь на том, что мы видим, мы воображаем то, что могло существовать в прошлом и что сможет существовать в будущем. Воображение не действует в одиночку; к его работе примешиваются почти незаметные, но совершенно реальные акты суждения и рассудка. Эти различия могут показаться слишком тонкими, но именно из-за того, что их не проводили, множество писателей впали в столь грубые ошибки, и даже такие мыслители, как Локк и Кондильяк, не смогли избежать расплывчатости в определенных идеях.

Именно из-за пренебрежения этими разграничениями о воображении сложились столь противоречивые мнения: на эту блестящую способность разума смотрели то как на «сумасбродку в доме», то как на некое божество. И даже признавая за ней безраздельную власть над удовольствиями ума, её стремились изгнать из всех сфер, основанных на рассуждении, видя в ней лишь колдунью, которая умеет лишь сеять и пожинаť иллюзии. Безусловно, большая часть заблуждений, которые очаровывали или удручали человечество, брали свое начало в воображении; однако это лишь доказывает, насколько воображение могущественно, но вовсе не означает, что его сила, будучи подчинена правилам, не может служить источником истины.

Что же такое, в сущности, воображение? Это способность представлять отсутствующие объекты так, словно они всё еще присутствуют перед нами, сохраняя все их черты, формы и краски, со всеми обстоятельствами времени и места, которые им предшествуют, сопровождают их или следуют за ними. Кто не видит, что подобная способность, позволяющая дольше удерживать предметы перед взором, дает нам время и средства для того, чтобы созерцать их более неспешно, рассматривать со всех сторон и улавливать все их взаимосвязи; чтобы сближать отсутствующие предметы с присутствующими и сравнивать их так, словно все они находятся перед нами? Кто, наконец, не видит, что если рассудок придает воображению точность, то только воображение способно придать рассудку широту?

Воображение - это свойство людей с самой сильной и тонкой чувствительностью; оно и есть сама эта чувствительность; и чем глубже человек чувствует, тем больше у него возможностей видеть, познавать и созидать. Наблюдение и расчет оживляют познание; но именно воображение идет впереди, чтобы открывать то, что затем предстоит подвергнуть расчету и наблюдению. Среди способностей разума оно подобно тем армейским авангардам, которые отправляются в разведку, предугадывая и одновременно видя, в каком лесу может скрываться враг и какими высотами нужно овладеть, чтобы всё обозреть и над всем господствовать.

Именно воображению принадлежат те предчувствия, которые подобны первым лучам света, предвещающим солнце еще до того, как его диск, показавшись на горизонте, рассеет тьму. История наук подтверждает это: самые величественные и полезные для человечества открытия начинались лишь с догадок нескольких гениальных людей; а разум великих философов почти всегда представлял собой лишь обширное воображение, подчиненное строгим правилам. Словом, когда у человека есть одно лишь воображение, и притом в избытке, он почти безумен; когда же у него есть лишь рассудок, он может оказаться лишь довольно заурядным человеком; когда же суровый рассудок сочетается с блестящим воображением, это человек гениальный.

Поэтому я верну воображению то выдающееся место, которое по праву принадлежит ему в искусстве рассуждения и которого оно было лишено; я буду искать способы дать ему полный простор, избавив его при этом от всех заблуждений. Чтобы уберечь его от любых крайностей, существует лишь одно средство - единственное и верное: совершенствование самого механизма РАССУЖДЕНИЯ.

Выносить суждение - это еще не значит рассуждать; и Локк, и Кондильяк с большой точностью разграничивали рассуждение и суждение. Когда, сравнивая несколько ощущений, мы замечаем и формулируем сходства или различия между ними, мы составляем суждение. Когда же в уже сформированном суждении мы обнаруживаем другое, которое было в нем заключено и скрыто, и когда мы представляем его другим через выражение, мы совершаем рассуждение.

В суждении улавливаемые различия и сходства воспринимаются непосредственно - они суть не что иное, как сами ощущения. В рассуждении же мы непосредственно воспринимаем лишь связь одного суждения с другим, а ощущения при этом словно отступают и отдаляются. Когда цепь рассуждений - то есть суждений, выводимых одно из другого, - удлиняется, ощущения отдаляются настолько, что кажется, будто они вовсе исчезают; и тогда последнее звено рассуждения, кажется, ничем не связано с первым, которое прикреплено к ощущениям и которое одно лишь составляет всю прочность и всю силу этой цепи.

Вот почему в пространном рассуждении, даже если первое суждение вполне очевидно, последнее может оказаться туманным, не давая при этом повода для сомнений: его ясность постоянно убывает, а светлые точки тускнеют в той же самой пропорции, в какой множатся звенья рассуждения. Это в точности подобно дневному свету, который становится тем менее ярким, чем на большее пространство он распространяется. Для человеческого разума нет ничего более досадного, чем это свойство: он кажется неизбежно обреченным терять очевидность своих идей всякий раз, когда стремится придать им масштаб. Создается впечатление, что самые обширные концепции всегда должны быть наименее ясными, а область гениальности - почти полностью пребывать во тьме. Мы предоставим право иронизировать над этим прискорбным состоянием человеческого разума тем, кто мнит себя «просвещенным» лишь потому, что никогда не пытается выйти за пределы ярко освещенных истин. Мы же, вслед за теми философами, что отринули все насмешки ради развития человеческого ума, исследуем, не существует ли способов и вспомогательных средств, позволяющих распределить свет более или менее равномерно по всем звеньям длинной цепи рассуждений.

По меньшей мере некоторые из этих средств мы обнаружим в искусстве делать цепь суждений очень плотной, добиваясь предельной точности и краткости в их выражении; в искусстве отображать тождественность идей через аналогию слов; и прежде всего - в искусстве, приобретаемом благодаря удачному и постоянному упражнению, позволяющему придать всем движениям своего ума большую гибкость; идти там, где другие ползут; лететь там, где другие бегут; и, наконец, предельно быстро проходить вдоль всей цепи рассуждений, чтобы никогда не терять из виду тот дневной свет или свет ощущений, который является единственным и плодотворным источником всякой очевидности. Тогда - если только искусство мыслить когда-либо удастся довести до такого совершенства - мы будем рассуждать так же быстро, как выносим суждения; судить так же быстро, как воображаем; и воображать так же быстро, как чувствуем. И эта доказанная истина, которую столь трудно постичь - истина, гласящая, что все операции ума суть не что иное, как ощущения, - сама станет казаться почти обыкновенным ощущением.

Наши ощущения и различные способы их применения - то есть *способности разума* - служат нам для формирования идей и понятий: будь то об объектах, которые представляет нам природа, о чувствах, которые мы испытываем, или о действиях и трудах, авторами которых мы являемся. Порядок, в котором части разума порождают друг друга, требует, следовательно, чтобы третья часть этого курса была посвящена изложению и развитию теории идей всех видов.

Если мы так редко и с таким трудом способны верно оценивать свои идеи и формировать новые, точные представления, то лишь потому, что в целом мы крайне мало и плохо понимаем, как именно человеческий разум обретает и создает идеи. Невежество в этом вопросе было столь велико, что даже люди, чей гений способствовал совершенствованию искусства их создания, подобно Декарту, полагали, что наши идеи вовсе не создаются, что они рождаются

уже готовыми или даже вовсе не рождаются, а являются ВРОЖДЕННЫМИ. Какое безумие! И это безумие гения!

Человек начинает формировать свои самые необходимые идеи - подобно тому, как бобры строят свои жилища, а пчелы свои соты, - благодаря искусству, которым он владеет неосознанно; искусству, чьими тонкостями он пользуется, не ведая его секретов. Это неоспоримо: все принципы этого искусства, как и первооснова всех прочих искусств, содержатся в его самых слабых зачатках. Если бы в тот миг, когда это искусство только зарождается, человек мог распознать его принципы и тайны, не было бы ничего проще, чем довести его до высшего совершенства и ежедневно создавать себе новые идеи - более масштабные, прекрасные и полезные. Но поскольку мы не сумели подметить это искусство природы, мы пожелали создать свое собственное; и, утратив природное искусство, которое одно лишь могло быть истинным, мы усвоили то, которое неизбежно оказалось ложным. Некоторые гениальные люди, как я уже упоминал, вернулись к истокам и вновь вывели нас на путь природного искусства. Опираясь - когда на их суждения, а когда и на мои собственные, - мы проанализируем идеи, которые природа заставляет нас постигать и выстраивать. Мы будем искать в них элементы, из которых они состоят, самые разнообразные сочетания этих элементов, а также различные виды и роды идей, возникающие из всех этих основ и всех их комбинаций. Мы будем исследовать МЫШЛЕНИЕ точно так же, как Лавуазье, Бертолле и Лаплас исследовали атмосферный воздух, которым мы дышим: он кажется нам столь простым и однородным, но они разложили его на множество составляющих, чьи свойства и качества совершенно различны.

В природе существуют лишь единичные объекты, и тем не менее человек повсюду создал понятия рода и вида. Это первый шаг человека, когда он начинает превосходить животных в использовании ощущений, общих для него и для них; следовательно, это первый плод работы разума, чьи механизмы, формы и применение нам предстоит раскрыть. Объяснив, как возникают эти классификации, которые куда более ценны, чем категории Аристотеля, я рассмотрю, в какой мере они помогают нам познавать объекты и не служат ли они больше для того, чтобы рассуждать о вещах, нежели проникать в их истинную суть.

Утонченная и ложная философия, предшествовавшая Бэкону, Локку и Кондильяку, словно лишила реальности единичные объекты - единственно реальные сущности, ЕДИНСТВЕННО СУЩЕЕ, - чтобы перенести эту реальность на виды и роды, которые сами по себе не обладают никакой реальностью. Мы остановимся, чтобы измерить глубину этого безумия, которое стало столь всеобщим лишь потому, что опиралось на весьма веские причины, заключенные как в природе человеческого духа, так и в самой природе вещей. Одновременно мы проверим, не зашли ли еще дальше те философы, которые подавили это безумие и изгнали из философии, по крайней мере, понятия «РЕАЛЬНЫХ ВИДОВ» и «СУЩЕСТВУЮЩИХ РОДОВ» - возможно, дальше чем следовало и чем они сами того желали; не случилось ли так, что они вовсе не знали или слишком скудно обозначили РЕАЛЬНЫЕ основания классификации существ по родам и видам. Это сомнение удивит тех, кто изучал метафизику нашего века; однако подобное удивление не должно быть неприятно ни тому, кто его испытывает, ни тому, кто его внушает: для умов, чье внимание оно встряхивает и пробуждает, сомнение служит источником плодотворности.

Идеи физических объектов - это те идеи, которые мы постигаем и выстраиваем прежде всего и легче всего; идеи же, которые мы формируем о наших поступках и которые называют НРАВСТВЕННЫМИ, кажутся более трудными для формирования - пока они еще не сложились - и для понимания, когда они уже сформированы. Поэтому мы будем говорить о нравственных идеях лишь после того, как разберем идеи физические.

Кондильяк полагал, что физические идеи мы формируем по образцам, которые предоставляет нам природа, а идеи нравственные - без всяких образцов. Я не считаю это мнение Кондильяка вполне точным; я вынесу его на ваше рассмотрение: вы сами рассудите, не имеют ли наши нравственные идеи - то есть понятия о пороках и добродетелях - своих образцов в наших различных поступках и их последствиях, подобно тому как физические идеи имеют

свои прообразы во внешних объектах, воздействующих на наши чувства. Действительно, физические образцы остаются неподвижными перед нашими глазами, пока наш взор устремлен на них; нравственные же образцы, являясь поступками - то есть фактами преходящими, событиями - появляются и исчезают, чтобы появиться и исчезнуть вновь; но эти образцы, быстро проносящиеся перед глазами, надолго сохраняются в памяти, которая их узнаёт, когда они возобновляются; и это их повторение перед глазами в сочетании с длительностью их пребывания в памяти создает достаточно устойчивые образцы, чтобы разум мог уловить их очертания и запечатлеть их в слове.

Разбор этого мнения Кондильяка станет для нас поводом рассмотреть взгляды тех английских философов, которые, будучи глубоко тронуты красотой добродетели, под влиянием восхищения и любви к ней пришли к мысли, что для постижения её сути требуется некое более тонкое и совершенное чувство, нежели те, что доступны нашему наблюдению. Они полагали, что для этой божественной функции действительно существует иное чувство, и назвали его «нравственным чувством». Я же докажу, что некое невидимое и особенное чувство необходимо для формирования понятий о добродетели не более, чем требовалось бы иное, противоположное ему чувство для формирования понятий о пороке. Я докажу, что нравственные идеи - эти прекраснейшие порождения человеческого разума - проникают в него не через единственный канал восприятия, а через все чувства одновременно; что сама природа человеческой чувствительности такова, что она нуждается в морали, поскольку стремится избегать страданий и искать счастья. Я докажу, что страдание и удовольствие, которые учат нас пользоваться нашими чувствами и способностями, также обучают нас вырабатывать понятия о пороке и добродетели. Таким образом, наука о разуме и наука о морали, которые не должны и не могут быть разделены, будут воссоединены в самих своих основаниях; и далее я рассмотрю влияние страстей на разум и разума на страсти.

Среди объектов, которые представляет нам природа, мы иногда рассматриваем объект целиком как совокупность свойств, не выделяя ни одно из них в отдельности; в других случаях мы мысленно отделяем одно или несколько из этих свойств, чтобы через суждение подтвердить, что оно является частью данной совокупности; иногда же мы обособляем одно или несколько свойств, чтобы рассматривать их так, будто они существуют независимо от всех остальных - словно это не свойства, а самостоятельный объект. Эти три операции разума дают нам идеи трёх совершенно различных видов: идеи субстанций, идеи свойств и идеи свойств, рассматриваемых так, будто они обладают собственным бытием.

Я приложу все усилия, чтобы точно определить отличительные признаки этих трёх видов идей. Именно из-за их смешения человеческий разум столь часто впадал в нелепости, которые трудно даже осознать и которые, тем не менее, превращались в культы у разных народов. Я обращусь к истории, которая предоставит нам более чем достаточно примеров таких странных заблуждений; и сама история ошибок человеческого разума послужит нам для его же совершенствования.

Среди понятий разума есть и такие, чей реальный объект трудно уловить даже при самом тщательном анализе: таково понятие пространства, которое относят то к самим телам, то к месту, где эти тела расположены и где они движутся; таково и понятие времени, идею и меру которого мы можем обнаружить лишь в последовательности наших идей и которую мы почти неодолимо соотносим с чередованием часов, дней, лет и веков. Существуют и другие понятия, представляющие силы природы: их существование мы вынуждены признать, но не можем получить о них никакого знания. И всё же, поскольку мы способны рассуждать об этих силах, мы верим, что можем их познать; таково понятие силы, которая порождает, передает и останавливает движение. Наконец, есть понятия чисто отрицательные, которые нам всегда трудно не воспринимать как положительные: таково понятие бесконечного.

Одной из главных задач писателя или наставника, рассуждающего о человеческом разуме, должно быть точное определение всех подобных понятий: они ежесекундно вплетаются

во все наши мысли, и если они ложны или плохо определены, то переносят свою неопределенность и ложность на все идеи, с которыми смешиваются. Поэтому мы возьмем на себя этот труд и рассмотрим все эти понятия в следующем порядке:

О телах.

О пространстве.

О времени.

О вечности.

О движении.

О движущих и приводящих в движение силах.

О порядке.

О непреодолимых и непостижимых силах.

О первопричине.

Когда мы таким образом проанализируем идеи всех видов и всех родов, нас поразит один результат: в этих идеях столь многих различных видов по сути существует лишь один-единственный ЧЕРТЕЖ. Это своего рода механизмы, в которые встроено больше или меньше колес и деталей; детали и колеса могут быть крупнее или мельче, но ЧЕРТЕЖ, модель отдельных частей и всего целого, всегда остается неизменным. Пахарь, размышляющий над своим плугом, рассуждает точно так же, как Ньютон о системе мироздания.

Это единство чертежа и модели во всех идеях, понятиях и знаниях служит фундаментом для всего самого великого и реального в наших надеждах на совершенствование человеческого разума и всеобщее улучшение человеческих судеб. Поскольку существует лишь один-единственный способ мыслить верно и нет ни одного человека, который не рассуждал бы здраво о тех или иных предметах, мы вправе заключить следующее: как только все осознают, каким именно образом они мыслят, когда мыслят верно, каждый сможет направить свою мысль на любые объекты, которые ему важно познать, и неизменно - с той же точностью и успехом. Тогда мы, возможно, вплотную приблизимся к тому «царству человека над природой», о котором говорил Бэкон на языке, столь похожем на божественное вдохновение; впрочем, этот язык кажется апокалиптическим лишь тем, кто не умеет ни видеть настоящее, ни предвидеть будущее. Пусть лишь в Европе утвердятся две или три великие республики на тех же принципах, что и Французская республика; пусть эти республики обретут достойные конституции, а эти конституции - мудрые правительства; и тогда эпоха к которой взывал Бэкон и которую столь мощно приблизили плоды его гения, окажется совсем не далека от того времени, когда мы сойдем в могилу. Эта величественная надежда давно вошла в мою душу; в самые счастливые дни моей жизни она была для меня самым сладостным очарованием. В те ужасные времена, которые мы только что пережили, она ни на мгновение не покидала меня; и даже если злодеи, глупцы и острословы станут над этим смеяться, я буду часто выпускать её из своей души, чтобы доверить вашей. Ведь искусство мыслить отнюдь не проигрывает, а, напротив, может многое обрести от подобных излияний всего лучшего, что есть в человеческой чувствительности; так наши размышления обогатятся нашими чувствами.

Еще один результат, который должен нас поразить, заключается в том, что все эти идеи столь различных родов и столь многообразных видов порождаются, по сути, одной и той же операцией разума - абстрагированием.

Обычно, когда говорят об абстрактных идеях или, желая их принизить, называют их «замыслимыми», полагают, будто речь идет о чем-то максимально туманном и непостижимом в глубочайших науках. Подобное мнение столь прочно утвердилось в светском языке и в легких сочинениях лишь потому, что люди совершенно не знают ни природы, ни применения абстракции. Невозможно ни мыслить, ни говорить без абстрагирования; в стихах Вергилия и Горация абстракций не меньше, чем в трудах Ньютона и Лейбница; и в речи юной торговки фруктами и цветами их столько же, сколько в стихах тех же Горация и Вергилия. Именно благодаря абстракции формируется наш разум, возникают наши самые четкие и обширные идеи. Она одновременно служит основой и для точности, и для обобщения - то есть для величия и ясности мысли. Именно с её помощью все наши способности - чувства, память, воображение -

производят разложение и воссоединение; именно через неё и ради неё были созданы все языки. Локк, Кондильяк и Бонне пролили немало света на этот предмет, но в нём по-прежнему остаются глубины, требующие пояснения: именно абстракцией мы завершим теорию идей, над которой она главенствует.

С теорией идей непосредственно и тесно связана теория языка или языков: это станет предметом четвертого раздела. Когда заходит речь о средствах и инструментах, которыми пользуется человек для выражения своих мыслей, следовало бы вместо слова «языки» употребить более общее понятие - «знаки». Ведь звуки голоса - это лишь один из родов знаков, тогда как существует множество других их видов, служащих для выражения мысли. Сколько бы мы ни предупреждали, что значение слова «языки» следует распространять на все типы знаков, привычка неизменно сужает и ограничивает его лишь звуками, которые рождаются во рту при помощи языка; и мы ежесекундно забываем о договоренности, которая идет вразрез с этой привычкой. Поэтому всякий раз, когда я буду рассуждать в самом общем ключе о способах выражения наших идей, я буду заменять слово «языки» словом «знаки».

Анализ возможен лишь при наличии знаков; однако, чтобы установить знаки, необходимо было уже провести анализ, ведь знаки предполагают наличие отчетливых идей, а отчетливые идеи предполагают анализ. Следовательно, знаки, данные самой природой, неизбежно предшествовали знакам, созданным человеком. Человек смог сотворить язык лишь по подобию того языка, который не был делом его рук. Установление языков человеком показалось самому красноречивому философу нынешнего столетия, Руссо, делом настолько превосходящим естественные способности нашего разума, что он не побоялся объявить этот процесс не только непостижимым, но и вовсе невозможным. Поскольку все слова вводятся по общему соглашению, рассуждал Руссо, получается, что использование речи было необходимым условием для самого возникновения речи. И все же языки существуют; и Руссо, столь блистательно владевший тем языком, который он сделал проводником своего гения, меньше кого бы то ни было мог отрицать их существование. Как же он распутывает этот гордиев узел, который сам же и завязал? Так же, как плохие поэты порой разрешают интригу в посредственной трагедии: он заставляет божество сойти на землю, чтобы научить людей первым словам первого языка и преподать им основы алфавита.

Другой философ - чья слава и красноречие скромнее, а гений, возможно, уступает таланту Руссо, но чьи заслуги перед человеческим разумом, вероятно, куда более значительны - Кондильяк, нашел для этой проблемы, столь утомившей разум Руссо и столь тщетно, - решение весьма простое, легкое и проливающее на всё вокруг ярчайший свет, озаряя как теорию идей, так и теорию языков.

В человеческом лице, в его взглядах, которые то смягчаются, то воспаляются, в цвете кожи, который бледнеет или краснеет, в осанке, выдающей упадок духа или отвагу, в улыбке, выражающей доброжелательность или презрение, - во всём этом Кондильяк видит в высшей степени выразительные знаки самых живых человеческих чувств. В этих знаках он обнаруживает язык действий, которого было достаточно, чтобы разграничить идеи, нуждавшиеся в именованиях. Именно этот язык послужил образцом для языков устных; именно он дал уму даже самых первобытных людей всё развитие, необходимое для того, чтобы они смогли добавить к врожденным знакам знаки условные.

В этой идее одновременно обнаруживаются и истоки самых скромных начатков человеческого разума, и инструмент, с помощью которого он совершает свой величайший прогресс. Эта идея является для метафизики тем же, чем в алгебре являются формулы, позволяющие решать огромное множество задач. Именно на ее основе я докажу ту столь новую и плодотворную истину, что языки служат не только для того, чтобы передавать мысли, но и для того, чтобы их формировать. Эта истина всё еще встречает недоверие, будто она - лишь частное мнение, а не логическое доказательство.

Предположим, что наших устных языков не существует; предположим, что этот язык взглядов, красок, осанки, поз и жестов, который предшествовал языкам устным и который слу-

жил для них образцом, также не существует; предположим, наконец, что люди, переполненные ощущениями, не встречаются нигде ни знаков, ни выражений того, что они чувствуют. Кто не поймет, что в этом случае их ощущения будут постоянно проникать в их душу и покидать ее, не давая им возможности выделить в них почти ни одной идеи? Кто не видит, что из-за невозможности выразить себя и из-за отсутствия перед глазами выражения тех чувств, которые возникают под воздействием всех органов чувств, все их ощущения оставались бы в той смутной путанице, где нет места никаким идеям, поскольку ни одну из них невозможно распознать?

Я буду часто возвращаться к этому принципу; он неоспорим, и всё же даже выдающиеся умы всегда готовы его оспорить; между тем, если понять его превратно, вся теория познания будет истолкована неверно.

Языки и идеи, а также знания, хранилищем которых они являются, связаны столь тесно, что почти невозможно до конца постичь те схемы, по которым формируются все наши идеи, не понимая одновременно, по какой модели должен строиться язык, чтобы достичь максимально возможного совершенства. Я опишу эту модель в меру своих сил, и тогда каждый сможет увидеть и рассудить, в какой мере языки, которыми он владеет, приближаются к ней или отдаляются от нее. Именно в языках простых народов, мало соприкасавшихся с другими народами, наиболее отчетливо прослеживается формирование и сочетание идей через формирование и сочетание слов. В таких языках речь, всегда в некотором роде прозрачная, обнажает все черты, все контуры, все формы мысли; и напротив, у народов, которые активно смешивались вследствие миграций, завоеваний или торговых связей, языки, как правило, имеют корни, производные и грамматические формы настолько перепутанные между собой, что они стирают любые следы тех путей, по которым следовал разум. Всякая преемственность в них утрачена, то есть погребена под самыми причудливыми наслоениями; аналогии - этот свет, озаряющий языки, - в них угасли; чтобы по-настоящему понять хотя бы один из таких языков, пришлось бы выучить двадцать других. Это сопоставление исконных и смешанных языков прольет новый свет как на то, что составляет правильное формирование идей, так и на то, что составляет правильное формирование языков и знаков.

Знаки, подаваемые голосом, или мимолетные звуки речи, и знаки, начертанные рукой и запечатленные перед глазами, то есть письмо, оказывают разное влияние на разум и его деятельность; поэтому я рассмотрю эти различные виды знаков.

Я исследую влияние иероглифического письма на человеческий разум: прежде всего через те связи, что обнаруживаются между природой разума и природой иероглифического письма; затем я поищу их в фактах - пусть недостаточно достоверных и полных, но любопытных и поучительных, - которые история сохранила об этой письменности. Когда мы увидим, как великое множество божеств, перед которыми человечество веками жило в трепете и смиренности, рождается из иероглифического письма, мы будем потрясены могуществом знаков. Но мы познаем эту силу еще лучше; мы яснее почувствуем, насколько важно направлять её, сдерживать и расширять; и тот трепет, который мы испытаем, окажется благотворным.

Наши рассуждения об иероглифах приведут нас к изобретению алфавитного письма - открытию, без которого человеческий разум никогда не смог бы уверенно вырваться за пределы круга самых тесных понятий, продиктованных лишь крайне ограниченными физическими потребностями. Без этого изобретения искусство мыслить и разум в его современном виде никогда бы не существовали. Все прочие творения гения кажутся последовательными и постепенными, где одно звено логически ведет к другому; создание же алфавитного письма представляется СКАЧКОМ: оно привело ко всему, тогда как кажется, будто ничто не вело к нему самому. Будет доказано, что это изобретение, подобно всем остальным, стало результатом наблюдений и анализа; и, к счастью, исторические предания позволят нам увидеть те обстоятельства, в которых эти наблюдения и этот анализ могли быть осуществлены легче всего. Я сосредоточусь, прежде всего, на подробном разборе влияния алфавитного письма на языки и на человеческое понимание, а также изучу природу и причины этого влияния.

Поскольку языки были источником как всего самого лучшего, так и всего самого дурного в человеческом духе, из этого следует, что поэзия и красноречие неизбежно принимали огромное участие и в этом благе, и в этом зле; ведь именно они были в языках тем элементом, который обладал наибольшей силой. Итак, мы рассмотрим красноречие и поэзию в их связи с заблуждениями и совершенствованием человеческого разума; и, к великому удивлению, возможно, даже тех, кто много размышлял над этими вопросами, результат этого строгого исследования приведет нас к признанию того, что великие поэты не только составляли отраду человеческого духа, но и были его светом, и что среди всех писателей именно они первыми привили людям вкус к истине и потребность в ней. Поэзия сделала для людей то же, что природа делает для детей, обучая их мыслить в процессе игры.

Проведя крайне необходимое различие между *поэтической истиной* и *истиной философской*, я покажу, что они ЧАСТО различаются по своему предмету, но пути разума для их достижения, а также строгое или тонкое использование подходящих слов и точных терминов для их выражения - одни и те же. У нас появится, если это возможно, еще больше поводов любить этот поэтический гений, ставший источником очарования для просвещенных народов; и не совсем без причины ему приписывают славу того, кто вывел человечество из лесов.

Я заявляю об этом с сожалением в то время, когда красноречие и ораторское искусство имеют над нами столь великую власть; однако в своих изысканиях я не найду столь же почетных свидетельств в пользу красноречия: почти никогда оно не было инструментом мудрецов для торжества добродетели, но служило инструментом честолюбцев для торжества их страстей. Именно оно предоставило обманам, поток которых затопил землю, тот яркий и яростный язык, который, вводя разум в заблуждение или заставив его умолкнуть, подчинил или увлек за собой волю людей. Именно оно с высоты кафедр и алтарей проповедовало ложные религии; именно оно с трибун провозглашало пристрастные и несправедливые законы. Его победы над умами неизменно устанавливали господство лжи и заблуждения, подобно тому как завоевания великих воинов всегда приносили с собой рабство и деспотизм. У философии и истины не было врага более грозного. Чтобы уличить красноречие во всех бедах, в которых я его обвиняю, я приведу примеры самых пагубных иллюзий, порожденных наиболее прославленными ораторами всех времен.

Умерив в некоторой степени его гордыню самим рассказом о достигнутых им триумфах, я покажу, как в наши дни оно объединилось с философией, чтобы одерживать победы, искупающие причиненное им ранее зло. Я постараюсь найти способы сделать этот союз естественным, всеобщим и прочным, а также рассмотрю вопрос, разрешить который непросто: может ли философский слог быть одновременно и в высшей степени красноречивым, и предельно точным?

Дальнейшее развитие всех наших взглядов на языки само собой приведет нас к проекту единого всеобщего языка, созданием которого были заняты умы некоторых мечтателей и гениев. Является ли это лишь мечтой или же это одна из тех великих идей, которыми на протяжении многих веков забавляются как прекрасной химерой, но которые в более счастливые времена воплощаются в жизнь? В этой связи я сразу же отмечу, что уже два столетия в Европе существует совершенно новый язык - АЛГЕБРА, и почти с самого момента своего возникновения он распространился среди людей всех народов, занимающихся теми предметами, о которых этот язык повествует. Я замечу также, что не прошло и десяти-двенадцати лет с тех пор, как некоторые химики обратили внимание на несовершенство языка своей науки, а сегодня на новом языке химии говорят уже во всей Европе. Я отмечу, что огромное число идей как в области нравственных, так и физических наук выражается ныне во всей Европе на одном и том же языке; его легко узнать, несмотря на те незначительные изменения, которым подвергаются слова в каждом отдельном наречии, свойственном тому или иному народу. Я отмечу, что сегодня, когда механизм языков и все искусство их формирования досконально изучены, создание нового языка для всех областей мысли отнюдь не является задачей, представляющей наибольшие трудности для здравой философии. Я замечу, что принятие всеобщего языка всеми народами было делом невозможным в те времена, когда всё их разделяло; но сегодня,

когда всё должно их объединять, позволительно верить, что невозможное прежде стало, в худшем случае, лишь затруднительным.

Ободренные этими наблюдениями, мы сможем приступить к рассмотрению проекта всеобщего языка; и если когда-нибудь - как мы уже выражали наше желание и надежду - Европа превратится в единую республику, не стоит сомневаться, что эти республики в один прекрасный день образуют конгресс философов, которым будет поручено создание этого языка; он стал бы для всех народов источником великого просвещения, средоточием многих добродетелей, богатств и небывалого процветания.

В пятом и последнем разделе я рассмотрю вопрос метода. Мне почти нечего будет добавить нового, однако я должен буду собрать воедино результаты всего того, что изложил и развивал в предыдущих главах. Здесь я покажу, что умение правильно чувствовать, правильно пользоваться своими способностями, правильно формировать мысли, а также умение ясно изъясняться с разных точек зрения и в различных терминах - всё это, по сути, одно и то же; именно в этом и заключается верный метод. Давний спор между сторонниками синтеза и сторонниками анализа будет разрешен без особого труда путем применения тех принципов, которые мы собирали на протяжении всего нашего пути. Мы заранее убедимся, что не существует и не может существовать иного способа правильно видеть и наблюдать, правильно мыслить и излагать свои суждения, кроме как излагать, мыслить, наблюдать и видеть аналитически. Мы увидим, что и те, кто превозносит преимущества синтеза, обретают истинное понимание лишь тогда, когда сам синтез является результатом анализа. Наконец, чтобы вынести обоснованное суждение в споре между анализом и синтезом и окончательно доказать, какой из этих методов является лучшим или единственно верным, я прибегну к весьма решительному средству: я набросаю картину самых безумных систем, когда-либо вводивших мир в заблуждение, и станет очевидно, что все они были воздвигнуты с помощью синтеза. Рядом же я представлю картину тех великолепных открытий в области точных и естественных наук, которые со времен Галилея изменили облик науки и целых империй; и станет очевидно, что все они были совершены благодаря анализу. Таков мой план на всё время этого курса; я жду ваших замечаний, чтобы знать, что мне следует о нем думать.

Из первого тома дебатов, происходивших в Нормальной школе.

(29 плювиоза)

Гара. Я вижу на столе довольно длинный список учеников, пожелавших высказаться о человеческом разуме. Но прежде, чем предоставить слово гражданам из этого списка, я считаю своим долгом ненадолго занять собрание двумя или тремя полученными мною письмами. В них содержатся вопросы примерно того же рода, что могут возникнуть и в учебных классах. Выслушав первое из этих писем, вы легко поймете, граждане, почему я читаю его первым.

«Самая прекрасная похвала, которую я могу воздать благородству моего разума, - это, несомненно... и т. д.». Первое замечание, которое я сделаю по поводу этого письма, коснется того необычайного разделения между моралистами и философами, которое в нем проводится: можно подумать, что моралисты не способны обладать философией, а философы - моралью. Признаюсь, граждане, эта фраза зародила во мне некоторые сомнения в чистоте намерений автора письма; она породила и еще одно сомнение: я сомневаюсь, что это письмо написано одним из учеников Нормальной школы; оно не подписано.

В этом письме говорится, что *«бессмертие души - этот принцип, торжественно признанный всеми народами и должный служить основой морали, - неразрывно связано с её духовной природой»*. Эта связь может существовать на самом деле, но как доказать с помощью разума, что она столь существенна и необходима? Многие философы и даже, добавлю я, многие христиане, причисленные к лику святых, полагали, что душа одновременно бессмертна и материальна.

Если мы будем судить о материи на основании всего того, что способны о ней помыслить, то увидим, что её формы меняются, но ни один из её элементов не может погибнуть. И если бы способность чувствовать, если бы человеческая душа, как считал Тертуллиан, была либо видоизменением, либо сочетанием элементов материи, то, поскольку материя, в нашем представлении о ней, нетленна, душа могла бы быть материальной и при этом оставаться бессмертной. Этот прекрасный, столь утешительный догмат о нашем бессмертии не связан существенно и исключительно ни с одним учением; он связан со всеми ними, и именно это делает его более прочным, более непоколебимым.

Принцип бессмертия души торжественно засвидетельствован... Он провозглашен торжественно, ибо это сделано указом; однако провозглашение - это не свидетельство. Свидетельствуют о том, что видели, к чему прикасались, что чувствовали; провозглашают же то, о чем думали, а зачастую и то, что вообразили. Смешивая таким образом все выражения, мы путаем и понятия; в этом хаосе идей и слов суждение сбивается с пути, истина исчезает или вовсе не является, воцаряются заблуждения, и обман воздвигает на них свою империю.

Автор письма также утверждает, что основой морали является духовность и бессмертие души. Я далек от того, чтобы утверждать или думать, будто догмат о бессмертии души не дает человеческой морали более широкой, прекрасной и прочной опоры; однако мораль, чьи самые величественные надежды устремлены в иную жизнь, имеет свои корни в жизни нынешней. Мораль рождается из отношений, в которые природа ставит людей по отношению друг к другу: эти отношения находятся у нас перед глазами; следовательно, принципы и правила морали также находятся перед нашими глазами. Чтобы открыть все законы морали, достаточно наблюдать за человеком в его отношениях с себе подобными; подтверждение священных истин, провозглашаемых моралью, повсюду предстает перед нашим взором в человеческих поступках: повсюду мы видим, как из зла рождается несчастье, а из добра - счастье; повсюду мы видим виновных, охваченных тем самым ужасом, который они сеют, и наказанных муками совести еще до того, как их постигнут судебные кары; повсюду мы увидим, что безопасность опирается на справедливость, а любое благополучие - как частное, так и общественное - рождается из общего порядка. Мы увидим, что добродетель - даже когда ее не признают, оскорбляют и позорно влекут к тиранам или на эшафот - предпочитает свои видимые мучения тем незримым терзаниям, которыми совесть карает торжествующее преступление. Прежде чем быть высеченными на каменных или медных таблицах, законы морали были начертаны в человеческом сердце. Тот же голос, что звучит для верующего с небес, для человека просто нравственного звучит из глубины его души; и если вечные награды добродетель может обрести лишь в иной жизни, то и на этой земле, где ей с таким трудом приходится утверждать свою власть, все самое нежное, восхитительное и прочное в наших радостях все равно принадлежит ей.

Поэтому я полагаю, граждане, что преподаватель человеческого разума и преподаватель морали смогут говорить о своих предметах без каких-либо противоречий; я даже убежден, что они смогут оказать друг другу взаимную поддержку.

Постскриптум содержит критику, но это критика мнения, которое я не разделяю. Я не говорил, что орган зрения заслуживает первого места по своей точности; напротив, я постоянно упоминал о его иллюзиях. Я говорил, что эти иллюзии обусловлены самим множеством объектов, которые он охватывает; об этом органе я заговорил первым лишь потому, что его впечатления поражают нас сильнее всего. Я еще не касался осязания; но когда я перейду к нему, то надеюсь объяснить вам в рамках этого курса, каким образом основательные впечатления, полученные через прикосновение, корректируют поверхностные впечатления от зрения. Считаю, что могу освободить себя от дальнейших дополнений к этому разбору.

Автор другого письма - на сей раз это один из учеников - представляет мне весьма здравые замечания о необходимости точно определять слова и четко устанавливать их значения. Он напоминает об очень остроумном сравнении Декарта, который глубоко чувствовал потребность в определениях, но не всегда следовал этому столь необходимому правилу. Ссылаясь на

Декарта, он говорит, что «те, кто вступает в спор, не определив значения слов, подобны тем, кто во время боя затягивает своих врагов в глубокие подземелья, в полную тьму, чтобы расправиться с ними с большим удобством».

Прежде всего заметим, граждане, что в битве, происходящей во тьме, опасность одинакова для обоих сражающихся; следовательно, для всех, кто придерживается противоположных мнений, одинаково важно точно определять значения слов. Автор письма предлагает мне дать определения понятиям РАЗУМЕНИЕ, РАЗУМ и ДУХ, и сам приводит их дефиниции. К сожалению, у меня нет при себе его письма. Если гражданин - автор письма - находится сейчас в зале, то я попросил бы его представить здесь те определения, которые он изложил мне письменно... Поскольку он не просит слова, я постараюсь сам определить эти понятия с некоторой точностью.

Слово «разум», если обратиться к его этимологии, берет свое начало в латинском *ratio*; само это слово является лишь сокращением от *relatio*. Латиняне утратили (а возможно, никогда и не имели) инфинитив *latere*; вместо него они использовали инфинитив *ferre*, который принадлежал другому глаголу; однако слово *relatio* всегда означало «соотнесение» или «отношение». В самом деле, когда мы сравниваем две вещи, мы, так сказать, подносим их друг к другу и рассматриваем единым взглядом, сосредоточив на них всё внимание. В ходе этого анализа мы улавливаем сходства или различия; мы постигаем их потому, что соотнесли вещи между собой. Именно поэтому такое действие ума называли «соотнесением» или «разумом» - *ratio* или *relatio*.

Таким образом, согласно этимологии, разум - это прежде всего акт ума, посредством которого мы, соотнося объекты друг с другом, сравниваем их и постигаем их сходства и различия. Когда различия и сходства уловлены и переданы верно, когда они истинны - это и есть разум, это и есть акт разума. Иногда слово «разум» обозначает способность, с помощью которой совершается эта операция; в других случаях - само совершаемое нами действие, а иногда - результат этого действия. Вот, граждане, как мне кажется, достаточно точные определения слова «разум».

Как видите, слово «разумение», особенно в философском языке, имеет более широкое значение: оно охватывает все способности человеческого духа, от ощущений до самых развернутых рассуждений и самых обширных размышлений.

Ощущение - это первая способность разумения, которое также включает в себя суждение, воображение, рассуждение и память. Именно совокупности всех этих способностей, посредством которых мы видим вещи, судим о них и ПОНИМАЕМ их (поскольку слова «понимать» и «разумение» имеют общие корни и являются по сути одним и тем же словом), именно этой совокупности способностей, повторяю, мы и даем название «разумение».

Слово «дух» множеством своих значений соприкасается со словом «разумение», другими своими смыслами - со словом «разум»; кроме того, у него есть немало значений, присущих только ему одному. Мы употребляем выражения «человеческий дух» и «человеческое разумение» почти как равнозначные. Тем не менее, когда мы говорим «человеческое разумение», мы, по-видимому, больше подразумеваем восприятие идей и способы этого восприятия. Когда же мы говорим «человеческий дух», мы, как мне кажется, уделяем больше внимания тем средствам, с помощью которых мы сами участвуем в создании наших идей. Таким образом, в понятии «разумение» способности рассматриваются как нечто более пассивное; в понятии «дух» они видятся более активными. Однако и то, и другое слово всё же охватывает всю полноту способностей.

Существует множество значений, которые принимает слово «дух», но которые неприменимы к слову «разумение»; говорят, например, «дух игры», «дух расчета»; когда-то говорили «дух судейского сословия» и так далее. Само это различие, как мне кажется, подтверждает правильность того разграничения, которое я только что вам представил. Почему говорят «дух игры», а не «разумение игры»? Потому что в игре дух проявляет исключительную активность; он включается в действие при каждом броске костей, при каждой карте.

Вот, граждане, определения, которые могут дать достаточно точное представление о трех словах, которые мне предложили разобрать. Мне по-прежнему жаль, что ученика, автора этого письма, здесь нет, и он не может высказаться сам.

Теперь я зачитаю вам третье письмо - оно подписано:

«Краткость нашей последней встречи не позволила мне задать вам вопрос, который уже давно занимает мой ум. В вашей программе вы объясняете причину огромного неравенства умов различием условий воспитания, методов и занятий; однако вы не отвергаете полностью и версию о более или менее совершенном устройстве организма, ограничиваясь лишь словами о том, что если эта причина и реальна, то она ускользает от наблюдения. Один философ, оказавший своими трудами слишком великие услуги человечеству, чтобы к его мнению можно было относиться без должного почтения, - Гельвеций, - утверждал, что все люди с обычным, нормальным устройством организма обладают равными способностями к развитию ума; огромное же неравенство умов он приписывал двум причинам, которые в равной степени не зависят от более или менее совершенного устройства организма, а именно: (1) разной степени страсти, которой наделен каждый человек и которая более или менее сильно направляет его внимание на тот или иной предмет; (2) бесконечному разнообразию случайностей, влияющих на каждого человека в его естественном и социальном состоянии, что и формирует различия в их воспитании.

Свое мнение он подкрепляет чередой доказательств и рассуждений, с которыми любому здравому и непредвзятому уму трудно не согласиться. Тем не менее, эта точка зрения встретила возражения даже среди просвещенных людей и по сей день находит множество оппонентов. Влияние воспитания признают все, однако еще более значимым фактором считают природу и физическое устройство организма. Говорят, что нужно родиться поэтом, музыкантом и так далее, и что один человек менее просвещен, чем другой, лишь потому, что ему меньше повезло с природными данными.

Между тем было бы крайне важно дать на этот вопрос четкий ответ: существуют ли «избранные» люди, которые от рождения наделены большей предрасположенностью к умственной деятельности, чем остальные, благодаря более совершенному устройству своих органов, как это принято считать? Или же все люди с нормальным физическим развитием - то есть те, кто в достаточной мере владеет всеми своими чувствами, чтобы формировать представления о цветах, запахах, вкусах, звуках и осязаемых качествах, - обладают одинаковой потенциальной способностью усваивать любые, даже самые сложные и отвлеченные знания? Каким воодушевлением наполнились бы сердца всех, кто вступает на стезю науки, если бы они знали, какова бы ни была степень совершенства их физического устройства, они в равной мере способны достичь одного и того же уровня образования! Тогда пришлось бы пересмотреть многие привычные выражения - например, те, в которых говорится, что человек *родился художником*, и заменить их иными: «этот человек *стал* великим художником». Или же стоило бы последовать примеру тех астрономов, которые, рассуждая на языке простых людей о движении Солнца вокруг Земли, не забывают оговориться, что делают это лишь ради соответствия общепринятой речи.

Я закончу небольшим замечанием, которое, как я сознаю, не претендует на особую важность. Вы, кажется, опасаетесь давать науке о разуме название *метафизика*, и причиной вашей неприязни, судя по всему, является то глубокое презрение, на которое её обрекли мрачные пустословы-схоласты. Но разве можно вменить в вину самой науке заблуждения и безумства всех тех, кто ею занимается? Во все времена по пятам за истинными учеными следовала свора шарлатанов, которые слишком часто привлекают любопытство толпы своими выкриками и нелепыми речами: у химии есть свои алхимики, у астрономии - астрологи, у медицины - эмпирики; однако это вовсе не повод для того, чтобы чернить сами эти науки. Все эти лжеученные похожи на пиратов, которые поднимают в море флаги просвещенных наций, хотя ни одна из них их не признает.

Поэтому я хотел бы примирить слух просвещенных людей со словом *метафизика* и вернуть науке о разуме её истинное имя, обозначая, подобно многим выдающимся современным мыслителям, школьный жаргон под названием «схоластика». Если физика - это наука о чувственно воспринимаемых идеях, то, по логике аналогии, название «метафизика» следует закрепить за наукой об идеях неосознаваемых, или, вернее сказать, абстрактных. Кроме того, крайне важно сделать язык наук максимально точным. Краткий и единый термин, которым обозначается каждая из них, подобен вершине, венчающей пирамиду. Кондильяк без опаски использует это слово во всех своих трудах. Например, в своём «Курсе занятий» он говорит ученику: «Вам не нужно быть метафизиком, хотя ваш наставник им является». *Подписано: Ф. Мюр, учащийся, делегат от округа Дижон в Нормальной школе.*

Полезно, граждане, чтобы подобные письма и столь же достойные выступления время от времени - и даже часто - напоминали профессорам, с какими учениками они имеют дело. Это может благотворно сказаться на лекциях, читаемых в Нормальных школах. Теперь я перейду к разбору письма. Мнение Гельвеция - не новое само по себе, но изложенное им в высшей степени по-новому - необычайно взволновало умы в нашем столетии. Каждому человеку лестно и отрадно думать, что гении отличаются от него лишь более правильным воспитанием и более удачным стечением обстоятельств. Этот принцип, в котором сам Гельвеций, по-видимому, ни на йоту не сомневался, занимал его всю жизнь. Он полагал, что доказать его легко, но чувствовал, что трудно заставить окружающих принять его. Этот философ написал два больших труда, и в обоих эта мысль проводится во всех возможных формах. Он обрел немало последователей, однако эти приверженцы скорее слепо верят, чем обладают глубоким убеждением.

«Было бы, однако, весьма любопытно, - говорит автор письма, - если бы этот вопрос получил окончательное разрешение». Несомненно, это было бы крайне интересно, но в то же время и чрезвычайно трудно. В самом деле, непонятно, как можно дать четкий ответ на то, что по самой своей природе окутано почти непроницаемым мраком.

Первое, что необходимо сделать при изучении любого вопроса, - это твердо убедиться, располагаем ли мы данными, позволяющими полностью его разрешить. Человеческий разум сталкивается с огромным множеством вопросов, для которых у него нет исходных данных; в подобных случаях человек не может тешить себя надеждой на их ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ разрешение. Здесь всегда будут оставаться неопределенность, сомнения и неясности - как и в вопросах, затронутых в трудах Гельвеция и в этом письме. Чтобы в совершенстве познать роль и **влияние физического устройства на природу ума**, следовало бы досконально изучить устройство мозга, ибо **мозг - это главный орган ощущений и мысли**. Но самые тонкие и мельчайшие части этого органа не просто скрыты от нашего взора - они ускользают даже от самых точных анатомических инструментов. До сих пор доподлинно неизвестно, что представляет собой эта своего рода мякоть, эта разновидность мозгового вещества и плотной живой субстанции, в которой берут свое начало нервы. До сих пор доподлинно неизвестно, выходят ли все нервы из одного общего и неделимого корня или же они возникают в различных точках мозга. Когда мы до такой степени не знаем, из чего состоит и как устроен мозг, кто может судить о том, какое влияние то или иное - более или менее удачное - физическое устройство может иметь на ум и его деятельность?

В своей программе я мало останавливался на этом вопросе - во-первых, потому что считал его неразрешимым при нынешнем уровне наших знаний; а во-вторых, потому что полагал, что его решение не принесет нам ничего по-настоящему значимого или полезного на практике. Ведь даже если бы мы были совершенно уверены, что физическое устройство обладает самым мощным и всеобъемлющим влиянием, разве знали бы мы только благодаря этому знанию, как именно это влияние проявляется? Разве понимали бы мы, как нужно воздействовать на него, чтобы исправить недостатки, если устройство дурно, или как усилить его, если оно благотворно и удачно?

Я уделял много внимания влиянию воспитания и просвещения, поскольку мы знакомы с ними и можем ими распоряжаться. Глубже изучая этот процесс и лучше управляя им, мы могли бы наделить умы многих людей силой и - что еще важнее - точностью суждений. Одна

лишь история Спарты навеки и неопровержимо доказывает силу воспитания. По правде говоря, в Спарте не видели поразительных достижений ни в искусстве, ни в науке, но там видели нечто еще более удивительное: длинную череду поколений, каждое из которых насчитывало тридцать тысяч человек, изыскавших с предельной и энергичной краткостью в своих суждениях на застолье и на площади, суждения самого здравого смысла и возвышенную страсть самого пламенного патриотизма. Я не жалею о Спарте; я бы не пожелал, будь это в моей власти, ее возрождения на земле. Я знаю, что человеческую природу нужно возвышать, но не стоит доводить ее до иступления; я знаю, что государства должны основываться на разуме, а не на страстях, ибо страсти, даже если они возвышенны, тем более опасны; я знаю, наконец, что такого рода разум, являющийся лишь ОТСУТСТВИЕМ заблуждений, не может сравниться ни по надежности, ни по красоте, ни по полезности с разумом, вскормленным искусством и науками, - с разумом, владеющим уже открытыми истинами и тем инструментом, с помощью которого можно открывать новые. Но пример Спарты и Ликурга доказывает, что гениальные люди способны СОЗИДАТЬ народы ПО СВОЕМУ ОБРАЗУ, и подобные творения совершаются и могут совершаться лишь благодаря воспитанию.

Гельвеций, исследуя влияние физического устройства, всегда говорит об органах зрения, осязания и слуха; и поскольку эти органы у всех устроены примерно одинаково - по крайней мере, у людей, которые не являются ни глухими, ни слепыми, ни лишенными кожной чувствительности, - он пришел к выводу, что все люди с обычным правильным устройством организованы одинаково. Однако, помимо этого внешнего устройства, **существует еще и внутреннее**, которое должно оказывать гораздо большее влияние на мысль. Сколько есть людей, чьи чувства кажутся абсолютно идентичными, но чья восприимчивость разительно отличается! То, что вовсе не трогает одного человека, глубоко трогает другого; слушая одну и ту же историю, один остается с сухими и неподвижными глазами, а глаза другого наполняются слезами. Хотя органы чувств одинаковы, при столь значительной разнице в способе восприятия можно справедливо предположить, что именно в этом кроется одна из причин различия в складе ума. Более чем вероятно, например, что та легкость, с которой человек передает эмоции (а именно в этом заключаются таланты во многих жанрах), должна во многом зависеть от того, насколько легко он их воспринимает. Этому можно возразить, что способность чувствовать и сопереживать сама по себе растет или ослабевает в зависимости от того, как ее упражняют, и в зависимости от обстоятельств, которые ее пробуждают или оставляют в спячке. Гельвеций был слишком проницателен, чтобы не додуматься до этой идеи, но наблюдения такого рода еще не проводились с достаточной тщательностью, скрупулезностью и в достаточном количестве, чтобы на них можно было основать теорию или учение. Напротив, существуют факты, которые, хоть их и немного, кажутся достаточными для доказательства того, что большая или меньшая степень чувствительности обусловлена физическим состоянием наших органов.

Один и тот же человек - и это опыт, который могут подтвердить все или, по крайней мере, очень многие писатели - до чашки кофе и после нее находится в совершенно разном состоянии душевных сил и умственной активности: работа его ума после выпитой чашки становится более живой и быстрой, и зачастую именно этой быстроте мыслительных процессов он обязан даже их точностью. Что же произошло с этим человеком? Он выпил чашку кофе. На что повлияла эта чашка кофе? На его физическое устройство; она не слишком сильно его изменила, это правда, но она его модифицировала, а любая модификация - это изменение.

Вполне возможно, что природа наделяет некоторых людей таким складом, что они естественным образом пребывают в состоянии, почти схожем с состоянием человека, только что выпившего чашку кофе.

Вы видите, граждане, что в этом вопросе я сохраняю беспристрастность, не позволяя весам склониться ни в одну из сторон: я кладу гирию то на одну чашу, то на другую. Но это лишь потому, что существуют веские доводы, то есть факты, в пользу обеих сторон; и именно фактам надлежит склонить чашу весов, а не тому, кто их держит. В конечном счете, с теоретической

точки зрения вопрос всё еще остается неразрешимым; с практической же стороны наш главный интерес и здравый смысл заключаются в том, чтобы твердо верить в безграничную силу воспитания и правильного метода.

Что касается слова «метафизика», в отказе от использования которого автор письма слегка упрекает меня, ссылаясь на недостаток смелости, - признаюсь, я действительно оставил его именно из-за нехватки смелости. Это слово вполне уместно, оно даже в высшей степени подходит науке, названием которой является; однако я не питал иллюзий, что когда-либо смогу вызволить его из того презрения, в которое оно впало. Его начали презирать или поносить еще со времен схоластов, которые, в сущности, вовсе не были способны вызвать к нему уважение; но на этом не остановились: его продолжали поносить и в трудах Руссо, Гельвеция, Дидро. «Метафизика» и «химерические абстракции», «МЕТАФИЗИК» и «ПУСТОСЛОВ-ФАНТАЗЕР» - в языке многих людей эти слова стали почти синонимами. Когда хотят сказать, что некая вещь непостижима, говорят, что она «метафизична», и их прекрасно понимают. Несколько лет назад, когда какая-нибудь поэма или речь имели слишком громкий успех на вкус завистников (чей вкус всегда полон придираков), если образы в них были плотными и величественно сгруппированными, если идеи доводились до той степени обобщения, которая придает стилю достоинство, а произведению - величие, про них говорили: «КАК ЖЕ ЭТО МЕТАФИЗИЧНО!» - и многие читатели в ужасе отступали, словно перед бездной. Я боялся пробудить все эти впечатления, объявляя курс метафизики, и более всего боялся, что не смогу их преодолеть. Но я могу сказать, вслед за Вольтером:

*Тот, кто беседу ведет со мной,
Властвует словно моей душой:
Коль пылок он чувством - меня зажжёт,
А если он крепок - опору даст.*

Вы поддержите меня, граждане, вы придадите мне мужества. Если в ходе этого курса слово «метафизика» встретится мне, я больше не стану его отвергать; и я буду пользоваться терминами по мере того, как они будут представляться мне и словом МЕТАФИЗИКА, и выражением АНАЛИЗ РАЗУМА.

Трюффе. Цель, которая собрала нас всех вместе - это поиск истины; добавлю, что вы указываете нам путь, способный привести к ней, со столь же поразительной ясностью, сколь и глубиной суждения. Поэтому я пришел вовсе не для того, чтобы оспаривать ваши принципы; я принимаю их безоговорочно и с исключительным удовольствием слежу за их развитием. Однако я должен представить на ваш суд сомнение, которое, как кажется, затрагивает память о человеке, навеки прославленном; человеке, который родился, жил и умер среди нас, и чья слава является в некотором роде национальным достоянием.

Вы понимаете, что я говорю о великом *Бюффоне*. Вы считаете, что он дал волю своему слишком пылкому воображению в том описании, которое он оставил нам, представив некое подобие Пандоры - существа, которое он воображает внезапно ожившим и наделенным совершенным телесным устройством. Вы говорили нам (и это неоспоримо), что в тот момент этот человек-статуя не может иметь никакого представления об органах чувств, цветах, расстояниях и так далее. Но обратите внимание: он говорит о своих первых ощущениях как о воспоминаниях; и лишь когда он обрел полноту восприятия, он применил к осмыслению различных чувств, волновавших его в первые мгновения существования, те познания, что были получены через органы чувств и размышление. Таким образом, аргумент, основанный на его неведении, кажется мне не вполне точным; да и первая фраза Бюффона - что я говорю? - первое же выражение, которое он использует, могло бы служить тому доказательством. «Я помню», - говорит он... Я оставляю это размышление на ваше усмотрение.

Гара. Ваше замечание может оправдать, и действительно оправдывает многие фразы Бюффона, которые могли бы вызвать критику. Но я не думаю, что именно на них была направлена моя критика. Совершенно верно, что статуя Бюффона - а её следует называть именно так - по замыслу автора говорит в то время, когда она уже научилась видеть и осязать. Она говорит,

как вы справедливо заметили, по памяти; но в своих воспоминаниях она претендует на то, чтобы точно следовать по следам ощущений, данных ей природой в первые мгновения существования; она претендует на то, чтобы восстановить генеалогию своих чувств и идей. Именно эту генеалогию я критиковал и счел неточной (и это нужно сказать прямо, ведь подобный упрек не может умалять славы Бюффона, основанной на столь великих заслугах). Эта генеалогия не просто неточна - она в корне ложна; она почти во всем нарушает тот порядок, в котором природа дает нам свои уроки, обучая нас видеть, слышать и осязать.

Вот на чем основывалась моя критика. Таким образом, гражданин, если вы хотите критиковать саму мою критику, следует взять мои рассуждения и рассмотреть их именно с этой точки зрения. Разве не правда, например, что статуя Бюффона начинает двигаться в первое же мгновение своего существования; что она меняет свое положение; что она перемещается и протягивает руки к солнцу. В это первое мгновение она не могла бы встать, ведь ходьба - это искусство, которому нужно учиться: необходимо обрести хотя бы смутное - если угодно, неопределенное и неясное, но реальное - представление о пространстве, в котором человек движется и ходит. Прежде чем направить руки и взор к солнцу, его нужно выделить из всего остального пространства, залитого его светом.

Но ведь новорожденные глаза, открывшиеся впервые, не могут обладать умением направлять взгляд; именно на это и была направлена моя критика, и я по-прежнему считаю её обоснованной.

Трюффе. Я вовсе не говорил об этих первых мыслях.

Гара. И всё же именно это было заявлено самим Бюффоном в абзаце, который предшествует этому великолепному по стилю отрывку.

Тейседр. Гражданин профессор, я с большим удовольствием прочел в вашей программе и в вашей первой лекции похвалу, которую вы воздали Кондильяку, Локку и Бэкону. Я отдал дань уважения этим великим аналитикам человеческого разума. Мне было жаль не найти среди них имени великого человека, совершившего революцию в науках и, прежде всего, в методе их изучения. Я имею в виду Декарта. Я полагаю, что для Нормальной школы было бы интересно узнать более подробно о взглядах и даже заблуждениях человека, которого благодарное отечество только что поставило в один ряд с защитниками родины. Я знаю, что он часто заблуждался; я знаю, что он, будучи слишком самонадеянным, хотел установить границы мира и, так сказать, человеческого разума.

Но если воображение и увлекло его слишком далеко, то его методическое сомнение ведет нас к анализу ощущений; это сомнение, на мой взгляд, заслуживает нашей благодарности - оно знаменует собой гигантский шаг на пути к истине. Я считаю, что ошибки гения способны помочь в поисках истины: это маяки, которые не столько направляют моряка прямо к цели, сколько предостерегают его, призывая не приближаться к опасным местам, где есть течения и рифы.

Я полагаю, что краткий и обоснованный обзор взглядов Декарта, составленный той же рукой, что представила нам обзоры Бэкона и Локка, был бы чрезвычайно интересен для Нормальной школы. Поэтому я прошу вас заняться этим вопросом, если вы сочтете это уместным.

Гара. Гражданин, я всегда считал, как и вы, что Декарт - один из тех философов, перед которыми человеческий разум в наибольшем долгу. Основания славы Декарта хорошо известны, они неоспоримы. Декарт создал значительную часть того языка алгебры, который впоследствии, благодаря трудам Эйлера, Лапласа и Лагранжа, сотворил столько чудес. Из диоптрики, которая прежде была лишь нагромождением разрозненных фактов, Декарт создал цельное научное учение. Декарт внес огромный вклад в то, чтобы привнести в научные труды, и прежде всего в те, что написаны на французском языке, большую точность, большую лаконичность и большую твердость стиля. Но несмотря на все его неоспоримые заслуги, я не счел возможным поставить его в один исторический ряд с создателями анализа человеческого разума; и вот мои доводы.

Во-первых, Декарт никогда не проводил этого анализа разума; он даже не мог его провести, так как в самом начале этого пути он собственноручно воздвиг преграду, закрывшую проход: он поместил там врожденные идеи. Но как только мы принимаем теорию врожденных идей, нам приходится отказаться от познания человеческого духа. Если всё врожденное, то ничего не создается. Мы рождаемся, имея в наших органах чувств источник и инструмент ощущений; но эти органы должны развиваться, нужно научиться пользоваться этими инструментами. Сначала МЫ УЧИМСЯ ЧУВСТВОВАТЬ; а затем, при благоприятных обстоятельствах или благодаря верным методам, мы можем научиться находить и черпать здравые, великие и полезные идеи в сокровищнице наших ощущений.

«Рассуждение о методе», одно из лучших творений Декарта, казалось, на миг поставило его на ту же тропу, по которой шли Бэкон и Локк. Там Декарт устанавливает для руководства умом четыре правила; эти правила содержат, по меньшей мере неявно, своего рода аналитический метод. В этих четырех правилах он настаивает главным образом на необходимости четко разделять как объекты, которые мы хотим познать, так и идеи, которые мы хотим определить и с которыми намерены работать; он говорит и повторяет, что лишь максимально ограничивая и проясняя объект мысли, разум может по-настоящему его постичь и понять. В этом, несомненно, кроется зерно истинного метода; но это лишь зерно, и сам Декарт собственноручно задушил его своей метафизикой врожденных идей.

Декарт почувствовал, хотя и слишком поздно, насколько сильно он заблуждался в своем подходе и в своей теории человеческого разума. В последние дни жизни ему на глаза попался один из трудов Бэкона; он был глубоко восхищен и произнес примечательные слова: «Прочитай я эту книгу раньше, моя философия была бы иной». Эти соображения, заставившие меня не ставить Декарта в один ряд с Бэконом и Локком среди создателей анализа разума, не мешают мне часто обращаться к его МЕТОДУ в рамках этого курса; однако я буду говорить о нем как для того, чтобы выразить восхищение, так и для того, чтобы его опровергнуть.

Тейседр. Я упомянул Декарта лишь потому, что он совершил ошибку. Я полагал, что заблуждения столь великого гения должны заставить нас относиться к самим себе с большей осторожностью. У меня есть и второе размышление, которое я хотел бы предложить по поводу одного фрагмента вашей программы. Вот этот отрывок. Рассуждая об аналитиках, вы говорите, что «рассматривая языки не просто как необходимые инструменты для передачи наших мыслей, они обнаружили, что те необходимы и для того, чтобы эти мысли иметь; они убедились и доказали, что для связывания идей и формирования отчетливых суждений необходимо привязывать их к знакам; что, одним словом, мы мыслим лишь потому, что говорим, и что мы фиксируем и удерживаем в своем сознании с помощью слова те ощущения и идеи, которые иначе разлетались бы и исчезали во все стороны.

Вы добавляете: «это утверждение может долгое время казаться парадоксом»; для меня же оно таковым отнюдь не является. Тем не менее, вот некоторые затруднения, которые я позволю себе вам предложить.

Я полагаю, что языки служат нам средством для сообщения наших идей, для их упорядоченной и быстрой передачи; но я никогда не рассматривал их как инструмент, необходимый для самого обладания идеями. Мы выходим из рук природы, если можно так выразиться, существами совершенными, уже наделенными способностью постигать идеи и даже выражать их. У нас есть язык образов и жестов. Добавлю, что устная речь, будучи лишь человеческим изобретением, гораздо менее совершенна, чем язык знаков; она придает мысли и ее внутренним картинам куда менее живые краски. Таким образом, я считаю, что изобретение звуковых языков - дело возвышенное, однако они сильно уступают языку знаков, поскольку звуковая речь менее стремительна. Я также полагаю, что польза языков сопоставима с пользой классификаций у натуралистов: эти классификации ценны тем, что приучают нас видеть вещи по отдельности и распознавать все ускользающие детали конкретных предметов.

Нам следовало бы охватывать картины природы единым взором; однако эти классификации лишь дробят общую картину природы, но не создают её; напротив, наше представление

о природе будет весьма скучным, если мы станем рассматривать её лишь сквозь призму классификаций. Точно так же и языки разлагают наши мысли на составляющие; следовательно, они служат нам скорее для того, чтобы разбирать и разрушать, нежели для того, чтобы созидать.

Гара. Я должен поблагодарить вас за те возражения, которые вы только что представили: ведь мнение Кондильяка, Эйлера и многих других метафизиков - мнение о том, что языки необходимы не только для выражения мыслей, но и для самого их существования, - заслуживает того, чтобы более чем какое-либо иное быть доведенным до высшей степени достоверности и очевидности. В науке о разуме нет истины, более важной для практического применения. Полагаю, что, к счастью, она столь же неоспорима, сколь и важна.

Возможно, её еще не формулируют с достаточной точностью, чтобы сделать её вполне очевидной. Поскольку языками пользуются почти исключительно для сообщения своих идей, то, впервые услышав, что языки необходимы для самого обладания идеями, человек замирает в долгом изумлении: он склонен думать, что здесь кроется противоречие в самих терминах. Однако в действительности противоречие существует лишь между тем, что говорит нам истина, и тем, что внушает нам смутное и неясное мнение. Чтобы хорошо понять эту истину, нужно лишь четко различать слова и вещи. Несомненно, чтобы видеть солнце, воспринимать его образ и удерживать его в памяти, мне не требуется помощь языков. Точно так же обстоит дело и со всяким другим образом, со всеми остальными ощущениями: но чувствовать и мыслить, иметь ощущения и иметь мысли - это далеко не одно и то же. Мыслить - значит прибавлять одни ощущения к другим; связывать их воедино - значит отделять одно ощущение от другого, частью которого оно является или с которым оно соединено, и обозначать это разделение. Именно эти связи и разделения невозможно осуществить иначе как при помощи знаков - как для самого себя, так и для других; и именно эту способность разделять и связывать ощущения и называют, собственно, способностью мыслить.

Итак, поскольку лишь при помощи знаков можно производить эти разделения и связи, эти сложения и вычитания, становится очевидным: чтобы мыслить, необходимы знаки, то есть языки. Попробуйте выполнить в арифметике сколько-нибудь сложное сложение или вычитание, не записывая цифр на бумаге и не фиксируя их в уме, и посмотрите, удастся ли вам справиться с этим. Понятие или мысль о «двадцати» есть не что иное, как совокупность единиц, которую невозможно отличить от любой другой совокупности иначе как при помощи слова «двадцать». Следовательно, слово ДВАДЦАТЬ необходимо, чтобы выделить это понятие и чтобы обладать им, ибо в данном случае выделять и обладать - это одно и то же.

Что ж, то же самое верно и для всех остальных понятий, для всех остальных мыслей. МЫСЛИТЬ - значит считать, значит вычислять ощущения; и эти вычисления производятся во всех областях с помощью знаков, точно так же, как в арифметике. Задолго до того, как эта важная истина была доказана Эйлером и Кондильяком, её заметил Гоббс. Гоббс составил логику и озаглавил её: «Логика, или Искусство вычисления». Одним этим названием английский философ приравнивает искусство мыслить к искусству вычислять; и на протяжении всей своей работы он утверждает, что знаки, необходимые для вычислений, кажутся ему столь же необходимыми и для мышления. В этой связи он проводит весьма остроумное различие, которое проливает яркий свет на данный вопрос. Рассматривая языки или слова как нечто необходимое для передачи своих мыслей, он называет их ЗНАКАМИ; рассматривая же их как нечто необходимое для того, чтобы обладать мыслями, он называет их ЗАМЕТКАМИ. Мы делаем *заметки* для самих себя и подаем *знаки* для других; но если бы мы не делали ЗАМЕТОК, мы не смогли бы мыслить точно так же, как не смогли бы передавать свои мысли, не подавая ЗНАКОВ. Имя Гоббса покрыто несмываемым позором; он это заслужил, будучи пособником деспотизма. Однако ни один философ не знал лучше него все тонкости работы человеческого разума. Никто, даже Кондильяк, не обладал языком более точным, ясным и философским; и нет сомнений, что этим совершенством своего языка он обязан глубокому знанию того, как языки влияют на формирование мыслей.

Я предлагаю вам, гражданин, еще раз спросить себя: не кажутся ли вам знаки столь же необходимыми для формирования нравственных понятий, как и для выполнения сложения и вычитания?

Тейседр. Я принимаю вашу мысль, но не придавал бы ей столь широкого значения.

Гара. Позвольте еще раз, гражданин: дело не в том, что этой мысли придают слишком широкое значение, а в том, что само определение, которым её выразили, было недостаточно точным. Мы недостаточно четко разграничили ощущения и сочетания этих ощущений. Животные, обладающие органами чувств подобно нам, испытывают более или менее разнообразные ощущения; но поскольку у них нет ЗНАКОВ - или же их гораздо меньше - они мыслят совсем не так, как мы. Своими криками и движениями животные выражают любовь, материнскую нежность и даже жалость; однако мы никогда не сможем поверить, что в мозг животного когда-либо проникало нравственное понятие. И эта их неспособность, в чем не стоит сомневаться, проистекает главным образом из невозможности создать язык, столь же богатый естественными и искусственными знаками, как человеческие языки.

Из третьего тома дебатов, происходивших в нормальной школе

(9 вантоза III года республики)

Гражданин Гара.

С момента последнего заседания я получил множество писем от учеников Нормальных школ. Эти письма - и я не делаю исключения ни для одного из них - могли быть написаны только людьми весьма просвещенными; и то, что заслуживает еще большего признания - они написаны людьми мыслящими. В одном из этих писем мне предлагают новые определения РАЗУМА; в другом - стремятся оправдать красноречие, избавляя его от тех изъянов, которыми я, по общему мнению, его наделил. Во всех письмах высказываются сомнения относительно моих принципов или поднимаются вопросы, заслуживающие углубленного изучения. Среди этих посланий есть и такое, где меня вновь упрекают в том, что я не дал этому курсу названия «КУРС МЕТАФИЗИКИ»; мне предлагают назвать его «АНАЛИЗОМ ОЩУЩЕНИЙ», а не «АНАЛИЗОМ РАЗУМА». Я искренне сожалею, что не могу прямо сейчас зачитать вам это последнее письмо. Оно написано рукой мастера. Когда об анализе говорят подобным образом, это значит, что владеют всеми его секретами.

Однако в мои намерения входит возвращаться к этим письмам по мере того, как я буду рассматривать вопросы, которых они касаются. Все они будут напечатаны в сборнике конференций. Хорошо, чтобы нация уже сейчас узнала, как много в Нормальных школах учеников, достойных вскоре преподавать человеческие знания в тех Центральных школах, которые только что учредил своим декретом Конвент.

Сегодня, граждане, мы вернемся к цели этих конференций; мы побеседуем о предметах предыдущих уроков. Далеко не все те, кто записался в список выступающих, успели высказаться на прошлой конференции; вы наверняка помните, что один ученик был прерван в самом начале речи, которую он читал: вы полагаете, что именно ему по праву принадлежит слово; я приглашаю его встать: это гражданин де Сен-Мартен.

Гражданин де Сен-Мартен.

ГРАЖДАНИН ПРОФЕССОР,

Когда заседание было прервано, я как раз говорил о том, что вы полностью удовлетворили мой интерес на конференции 19 плювиоза. Отвечая на мой вопрос, вы свели к их истинному значению все эти выражения: «созидать наши идеи», «воссоздавать наш разум». Вы признали, что если природа изначально не посеяла в человеке семена таланта и гения, то никакое воспитание - сколь бы необходимым оно ни было для тех, кто благословлен этими дарами - никогда не сможет их в нем создать. Следовательно, это воспитание, которое поначалу казалось занимающим столь важное место, на самом деле переходит в разряд причин второстепенных.

Оно уступает место тем глубоким основам, которые мы можем назвать *Первопричинами*. Как бы трудно ни было их определить, именно они входят в число тех данных, что должны служить нам для объяснения многообразия человеческого духа.

Вы также удовлетворили меня в вопросе о *внутренних органах*, сообщив, что ваша доктрина в этом отношении ограничивается заботой об их совершенствовании. Хотя я должен со всей откровенностью признаться: под выражением *внутренние органы* я подразумевал нечто большее, чем просто мозжечок. Ободренный этими первыми уточнениями, я рискнул предложить вам еще три. Вот тема первого из них.

1. Если я сравню вашу программу с вашим же эпитафом: «*Etenim illuminationis puritas et arbitrii libertas simul inceperunt, simul corruerunt, neque datur in universitate rerum, tam intima sympathia quam illa veri et boni*» («Ибо чистота озарения и свобода воли вместе зародились и вместе пали, и нет во вселенной связи более тесной, чем связь между истиной и благом»); то подобное сопоставление оставляет желать лучшего. Ведь этот эпитаф предлагает мне две совершенно разные способности - чистоту озарения (*illuminationis puritas*) и свободу воли (*arbitrii libertas*), в то время как ваша программа предлагает лишь одну, сводя всё человеческое естество к одному лишь рассудку.

Между тем, даже при самом поверхностном внимании можно заметить: рассудок призван связывать нас с тем, что истинно, и наставлять нас в истине. Но когда мы стремимся соотносить себя с тем, что есть благо, и познать его - будь то справедливость, мудрость или добродетель, - это действие совершается уже не в том же самом средоточии и не в том же центре. В нас зажигается второй светильник, отличный от рассудка, пусть и не противопоставленный ему.

Более того, если бы мы взрастили, как это делаете вы, истинное и благое на одном и том же стебле, это означало бы превратить их в одно и то же, ведь растение приносит лишь один плод. Если же вы отождествляете истинное и благое, то как вы намерены осуществить ту *intima sympathia* (глубинную симпатию), о которой говорит Бэкон? Ведь симпатия может возникнуть только между двумя различными вещами; невозможно помыслить о симпатии там, где есть лишь одно-единственное основание для связи. Я мог бы сопоставить латинскую цитату из Бэкона, завершающую вашу программу, с тем французским переводом, который вы приводите. Я мог бы заметить, что то, что он называет *anima*, вы именуете интеллектом; и это притом, что интеллект - лишь подобие глаза нашей души, а в анатомии вскрытие глаза никогда не выдают за вскрытие всего человеческого тела. Впрочем, я оставляю эти придирки и перейду к замечаниям более существенным.

В своей последней лекции вы говорили, что было бы ошибкой допускать существование морального чувства лишь для того, что нравственно благородно, не допуская его для того, что нравственно дурно; вы утверждали, что мораль человека - это не более чем всеобщая чувствительность. В итоге вы так глубоко погрузили нас в область чувственного восприятия как источника знаний, что возникает искушение спросить: почему же римляне, столь искушенные в этой «чувственной науке», не продвинулись дальше в развитии человеческого рассудка? И как случилось, что, несмотря на всех этих Лукуллов, великие открытия в этой области увидели свет лишь в шестнадцатом столетии?

Я признаю, гражданин профессор (хотя вы и не изучили достаточно глубоко ни наши чувства, ни предмет и цель их деятельности), что раз наши чувства не являются ни источником свойств окружающих нас объектов, ни источником тех сопоставлений, которые пробуждаются в нас при контакте с этими объектами, то они служат лишь инструментами и для того, и для другого. Каждого из них по отдельности достаточно для выполнения своей задачи; но если каждое из них - единственное, что может служить для этой задачи, то даже если бы мы захотели объединить все операции наших чувств под общим названием *осязание*, это было бы лишь побочной мыслью, которая ничего не изменила бы в специфическом характере функций каждого из наших чувств. Итак, почему бы не признать тот же закон и то же разнообразие в органах этого интеллектуального и нравственного существа, в котором мы замечаем функции

не только столь же обширные и точные, как функции физического порядка, но и столь же отличные друг от друга? В своем единстве они должны формировать ту внутреннюю связь (симпатию), о которой говорит Бэкон, - между интеллектуальным чувством, обладающим свойством судить о том, что ложно или истинно во всем, что является предметом рассуждения, и чувством моральным, обладающим свойством судить о том, что хорошо или плохо в области нравственности.

Наш разум связан с рассматриваемым им вопросом не более, чем наш глаз связан с правильностью или уродством тел, которые он воспринимает. Разум подобен эксперту, который ведет наблюдение и представляет отчет; то же самое следует сказать и о нашем моральном чувстве. Но мы должны повторить: если наше интеллектуальное чувство и наше моральное чувство способны каждое в отдельности справляться со своей задачей, то каждое из них и является единственным, что может служить для этой цели. Я полагаю, что смешение их различных сфер деятельности привело бы лишь к путанице. Ведь наименование «всеобщая чувствительность», которое я могу без труда принять, ничего не меняет в самой сути вещей. Оно выражает лишь способ действия инструментов, а не сами инструменты. Таким образом, нет никакой необходимости создавать двойное моральное чувство для нравственных объектов, равно как и двойное интеллектуальное чувство для объектов разума, так как одного морального чувства вполне достаточно для выполнения этой задачи. Однако это чувство совершенно необходимо нам для восприятия моральных впечатлений, благих или дурных, и для того, чтобы мы могли различать их источники и последствия. Полагаю, что именно здесь нам следует прежде всего извлечь пользу из уроков естественных наук. Если нам и дозволено - а порой и полезно - иногда подражать химии в её методах анализа, то делать это стоит лишь после того, как мы вооружимся наблюдениями осмотрительного натуралиста - того, кто ограничивается лишь констатацией и описанием объектов в том виде, в каком их создала природа, и кто боится лишний раз прикоснуться к ним, чтобы не исказить их структуру. Без этой предосторожности мы рискуем принять за творение природы то, что на деле может оказаться лишь бесформенным плодом наших собственных манипуляций.

Поэтому в качестве первой поправки я требую восстановить в правах понятие морального чувства, которое служит одним из источников и путей нашего совершенствования.

2. На вашем заседании от 23 плювиоза (страница 31 второго тома) вы упрекнули Руссо за его утверждение, будто использование речи было необходимым условием для возникновения самого языка. А в вашей программе на странице 146 вы говорите о философах, что они открыли и доказали следующее: чтобы связать идеи воедино и сформировать на их основе четкие суждения, необходимо привязать сами эти идеи к определенным знакам; словом, человек не мыслит иначе как благодаря речи; и если раньше языки рассматривали лишь как инструменты, необходимые для передачи наших мыслей, то теперь было обнаружено, что они необходимы и для того, чтобы эти мысли у нас вообще появлялись. Несмотря на ваши усилия свести языки к понятию знаков, мне трудно примирить эти два возражения. Принято считать, что язык знаков предшествовал разговорному языку. Но я не знаю, можно ли сделать это всеобщим законом и не случалось ли порой так, что разговорные языки предшествовали знаковым. Даже если бы первенство языка знаков было доказано, следовало бы исходить из предварительного и необходимого знания этого знакового языка и лишь затем, двигаясь по нисходящей, переходить к языку разговорному. Однако этого сделано не было, и я полагаю, что этого никогда не сделают - по крайней мере, в общем смысле.

Но не углубляясь здесь в эти важные вопросы, которые, подобно бесконечному множеству других, требуют долгого и глубокого размышления, я представлю на ваш суд одну из моих догадок о языках: мне кажется, что во всем, что доступно нашему познанию - будь то взору разума или взору телесному, - нет ничего, что не возникало бы из некоего семени или зачатка. Мы не сомневаемся в этом, когда речь идет о физическом мире, ибо таков закон любого по-

рождения. Не сомневаемся мы в этом и в мире интеллектуальном, когда создаем нечто, основанное на подражании; мы черпаем их зачатки в тех образцах и примерах, которые воодушевляют нас достаточно сильно, чтобы стать для нас плодотворными.

Мы не можем сомневаться в этом и в отношении языков знаков, будь то первичные или естественные, поскольку первые берут свое начало в примере, а вторые - в самой природе. И вы сами говорите на странице 31 второго тома ваших лекций: «знаки, данные природой, неизбежно предшествовали знакам, установленным человеком; человек мог творить лишь по образцу того языка, который не был им создан».

Итак, если этот закон «семени» универсален для всего, что я только что представил вашему вниманию; если он необходим для языков знаков, то почему лишь разговорные языки должны быть единственным исключением из этого закона? Почему бы и для них не существовать некоему зачатку, как и для всего остального, что подчинено этому закону? И почему наша прекраснейшая привилегия - живая и деятельная речь - должна быть единственным плодом нашей творческой силы, в то время как во всех прочих, менее значимых достижениях мы зависим от некоего зерна и обречены ждать его созревания?

Я оставляю это размышление на ваш суд: уделите ему столько времени, сколько сочтете нужным. Я не прошу ответа сегодня, но делаю вывод в пользу второй поправки: речь была необходима для самого возникновения речи.

3. В вашей программе на странице 143 вы говорите о Сократе следующее: *«эти расспросы не создавали истинной науки; они привели школу Сократа к всеобщему сомнению: это был отправной пункт, с которого следовало начинать, но отнюдь не тот предел, к которому следовало прийти и на котором стоило бы остановиться»*. А на заседании 23 плювиоза, отчет о котором был представлен нам не полностью, вы сказали: *«невозможно знать и бесполезно выяснять, мыслит материя или нет»*. Несомненно, если во всем этом всеобщем сомнении, к которому не следовало ни приходить, ни в нем оставаться, и была часть, которую нам было бы крайне важно прояснить, то именно эта. Обречь же нас на тьму в данном вопросе - значит ввергнуть в самое постыдное из сомнений и самое низменное из невежеств. Но, гражданин профессор, осмелюсь ли я сказать, что, как мне кажется, я нашел два способа выбраться из этой отчаянной неопределенности? И, что важнее всего, осмелюсь ли я утверждать, что именно ваше собственное учение подсказало мне их?

Вот первый из этих способов. Вы представили нам культуру как великую тайну, ведущую к истине; тайну, состоящую в том, чтобы пестовать и исправлять наши мысли. Однако, поскольку материя сама по себе лишена способности к культуре, становится более чем вероятным, что она не обладает и мышлением, которое является лишь предметом этой культуры. Ибо природа слишком мудра, чтобы наделить существо неким даром и при этом отказать ему в единственном инструменте, с помощью которого этот дар можно было бы применить.

Второй способ основан на ваших собственных словах о языках, которые, как мы уже отмечали, необходимы не только для того, чтобы сообщать наши мысли, но даже для того, чтобы их иметь. Совершенно очевидно, что материя не обладает языком, если понимать это слово в его исконном значении. Языки - это выражение наших мыслей и суждений, а наши мысли и суждения, в свою очередь, - это выражение тех разнообразных способов, которыми мы рассматриваем один или несколько предметов, либо разные грани одного и того же объекта. Именно благодаря нашей способности по-разному смотреть на множество вещей или на различные стороны одного предмета в наших языках существует столь богатое разнообразие. Языки животных, напротив, демонстрируют абсолютное единообразие внутри каждого вида; в их речи не больше различий, чем во всех их внешних действиях.

Следовательно, если в их языке нет разнообразия, то нет его и в тех внутренних процессах, которые этот язык должен был бы выражать. А если во внутренних процессах нет разнообразия, то животные не нуждаются ни в мышлении, ни в суждении, так как суждение и мысль направлены лишь на различные вещи или на разные стороны одной и той же вещи. Да, полагаю, я могу утверждать с уверенностью: единообразие языка животных в рамках каждого вида

служит наглядным доказательством того, что у них вовсе нет языка. А отсутствие языка в сочетании с отсутствием культуры является неоспоримым свидетельством того, что они лишены мышления.

Таким образом, гражданин профессор, мы можем выйти из этого отчаянного сомнения, в которое вы нас ввергли. Повторяю: перед лицом всех людей, готовых вдуматься в представленные мною наблюдения, мы можем во всеуслышание заявить, что материя не мыслит. И это третья поправка, на которой я настаиваю.

Гара. Когда только что прослушал столь пространную речь, нелегко удержать в памяти все её части, выделить каждое положение и дать на всё необходимые ответы. Тем не менее я полагаю, что уже сейчас могу ответить хотя бы на некоторые из ваших возражений, ибо не питаю иллюзий, будто смогу припомнить их все.

Вы, кажется, хотите - поскольку в вашей речи это не было сформулировано с достаточной точностью - вы, кажется, хотите сказать, повторяю я, что в человеке существует некий орган интеллекта, отличный от наших внешних чувств и нашей внутренней чувствительности. В этом ли заключается ваша мысль?

Сен-Мартен. Да, гражданин.

Гара. Орган интеллекта?

Сен-Мартен. Способность интеллекта.

Гара. Погодите: нам необходимо договориться о терминах. Только когда мы придем к согласию в словах, мы сможем достичь согласия в идеях. Значит, это не орган.

Сен-Мартен. Это также и способность.

Гара. Нужно выбрать что-то одно, ведь один и тот же орган может выполнять множество самых разных функций; следовательно, он может обладать несколькими способностями.

Сен-Мартен. Одно не исключает другого. Я полагаю, что способность - это свойство органа.

Гара. Мне кажется, можно доказать, что такой специфический орган и не обязателен, и недопустим. Когда такие философы, как Бэкон, Локк или Кондильяк, говорят о способностях рассудка, они рассматривают рассудок как нечто единое и тождественное самому себе. Но это единое целое обладает множеством способностей. Именно оно чувствует, оно вспоминает, оно воображает, оно судит, оно рассуждает. Если я правильно вас понимаю, вы, кажется, считаете, что ощущения берут начало в определенных органах, память - в другом органе, воображение - в третьем, разум - еще в одном. Безусловно, если ваша мысль такова, вы чрезвычайно расширяете область органов человеческого интеллекта.

Сен-Мартен. В этом вопросе наши взгляды совпадают. Полагаю, философы не станут спорить с тем, что рассудок является главной сущностью - тем самым органом, если угодно, в котором сосредоточены и объединены все те способности, что вы только что определили.

Гара. Позвольте мне, гражданин, выразиться со всей прямотой: мы еще не пришли к такому согласию, как вы, по-видимому, полагаете. В языке философов, открывших и проложивших тот путь, по которому мы намерены следовать, рассудок - это совокупность, единство всех ТЕХ СПОСОБНОСТЕЙ, благодаря которым человек воспринимает предметы, сохраняет память о них, сравнивает их, судит о них, рассуждает и так далее. ЧУВСТВОВАТЬ - это способность; ПАМЯТЬ и ВООБРАЖЕНИЕ - это другая способность; СРАВНЕНИЕ и СУЖДЕНИЕ - еще одна. И именно совокупность всех этих способностей в одном и том же существе называют его РАССУДКОМ. Понятие рассудка выражается одним словом, но, как и все сложные понятия, оно состоит из понятий частных, каждое из которых имеет свое особенное и характерное название. Однако не стоит заключать из этого, будто все эти способности, при всем их разнообразии, относятся к разным органам. Опыт и наблюдения показывают, что именно в одних и тех же органах ощущения воспринимаются, сохраняются, воспроизводятся, комбинируются и так далее. Теперь я перейду к некоторым из ваших возражений.

Ваша доктрина утверждает, что орган интеллекта не имеет никакой связи с органами чувств; что чувствовать вещи и познавать их - это совершенно разные вещи. Вы ведь полагаете именно это истинным, не так ли?

Сен-Мартен. Я в этом убежден.

Гара. Тем не менее, когда под лучами солнца я испытываю ощущения, которые дарит мне это сияющее светило, согревающее и освещающее землю - разве знаю я о нем что-либо, кроме самих этих ощущений?

Сен-Мартен. Вы испытываете ощущения, но те размышления, которые вы строите относительно существования солнца...

Гара. Погодите, до размышлений мы еще дойдем. Прежде всего давайте ненадолго остановимся на самих ощущениях. Я утверждаю, что ощущения, которые я получаю, дают мне одновременно и впечатление, и познание света и тепла; и я добавляю, что познание в данном случае ничем не отличается от впечатления.

Сен-Мартен. Согласен, они дают вам ощущение, но именно ваш рассудок дает вам их познание.

Гара. Но помилуйте, в чем же тогда ощущения, получаемые мною от некоего предмета, могут отличаться от того познания, которое я могу о нем почерпнуть, если я не могу знать об этом предмете ничего, кроме тех самых ощущений, что я испытываю? Познать предмет - значит лишь верно разобраться в ощущениях, которые он вызывает; верно разобраться в них - значит лишь отчетливо их чувствовать; а отчетливо чувствовать их - значит просто чувствовать.

Сен-Мартен. Я мог бы напомнить одну из ваших страниц, написанных для одной беседы, в которой вы сами признали, что животные лишены рассудка.

Гара. Я далек от того, чтобы соглашаться с подобным признанием. Но посмотрите (и это урок, который нам всем стоит усвоить), как важно не использовать как придется и без разбора два слова, даже если они кажутся чрезвычайно похожими. Я никогда не говорил, что у животных нет рассудка; я сказал, что у них нет человеческого рассудка. Я глубоко убежден, что они им обладают, но в степени, значительно уступающей нашей. Вовсе не та философия, что выводит сам гений Монтескье и Ньютона из одних лишь ощущений, может низводить животных до уровня простых механических движений. Они многому учатся, поскольку чувствуют; они обретают знания и даже овладевают определенными навыками. Я же утверждал лишь то, что, будучи неспособными подняться до использования условных знаков, животные равным образом не способны возвыситься и до моральных понятий. До настоящего времени этот возвышенный атрибут на нашем земном шаре оставался исключительным достоянием человека. И я вовсе не хочу сказать, подобно многим любителям громких слов, будто для достоинства и величия человека необходимо обладать этим достоянием в одиночку; напротив, ему было бы и приятнее, и полезнее разделить его с другими. Однако он владеет им один; и раз это установленный факт, то это первое, что необходимо зафиксировать как в истории животных, так и в истории человека. Впрочем, все эти вопросы будут изучены более глубоко в рамках этого курса; однако стоит дождаться, когда к ним приведет сам порядок изложения материала. Я же возвращаюсь к нашему текущему вопросу.

Я утверждаю, что знание, которое я имею о солнце, и совокупность ощущений, полученных мною от этого ослепительного светила, для меня суть одно и то же; я заявляю, что мне невозможно отличить одно от другого. Это оказалось столь же невозможным для Локка, Кондильяка, Шарля Бонне и других. Когда споры по какому-либо вопросу в ходе анализа доходят до фактов, почерпнутых из опыта всех людей, и когда дискуссия сосредотачивается на этих самых фактах, остается лишь один путь: спросить самих людей. Мы собрались здесь в огромном количестве; нас здесь две или три тысячи человек. Поэтому я призываю вас, граждане, заглянуть в глубину своих душ и спросить себя: являются ли для вас ощущения тепла, сияния и видимого движения солнца, которые вы получили и сохранили, и знание об этом сиянии, этом тепле и этом движении двумя разными вещами? Или же это одно и то же, просто рассматриваемое с двух разных точек зрения и под двумя разными наименованиями?.. Ньютон, анализируя свет, получил от него новые ощущения; именно поэтому он приобрел о нем и новые знания.

Гражданин Сен-Мартен, отделив разум от ощущений, пожелал провести еще одно разделение: он пожелал отделить разум еще и от воли. Локк - мыслитель чрезвычайно глубокий, но иногда он подмечает и описывает человеческие заблуждения в весьма ироничном свете. По мнению Локка, стоит опасаться того, что, давая разные имена способностям человеческого разума, мы убедим себя, будто существует столько же независимых деятелей, сколько и различных названий. В таком случае в воображении, которое легко поддается играм и предается множеству причуд и иллюзий, будут видеть легкомысленного, находчивого и непоследовательного ребенка; в суждении, которое движется более размеренным шагом - человека рассудительного; в памяти - своего рода живописца, рисующего образы; в воле - подобие законодателя и исполнительной власти, которая повелевает и заставляет себе повиноваться. Именно это не раз случалось как до, так и после предостережения Локка.

Тем не менее, совершенно очевидно, что все эти способности не являются разными действующими силами; предельно ясно, что в своей совокупности они суть не что иное, как сам человек - то есть существо, организованное для восприятия ощущений, в котором эти ощущения пробуждаются, воспроизводятся и комбинируются сотнями различных способов. Сочетания их варьируются до бесконечности, но элементы всегда остаются прежними, и действующая сила всегда лишь одна. И элементы, и силы - всё есть лишь ощущение. В этой интеллектуальной механике (величайшем чуде из всех известных явлений, которые кажутся мне сплошными чудесами) работник, инструмент и обрабатываемый материал - это одно и то же: это всегда сама чувствительность, воздействующая на ощущения через ощущения.

Простите мне такой слог: он не отличается изяществом, но я стремлюсь не к изяществу, а к точности. Благодаря своей чувствительности человек ощущает реальную и истинную связь между собой и объектом, который представляет ему природа; благодаря ей же человек чувствует, что этот самый объект, в котором он уловил истинную связь, может быть ему полезен, может быть для него БЛАГОМ - и именно в силу этой самой связи. Таким образом, он желает как блага того, что счел истинным. В этом и заключается та симпатия, то сродство и почти тождество, которое Бэкон усматривал между истинным и благим; или, выражаясь его собственным языком, между чистотой озарения и свободой волеизъявления. Однако человек всегда в равной мере именно благодаря своей чувствительности ощущает как то, что для него истинно, так и то, что для него благо. Бэкон рассматривает разум и волю лишь в их проявлениях и потому говорит только об их симпатии; если бы он исследовал их истоки, он заговорил бы о тождестве этих истоков. Вот ответы, которые я должен был вам дать; полагаю, они вполне удовлетворительны.

Сен-Мартен. Гражданин профессор, прояснился ли обсуждаемый вопрос? Вы высказали свое исповедание веры: вы представили утверждение, согласно которому связь с внешними объектами, ощущение и знание, которое вы из него черпаете, суть одно и то же. Я отвечу вам столь же твердым утверждением - до тех пор, пока не последует новых разъяснений, - что для меня само ощущение, которое мы получаем, и знание, которое мы из него черпаем, - это две разные вещи, принадлежащие к разным способностям и различным органам.

Гара. Если позволите, я продолжу рассуждение на эту тему; она может дать повод для весьма важных размышлений. Прежде всего важно отметить, что, придерживаясь доктрины, согласно которой наши ощущения и наши идеи суть вещи разные, вы воскрешаете платонизм, картезианство и мальбраншизм. Когда у человека есть вера, прекрасно заявлять о ней во всеуслышание; прекрасно проповедовать её с кровель домов. Однако не стоит привносить веру в философию. Как в метафизике, так и в физике философия лишь наблюдает за фактами; она их классифицирует, она их комбинирует, но никогда не отступает от непосредственных результатов, которые дают факты - будь то в их первозданном виде или в их сочетаниях.

Методы Мальбранша и Платона были совсем иными; они провозглашали другие догмы. И тот, и другой предполагают наличие в человеке неких движущих сил, которые не известны нам ни через какой чувственный опыт, и существование фактов, которые не познаются ни одним из наших ощущений. Подобные силы - это как раз те самые идолы, которые столь долго пользовались суеверным поклонением человеческого разума; те идолы, храмами для которых

служили научные школы и чьи изваяния и алтари первым сокрушил Бэкон. Было бы огромным несчастьем, если бы теперь, при открытии Нормальных и Центральных школ, эти идолы смогли проникнуть в их стены. Любая здравая философия была бы погублена, всякий прогресс в познании природы остановился бы; именно поэтому я считаю священным долгом профессора анализа относиться к этим идолам с тем презрением, которого они заслуживают.

Хотите ли вы увидеть яркие примеры того, какую опасность таят в себе эти доктрины, устанавливающие различия между природой ощущений и природой идей? Давайте взглянем, в какие иллюзии, в какие заблуждения они ввергли философов, чей гений был призван возвеличить и прославить человеческий разум: Платона, Декарта, Мальбранша.

Изучая их метафизические ошибки, которые в своей основе одинаковы, проследим также, как при переходе от одного мыслителя к другому эти ошибки становились всё опаснее, всё более способными окутать мраком всё учение о человеческом духе.

Платон, который много размышляет или грезит, находит в своём уме множество запечатлённых понятий о природе существ и вещей. Из этих понятий он создаёт настолько абстрактные сущности, что отделяет их одновременно и от своего разума, созерцающего их, и от картины вселенной, которую они ему являют. Это - сущности, типы, архетипы, вечные замыслы и прообразы всего сущего. По утверждению Платона, именно в этих типах и следует искать природу существ, а не в наших ощущениях и не во вселенной, где всё преходяще, мимолётно и смутно. Сущность треугольника не выводится из тех несовершенных треугольников, которые мы встречаем, чертим и стираем на земле; она предшествует всем треугольникам, которые являются лишь её отражениями и копиями. То же самое относится к природе человека и к природе всех существ, живых или неодушевленных: именно в их неизменных архетипах их и надлежит изучать, если мы хотим их познать, а не в тех образах и видимых формах, которые исчезают в тот самый миг, когда начинают существовать, и которые постоянно внушают нам иллюзии вместо того, чтобы давать нам подлинные идеи и знания. Так мыслит Платон.

Даже высказывая, по сути, то же самое, Декарт, которому предстояло ниспровергнуть всю философию древности, вынужден был говорить на ином языке. Вместо сущностей, типов и архетипов, которыми он пользуется крайне редко, он вводит *врожденные идеи*. Однако врожденные идеи Декарта, как и сущности Платона, - это единственные точные и совершенные понятия человеческого разума. Будучи первичными по отношению к нашему существованию и независимыми от наших чувств, они отнюдь не формируются из наших ощущений, а, напротив, непрестанно надзирают за ними, чтобы направлять и исправлять их. Когда одновременно существуют и *врожденные идеи*, и *идеи приобретенные*, становится очевидным, что именно первым принадлежат все преимущества и что именно в них следует искать все уроки и всякое знание. Именно во врожденных идеях Декарт искал всю свою метафизику; и именно поэтому она столь плоха.

Различие, которое, как мне кажется, можно заметить между системой Декарта и системой Платона, состоит в том, что Декарт, запечатлевая врожденные идеи в человеческом разуме, как бы делает их его неотъемлемой частью. Мне же представляется, что Платон в большей степени отделяет свои *сущности, типы и архетипы* от человеческого разума, который их воспринимает. Декарт равным образом освобождает вас от необходимости искать свои идеи или создавать их: они пребывают в вас еще до вашего рождения, причем в совершенно готовом виде. Платон тоже запрещает вам их создавать; однако, не указывая прямо, где они находятся, он оставляет за вами обязанность их искать. И поскольку они заключены исключительно в отношениях наших чувств с природой, вполне возможно, что наиболее ревностные платоники именно там их и ищут. В процессе этого поиска они могут порой составить себе понятия, сообразные природе вещей, то есть прийти к точным ощущениям; ведь для нас природа наших ощущений, когда они соответствуют своему объекту, и природа самих существ - это одно и то же.

Во все времена говорили «божественный Платон», а в наши дни стали называть Мальбранша «почти божественным» (прим.: так говорил Бюффон). Я полагаю, мы бы вернее опи-

сали этих двух философов, если бы говорили «божественный Мальбранш» и «почти божественный Платон». В самом деле, именно у Мальбранша всё то, что у Платона лишь начинало быть вечным и божественным, окончательно стало таковым. Именно у Мальбранша всё в человеке мыслится Богом, и всё само по себе есть Бог.

Постараемся внести в эти рассуждения некоторую точность, хотя они, кажется, не слишком ей поддаются. Мальбранш еще меньше, чем Платон и Декарт, склонен признавать наши ощущения источником наших идей. Откуда же в таком случае мы их черпаем, по его мнению? Быть может, как того желал Платон, из неких *вечных замыслов*, для которых существа, населяющие вселенную, являются лишь копиями, а не образцами? Нет. Или же в идеях, предшествующих нашему земному существованию, во врожденных идеях, как утверждает Декарт? Тоже нет. Согласно Мальбраншу, самого существования духовных душ и их связи со вселенной еще недостаточно, чтобы объяснить формирование наших идей. Соглашаясь с Платоном в том, что нам отказано в способности составлять свои идеи из ощущений, он не согласен с Декартом в том, что, приходя в этот мир, мы находим их уже заранее запечатленными в наших душах. По Мальбраншу, мы черпаем их в Боге; каждая истинная идея, которую мы обретаем, - это открытие, совершаемое нами в Боге. Сам Бог созидает в нас наши идеи, или, вернее, сами наши идеи - это некие частицы божества.

Подобное учение не может не удивлять; оно способно даже ужаснуть и философов, и теологов. Что ж! Мальбранш, бывший одновременно и теологом, и философом, не только не испугался этого, но и набрался смелости развить свою мысль: он не останавливается на достигнутом и идет еще дальше. Утверждая, что ни одна *идея* не может быть порождена одними лишь способностями, данными человеку, или просто связями, установленными между человеком и природой, Мальбранш настаивает, что любые движения, как и любые идеи, суть непосредственные акты Бога. Он заявляет, что без прямого и постоянного божественного вмешательства любое движение, равно как и любая мысль, невозможны. И если Мальбраншу воскликнут: «Что вы такое говорите? А как же помысел убийцы, когда он точит кинжал? А движения преступника, когда он вонзает этот кинжал?»... Мальбранш, чья душа была столь чиста и благочестива, содрогается... но его учение не отступает. Его ум столь поразительно плодovit на тонкие и невыразимые объяснения, что он находит в них полное успокоение перед лицом абсурда, а его вера - полную защиту от обвинений в нечестии.

Вы видите, граждане, вы видите, в какие заблуждения впадает даже гений, когда пытается выстроить теорию человеческого разума на иной основе, нежели ощущения. Но спросите всех людей, чей здравый смысл, полученный ими от природы, не был извращен ложными учениями, которые мы слишком часто перенимаем у философов: спросите пахаря, возделывающего наши поля, как он получил те точные и полные представления, что имеет о своем плуге; он без колебаний ответит вам, что приобрел их, видя свой плуг, касаясь его, управляя им, чиня и при необходимости разбирая его.

Геометр ничуть иначе не приобретает понятия о треугольнике и прямоугольнике; так же и метафизик - свои метафизические идеи, которые ускользают от чувств лишь тогда, когда их упрямо пытаются искать вне ощущений и, следовательно, вне пределов разума. Таким образом, метафизик и геометр дадут вам почти такой же ответ, как и пахарь, если они столь же хорошо, как и он, знают, откуда берутся их идеи; но это случается редко. Поскольку их идеи более многочисленны, сложны и извлечены из ощущений, в которых они берут начало, путем более долгих и запутанных умозаключений, этим людям трудно вернуться к самому источнику и проследить все его ответвления. Этому можно по-настоящему научиться лишь у превосходной метафизики; а метафизика, которая не всегда бывает хороша, даже когда ищет элементы и материалы для наших идей в ощущениях, становится совершенно негодной, когда находит их в чем-то ином. Большинство ученых в окружении своих идей и наук, столь несовершенных созданных, устройство и истинный замысел которых им глубоко неведомы, напоминают современных египтян - коптов, живущих рядом с пирамидами. В своем слепом восхищении этими сооружениями, скорее огромными, нежели величественными, едва ли относящимися к высокому зодчеству - предназначения, устройства и долговечности которых

они не знают, они считают их творениями, стоящими выше человеческой природы. Они приписывают их той же самой силе, что разверзла моря и воздвигла горы, то неким духам, обитателям древнего, погибшего мира, единственными следами которого и остались эти пирамиды.

Вы не довольствуетесь, гражданин, мыслью о том, что разум человека черпает знания из какого-то иного органа или иных органов, помимо ощущений; вы полагаете также, что для оценки природы поступков, для различения пороков и добродетелей, нравственного добра и зла, человеку необходима иная способность, нежели рассудок. Вы наделяете его еще одной способностью, которую называете *нравственным чувством*. Вы доверяете этому нравственному чувству управление нашей волей и нашими поступками, в то время как рассудок, со своей стороны, ведает лишь формированием наших мыслей.

Как много отдельных способностей, различных органов и всевозможных движущих сил требуется вам, чтобы объяснить феномены жизни и человеческой мысли! Вы во многом напоминаете тех древних астрономов, которым нужно было столько сфер и столько небес, чтобы объяснить движения Вселенной. До сих пор все удачные объяснения и подтвержденные открытия были куда проще.

Но прежде чем рассмотреть ваше мнение на этот счет позвольте мне поправить некоторые из тех суждений, что вы мне приписываете.

Я нигде не мог утверждать, как вы предполагаете, что независимо от прочих чувств человек обладает неким *всеобщим чувством* для оценки нравственности поступков. Признаюсь, мне было бы немного стыдно и неловко, если бы у меня, как у сторонника аналитического метода, вырвалась столь туманная мысль, столь мало подходящее для анализа слово. Если бы существовало некое *всеобщее чувство*, оно не было бы *исключительно нравственным*; если бы существовало *всеобщее чувство*, никакое другое чувство нам бы не потребовалось, и иных чувств у нас бы просто не было.

В строгом смысле слова я не знаю ничего всеобщего, кроме самой Вселенной. Вы не только неверно поняли, но и превратно истолковали мои слова. Само звучание и смысл тех выражений, которыми я мог воспользоваться, подразумевают совсем иные идеи.

Отвергая мнение о существовании особого органа или чувства, предназначенного исключительно для формирования наших нравственных представлений, я говорил, что нравственное чувство рождается не из впечатления одного лишь из наших чувств, но из совокупного, одновременного впечатления всех наших чувств. Именно так рождается и формируется сам разум; и, на мой взгляд, истинная мораль - это самое совершенное и самое необходимое из того, что создается разумом.

Вы же полагаете иначе: вы не допускаете, чтобы та способность, которая судит о том, что ЕСТЬ благо, была той же самой способностью, что судит о том, что ЕСТЬ истина. Вы полагаете, что мораль проистекает из источника еще более чистого, чем разум, более божественного; и этот источник вы называете *НАВЯСТВЕННЫМ ЧУВСТВОМ*, в то время как другие называют его *СОВЕСТЬЮ*. Вы могли бы подкрепить это мнение авторитетом внушительных имен: его придерживался Хатчесон в Англии, а во Франции - Руссо. Оно тысячи раз воспроизводилось во Франции и Англии во всех формах прозы и стихов. И это неудивительно, ведь для человека оно обладает тем особым очарованием, которое присуще всему неведомому и таинственному; оно порождает множество толкований, которые никогда не бывают точными, но легко становятся патетичными и поэтичными. Как опасно принимать блеск доводов за их силу, а пылкость выражений - за очевидность доказательств! Как трудно осознать, что ты потерпел крушение на рифах, когда в миг этой катастрофы вокруг тебя гремят аплодисменты и воспевается слава! В другом месте я подвергну анализу это красноречие Руссо и Хатчесона, которое праздновало триумф, но не одержало победы; ведь над истиной можно восторгаться, но победить её невозможно.

Здесь же я могу лишь в общих чертах коснуться этого важного вопроса. Первое, что приходит на ум: если бы в человеке существовало нравственное чувство, независимое от разума, то ясность и сила его внушений совершенно не зависели бы от слабости или силы разума, от

его заблуждений или успехов. Свободное от всяческих иллюзий, порождаемых ложными учениями, это *нравственное чувство* у дикарей должно было бы проявляться с величайшей энергией; а у народов цивилизованных ложные доктрины - даже когда обман или заблуждение выдают их за снисшедшие с небес и облеченные божественным авторитетом - не должны были бы иметь власти ослепить это чувство или заставить его умолкнуть. И тем не менее, посмотрите на множество диких племен, чьи нравственные представления развиты столь слабо, что отцы, раздосадованные криком своих детей, нередко разбивают их о выступы скал; а дети, тяготясь старостью своих родителей, оставляют их подвешенными на деревьях на растерзание грифам и гиенам. Для них это не преступления, остающиеся безнаказанными, - это обычай. Нравственное чувство, которое молчит перед совершением этих зверств, не подает голоса и после: оно не пробуждает в них раскаяния.

Когда ложные религии извращают разум или не дают ему развиваться, разве *нравственное чувство* мешает жрецам требовать совершения преступлений, а народам - совершать их, чтобы угодить богам? Посмотрите, как в храмах Ниневии и Вавилона матери, ослепленные фанатизмом, поднимаются на вершины храмов и оттуда бросают своих детей на окровавленные изваяния своих каменных или медных божеств; посмотрите, как в Карфагене они сами кладут своих сыновей и дочерей на костры и в пламя, которое их поглотит... Разум - всего лишь плод человеческих усилий, причем зачастую плод самый запоздалый и наиболее слабый в своем развитии - может стать человеку настолько чужд, может оказаться до такой степени подавлен или сбит с толку. Но если бы *нравственное чувство* существовало, оно было бы даром природы и ее Творца; оно обладало бы куда большей стойкостью перед любыми соблазнами и религиозным развращением; оно никогда не позволило бы жрецу выдать убийство родителей за добродетель.

Судьба нравственных идей, если обратиться к истории народов и человеческого разума, та же, что и у всех прочих идей: чем более очищается и совершенствуется разум, тем более точными и прекрасными становятся и нравственные идеи. Лишь в самый просвещенный век Греции могли жить Сократ и Эпаминонд; и если они превзошли всех греков в добродетели, то превзошли их и в разуме.

Я, впрочем, не собираюсь утверждать, будто невозможно или даже редко встречается сочетание чистой морали с нравами, которые таковыми не являются. Мы видим слишком много примеров подобных возмутительных контрастов как среди отдельных личностей, так и среди целых народов. Однако не упускайте из виду, что в данном вопросе речь идет не о той добродетели, благодаря которой частные лица и народы избегают в своих поступках зла и творят добро, но о той способности, благодаря которой, видя собственными глазами или охватывая мыслью все деяния, на которые способен человек, они судят о том, что одни из них будут хорошими, а другие - дурными; они считают одни достойными одобрения и награды, а другие - заслуживающими наказания и порицания. Именно об этой способности я и говорю, что в самом своем зачатке она может принадлежать лишь зачатку разума, и что ее развитие происходит одновременно с развитием последнего. Только она, лишь истинная мораль, может надежно вести к добрым нравам; однако она не всегда к ним приводит. Черпая знания из опыта наших ощущений и страстей, она указывает нам, когда и почему мы должны им сопротивляться; но только привычка дает нам для этого сначала силу, а затем и легкость. Между тем привычки усваиваются на примерах семей, школ, городов и народов; и лишь законодатели, благодаря безграничной силе законов и общественных институтов, способны создавать и закреплять добрые примеры в целых народах, в городах, в школах и в семьях. Таким образом, истинная мораль может родиться лишь из философии, а добрые нравы - лишь из законов. Когда законодательство закрепит то, что продиктует философия, народы смогут одновременно обладать и здравыми идеями, и нравами, согласующимися с этими идеями; но ни в искусстве формирования точных понятий, ни в искусстве приобретения привычек, направляемых этими понятиями, не обнаруживается ничего, что заставило бы заподозрить существование или необходимость той тайной причины, которую вы называете *нравственным чувством*.

Не заблуждайтесь на этот счет: я отвергаю его вовсе не потому, что это причина тайная; ведь тайными причинами мы окружены; и если не следует допускать их для объяснения фактов, то их приходится признавать для бесчисленного множества явлений, которые всё еще остаются необъяснимыми. Я отвергаю его по той причине, что всё то, что вы стремитесь объяснить этим «нравственным чувством» - столь неведомым сейчас и обреченным оставаться таковым всегда, - на самом деле прекрасно объясняется всеми истинными чувствами человека и тем сложным, но чудесным искусством разума, для которого наши ощущения служат и материалом, и инструментом.

Здесь было бы уместно подробно проследить, как формируются и постепенно совершенствуются моральные понятия лишь за счет работы наших чувств и разума, черпающего в них всё необходимое для управления ими. Однако эти рассуждения составят значительную часть данного курса и моего труда в целом; в этой же беседе я лишь хотел дать вам общее представление о них.

Среди возражений гражданина Сен-Мартена есть одно, которое, по-видимому, еще более непосредственно касается самой сути искусства анализа. Речь идет о том, что он сказал о знаках, о языках и о мнении Руссо, которому слово казалось необходимым условием для заключения того соглашения, что превратило саму речь в толкователя идей. Гражданину Сен-Мартену не нравится, что я иногда использую слово «знаки» вместо слова «языки». В мои намерения вовсе не входит употреблять их как абсолютные синонимы - то есть в тех случаях, когда одно из этих слов не добавляло бы или не убавляло бы ничего в значениях другого; я не думаю, что поступал так, но если и случалось, то я был неправ.

Слово «язык», хотя в расширительном значении его и применяют к общению глухонемых в восточных сералях или в школах аббата де Л'Эпе и аббата Сикара, в строгом смысле им не подходит. Оно применимо лишь к речевым знакам, основным инструментом которых служит физический орган - язык. Однако и помимо глухонемых, обученных ли просвещенными аббатами или самой природой, почти все народы и даже самые малые племена имели иные средства выражения и передачи мыслей, нежели устная речь. Эти средства были чрезвычайно разнообразны у различных человеческих племен; их можно было бы без труда множить до бесконечности, если бы в этом была хоть какая-то польза.

Когда я хочу сосредоточить свои и ваши мысли на этом бесконечном множестве различных средств, которыми человек может пользоваться, чтобы излагать свои идеи перед другими или перед самим собой, я использую слово «знаки». Оно в равной степени подходит для всех подобных средств, какой бы природы они ни были и к какому бы роду ни относились или могли относиться.

Когда же я хочу побеседовать с вами более конкретно о тех знаках, что состоят из звуков, издаваемых голосом и артикулируемых языком, я поочередно - но отнюдь не взаимозаменяемо - употребляю то слово «речь», то слово «язык».

«Знаки» - это понятие универсальное; оно охватывает в своем безграничном значении и гортанное хлопанье троглодитов и готтентотов, и живописные, гармоничные обороты языков Гомера и Вергилия, и ибисов, и фаллические символы, высеченные на египетских обелисках, и цифры арифметиков, и черты алгебраистов, и узелковые шнуры перуанцев, и полные изображения мексиканцев, и упрощенные образы китайцев.

Заметьте, однако, что значение слова «знаки», отнюдь не становясь туманным из-за той широты понятий, которую оно охватывает, во многих отношениях обретает более строгую философскую точность. В этом слове - «знаки» - яснее, чем в словах «речь» и «язык», видится или чувствуется, что любые языки и любые знаки - это лишь способы представления наших идей. Эта истина чрезвычайно проста, но о ней слишком часто забывают, и она постоянно готова ускользнуть от нашего внимания.

Заметьте также, что хотя слова «знаки» и «языки» имеют, так сказать, свои отдельные и четко определенные области, иногда их можно переносить из одной области в другую. При таком переносе они не только приобретают больше изящества и новизны, но и лучше выполняют свои логические и метафизические функции: они заставляют ум, который они слегка

удивляют, быть более внимательным; а когда человек становится очень внимательным, он близок к тому, чтобы стать философом. Те, кто первыми сказали, что все знаки - это языки, а все языки - это знаки, проявили одновременно и остроумие, и верное понимание метафизики. Сколько же ухищрений требуется для того, чтобы обрести хотя бы каплю разума!

Что касается мнения Руссо, то он впал в заблуждение по недосмотру; и этот его недосмотр обусловлен его системой, направленной против общества. Руссо стремился доказать, что общество - это установление противоестественное; а поскольку речь является важнейшим инструментом общественных институтов, он пришел к убеждению, что само возникновение речи было чем-то, превосходящим природные силы человека.

Но знаете ли вы, почему языки показались ему непосильными для первобытного человека? Дело в том, что вместо рассуждений о языках диких племен он рассуждал о языках народов цивилизованных. Разумеется, язык Цицерона или Фенелона никогда не мог быть создан готтентотами или троглодитами. Однако троглодиты могли - без всякого чуда - свистеть, а готтентоты - хлопать; и этот их свист, это хлоптанье уже есть речь, это языки в их зачаточном состоянии.

Совершенно верно, что развитие речи необходимо для того, чтобы она достигла того уровня, на котором находилась в Афинах времен Перикла, в Париже века Людовика XIV или в Лондоне в устах Поупа и Аддисона. Подобная речь ученых мужей и великих эпох действительно формировалась благодаря соглашениям и усилиям множества людей на протяжении многих уже вполне просвещенных столетий. В этом отношении утверждение Руссо строго справедливо. Но не потребовалось никаких соглашений, заключенных при помощи речи, и никаких предварительных знаний для того, чтобы дикари начали издавать нечленораздельные крики или даже членораздельные звуки, которые являются результатом их ощущений и механических движений их органов. Поскольку эти ощущения и движения одинаковы как у тех, кто издает эти крики и звуки, так и у тех, кто их слышит, все ими пользуются и все их одинаково понимают без всякого предварительного уговора или предшествующего соглашения. Для всего этого не требуется иной школы, кроме лесов.

И это еще не всё: прежде членораздельных звуков возникают жесты; а прежде осознанных жестов - жесты произвольные, то есть те движения, которые потребности и страсти дикарей невольно сообщают всем частям их тела. Вот оно, начало языков и речи: это начало - дело рук не человека, а природы. Оно не предполагает ничего предшествующего в истории человеческого рода; его одного достаточно, чтобы объяснить всё последующее. Руссо хотел открыть истоки великой реки, но искал их в её устье; это был не лучший способ их найти, но зато верный способ увериться - подобно тому, как некогда думали об истоках Нила, - будто они находятся не на земле, а на небесах.

Поэтому я не считаю нужным вносить какие-либо поправки в свое мнение относительно того, что Руссо говорил о возникновении речи. Руссо ошибся, и, как мне кажется, я указал вам, в чем корень его заблуждения. Мне также кажется, что вы и сами не разделяете ту ошибку, против которой я выступал: вы не на стороне Руссо против меня, а на моей стороне против Руссо. Вы верите в существование зачатков речи, и я полагаю, что уже объяснил, что представляют собой эти ЗАЧАТКИ.

Сен-Мартен. Не знаю, почему вы приписываете мне крайние взгляды Мальбранша, Платона и всех этих личностей, не зная, разделяю ли я их. Могу заверить вас, что я, возможно, нахожусь от них еще дальше, чем вы сами. Но в то же время я подтверждаю свои убеждения относительно всего того, что вы преподнесли как доказанное в главе об ощущениях, основываясь на трудах знаменитых философов.

Гара. Гражданин, я далек от желания принуждать вас верить во что-либо; я даже не собираюсь вас к этому призывать. Ибо в философии, повторяюсь, не нужно верить - нужно либо принимать, либо отвергать, либо сомневаться. Нужно пользоваться своим разумом, а разум вовсе не верит: верит лишь вера. Вы коснулись тем чрезвычайно деликатных: возможно, пролить на них хоть какой-то свет просто невозможно, и даже пытаться сделать это - опасно. В таких случаях те, кто мыслит иначе, чем вы, быстро превращают дискуссию в обвинение: даже ваши

сомнения они превращают в преступления. Суеверие, которое тревожится из-за всего, так как оно всегда строится на опасениях и видит нечестие повсюду, где не встречается теологии. А лицемерие, напускающее на себя вид заблуждения, чтобы скрыть свои преступления, обличает с такой же яростью, как и суеверие, но с куда большим искусством. Даже мудрейший из философов, Локк, не смог их обезоружить; он даже восстановил их против себя: они не простили ему слов о том, что при нашем невежестве было бы опрометчиво утверждать, будто *Бог не может наделить материю способностью чувствовать и мыслить*. Локка объявили нечестивцем за то, что он глубоко осознавал человеческое невежество и бесконечное могущество Бога.

Я был еще более осмотрителен, чем Локк: я не высказывал и не заявлял никакого мнения о связи материи и мышления. Тем не менее в газетах и памфлетах неоднократно писали и печатали, будто я представляю материю вечной субстанцией, а мышление - одним из её атрибутов. Вы и сами, гражданин - а я далек от того, чтобы винить вас в дурных намерениях - кажется, полагаете, что эти два утверждения были выдвинуты мною в стенах этой Школы. Мне жаль, что приходится пускаться в подобные объяснения, но обстоятельства сделали их совершенно необходимыми. Я никогда не говорил, что материя вечна; никогда не говорил, что материя *мыслит*; и никогда этого не скажу.

Тем не менее я заявляю: если бы для меня это были две доказанные и поддающиеся демонстрации истины, мое молчание было бы единственным проявлением снисхождения, которого удостоились бы от меня противоположные мнения. Религиозные догмы, каковы бы они ни были, могут опираться лишь на исторические свидетельства; а эти свидетельства, даже при всей их убедительности, никогда не смогут перевесить силу ни математического доказательства, ни даже истины естествознания, открытой человеческому разуму благодаря неизменным и всеобщим свидетельствам наших чувств.

Если бы я с очевидностью видел, что наши ощущения - это феномены определенной организации материи, подобно тому как я с очевидностью вижу, что все наши мысли - не что иное, как ощущения простые, абстрактные или комбинированные, я бы основывал свое учение на первом из этих принципов так же, как и на втором. Но второй для меня - это установленный факт, который я принимаю; первый же - лишь гипотеза материалистов, в которую я не вмешиваюсь, ибо если у них нет доказательств, которые они могли бы мне представить, то и у меня нет доказательств, чтобы предложить им в ответ.

И спиритуалист, и материалист говорят об этом больше, чем я, но знают они не больше моего. Я отказываюсь забираться так же высоко, как они, предпочитая опираться на доступное мне основание, которое ничто не сможет поколебать.

Теория человеческого разума, основанная на ощущениях, кажется спиритуалистам столь пугающей потому, что они, будучи твердо убеждены в неспособности материи мыслить - даже если бы того пожелал Господь, - всё же полагают, будто способны постичь, каким образом материя может чувствовать; им кажется, будто они видят, что ощущения присущи материи. Какое заблуждение! И как оно опасно для их собственных догматов! Какое преимущество они тем самым дают материалистам! Как только спиритуалист признаёт это, он побеждён; он повержен к ногам торжествующего материалиста.

Но истинный метафизик с состраданием взирает и на триумф одного, и на безумную неосторожность другого. Метафизик ясно замечает, что определённые движения в тех или иных наших органах всегда предшествуют ощущениям; но он оттого не лучше понимает, как именно движение органа порождает ощущение. Понятия, связанные с этими тремя словами - *орган, движение, ощущение*, - в подлинной метафизике никогда не соединяются настолько плотно, чтобы не оставлять своего рода зазоров, в которых спиритуализм мог бы удачно разместить свою гипотезу, если он выступает как философия, или свои догматы, если он выступает как религия. Таким образом, метафизика, не проповедующая спиритуализм, вовсе не становится его врагом - напротив, она скорее приходит ему на помощь.

Это настолько верно, что Кондиляк и Бонне причисляют к своим самым строгим доказательствам невозможность представить себе ощущения в протяжённости, то есть в материи. И что ещё более примечательно: Бонне, будучи человеком глубоко религиозным, всегда ищет

физические причины наших ощущений в своего рода анатомии мозга и нервной системы, в скрытых движениях волокон и волоконце, в то время как аббат Кондильяк, который мало говорит о религии, почти всегда исключает эти материальные факты, связанные с причинами и актами интеллекта. В этом я подражал и всегда буду подражать Кондильяку; и вовсе не из страха прослыть материалистом - будь я им, я бы не побоялся им казаться. И не из опасения стать им в ходе этих физиологических изысканий: если бы материализм был истиной, я счел бы его полезным, как и всякую другую истину. Моя причина в том, что весь этот механизм наших нервов, их системы и их связи с мозгом и ощущениями всё ещё изучен слишком плохо. Естественно полагать, что именно здесь рождается свет истины; однако обычно там находят лишь сомнительные, туманные факты и беспросветную тьму. Начинать же движение стоит лишь там, где виден проблеск света, - то есть с ощущений.

Ощущения! Вот те первые явления, за которые берется здравая метафизика. Опираясь на них, она объясняет все феномены человеческого духа с такой же ясностью и, по меньшей мере, с такой же достоверностью, с какой экспериментальная физика и химия объясняют явления природы. Вот моё исповедание веры, раз уж возникла нужда его сформулировать. Совершенно очевидно, что те, кто усмотрел в моих словах своего рода лекцию по материализму, выдвинули против меня обвинение, так и не поняв моей мысли. В наши дни, и это правда, подобные обвинения больше не предъявляют политическим властям или судебным трибуналам; однако их выдвигают на суд общественного мнения, которое также является трибуналом и силой.

Вы видите, граждане, насколько я далек от того, чтобы рассуждать подобно тем, кто утверждает, будто материя мыслит. Однако я скажу гражданину Сен-Мартену, что я столь же далек от того, чтобы признать убедительным доказательство, которым он пытается подтвердить, что мысль никогда не может быть свойством организованной материи.

Дух, - говорил он, - развивает себя, он сам себя совершенствует; материя же не способна ни совершенствоваться, ни развиваться. Следовательно, она не может обладать свойствами духа; а значит, она не может быть существом мыслящим. Этот аргумент не может породить никакой убежденности, так как он не вносит никакой ясности. Утверждение, что *материя не может развиваться и совершенствоваться*, тождественно утверждению, что *материя не может чувствовать*. Ведь если бы она могла чувствовать, она могла бы обладать идеями; благодаря же идеям она могла бы воздействовать на саму себя, развиваться, совершенствоваться, а также развивать и совершенствовать всё то, что не наделено органами чувств. Таким образом, гражданин Сен-Мартен выдает за решение вопроса лишь сам вопрос, изложенный иными словами.

Лучшие доказательства того, что материя не может мыслить, основаны на нашей неспособности постичь, как протяженность и мысль могут быть присущи одной и той же субстанции - материи. Именно здесь и заканчивается философия, то есть здравая метафизика; лишь откровения берут на себя труд предоставить иные доказательства.

Дюамель. Гражданин, я неизменно читаю Кондильяка и всегда читаю его с интересом. Когда на заседании 19 плювиоза я сказал, что Кондильяк проявил мастерство наставника лишь в своей книге под названием «О связи торговли с правительством», вы, казалось, пожелали, чтобы я сделал исключение для «Трактата об ощущениях». Но я не делаю этого исключения; напротив, я заявляю, что план этого сочинения не является аналитическим и что оно способно лишь дать ложное представление о наших интеллектуальных и нравственных способностях.

Кондильяк наделяет памятью, суждением, желаниями, любовью, ненавистью, страхом и всеми страстями статую, чувства которой ограничены одним лишь обонянием. Однако если мы будем вкладывать в слова четкий смысл, то окажется, что статуя, ограниченная обонянием, обладает лишь ощущениями. Сами же ощущения суть не что иное, как импульсы, возбуждаемые в нервной системе для сопоставления внешних объектов. Статуя, испытывающая

лишь эти импульсы, обладает лишь движущимися нервами, но не имеет никакой возможности остановить или зафиксировать эти движения: одно ощущение вытесняет другое, и при возникновении последнего она способна судить не более, чем при первом.

Память предполагает, что идеи или ощущения привязываются к знакам, которые фиксируют их в наших способностях, либо же она предполагает чувствительность. Воспоминание, являющееся необходимой способностью для того, чтобы судить, предполагает наличие связи между ощущениями; а ощущения, будучи первоэлементами, суть вещи простые, которые, не имея никакой естественной связи, не могут быть ни соединены, ни сопоставлены. Соотношение сходства здесь равно нулю; соотношение различия также равно нулю. Поскольку они разнятся во всем, мы едва ли можем действовать, пока не обладаем идеями; и так как у нас есть лишь ощущения, полученные через обоняние, вкус и слух, то для обладания интеллектуальными способностями нам, несомненно, требуются еще зрение и осязание; при этом я не знаю, чем было бы зрение без осязания.

Совершенно очевидно, что Кондильяк не мог наделить память, суждением и прочими способностями статую, ограниченную лишь обонянием. Он приписывает своей статуе внимание уже при первом ощущении; но внимание - это состояние духа, которое предполагает наличие интереса; интерес предполагает стремление к благополучию; стремление к благополучию предполагает множество приобретенных идей; стремление к благополучию предполагает наши интеллектуальные качества.

Согласно Кондильяку, желание - это состояние наших способностей, направленных на некий объект. Он говорит: «При первом же запахе способность нашей статуи чувствовать целиком сосредоточена на впечатлении, производимом на её орган чувств; вот что я называю вниманием». Но как же он тогда определит сосредоточенность? Ведь она - не что иное, как это самое состояние.

Кондильяк наделяет желаниями статую, которая обладает лишь обонятельными ощущениями. Но так как, согласно ему самому, желание - это состояние наших способностей, направленных на объект, а само желание предполагает знание об этом объекте. Станут ли утверждать, что ощущение и есть знание объекта? Это идея абстрактная и непостижимая: объект и ощущение от него тождественны. Любовь, ненависть и все страсти предполагают наличие множества приобретенных идей.

Итак, если под аналитическим методом понимать такой порядок идей, который соответствует их сложению и обобщению для достижения целостного представления, то вы, несомненно, увидите, что метод, которому следует Кондильяк, едва ли является аналитическим. Более того, мне кажется ложным взгляд, согласно которому разум пытаются сформировать, выбирая среди ощущений лишь те, что получены каждым из наших чувств в отдельности; особенно если начинать с чувства, не дающего представления ни о формах, ни о цветах. Ведь интеллектуальные способности могут появиться лишь после того, как уже накоплены реальные идеи.

Подведу итог. Я задаюсь вопросами: (1) Можно ли зафиксировать обонятельные ощущения? И если их нельзя зафиксировать и связать между собой, то можно ли их сравнивать? (2) Если их нельзя сравнивать, может ли тот, кто наделен одними лишь ощущениями, обладать способностью к суждению - основой всех интеллектуальных способностей? И если рассматривать многообразие ощущений, которые заключают их в себе и которые развивают для формирования целостного понятия о разуме, можно ли усмотреть в этом некий аналитический порядок? Вот те два вопроса, которые я вам предлагаю.

Гара. Жаль, что Кондильяка нет здесь, чтобы ответить вам; я полагаю, он разрешил бы все ваши затруднения, и его ответ не мог бы не обогатить наши знания. Гражданин, я знаю, с каким мастерством вы владеете этим инструментом - анализом; однако должен заметить, что в данном случае ваше его применение не кажется мне столь же удачным.

Моя цель вовсе не в том, чтобы безоговорочно защищать замысел труда Кондильяка об ощущениях. Вы знаете, что я сам избрал иной путь. Тем не менее, давайте встанем на ту точку зрения, которой придерживался Кондильяк в своем «Трактате об ощущениях». Представим

себе статую, устроенную точно так же, как человек; она еще не оживлена, но может обрести жизнь. Предположим далее, что жизнь и способность действовать даруются не всем чувствам этой статуи одновременно, а сначала лишь одному из них, а затем и всем остальным поочередно. Я вполне отчетливо представляю в рамках этой гипотезы, как благодаря упражнению лишь одного чувства - притом самого ограниченного в своих возможностях, а именно обоняния - статуя может познать удовольствие и боль. И как только эта статуя начинает поочередно наслаждаться и страдать, я понимаю, каким образом она поднимается до тех состояний чувствительности, которые мы называем вниманием, памятью, воображением, желанием, волей и так далее.

Давайте проследим на мгновение за ходом мыслей Кондильяка в его «Трактате об ощущениях». Повторюсь: этому труду многого не хватает, однако его никогда не оценят по достоинству, если не будут рассматривать как одно из самых полезных творений человеческого разума. Кондильяк подносит цветы к органу обоняния своей статуи: одни источают ароматы, которые ей приятны, другие - запахи, которые причиняют ей боль. Наделив статую ощущениями, их затем у неё отнимают; её поочередно то извлекают из небытия, то вновь в него погружают. Однако ни яркие и приятные ощущения, ни яркие и тягостные не исчезают в небытии навсегда. После того как цветы убрали, орган обоняния, воспринявший определённые движения и ощущения, приобрёл также способность повторять эти же движения в отсутствие цветов, воспроизводя те же самые ощущения. Он повторяет их, или, вернее, они повторяются сами собой, и те же ощущения возникают вновь; они остаются теми же самыми, хотя и в ослабленном виде. Вот вам уже и память.

Когда присутствие цветов или воспоминание о них рождает приятные ощущения, возбуждённые нервные окончания полностью устремляются к тому ощущению, которое доставляет им удовольствие: Вот вам и внимание.

Статуя, которая несколько раз подряд испытывала живые ощущения благодаря присутствию цветов и ощущения, ослабленные памятью, может воспроизводить те движения, что вызывают память, одновременно с тем, как она воспринимает движения текущего ощущения. Таким образом, она может сравнить аромат и воспоминание о нем; она может сравнить сильное удовольствие со слабым; она может даже сравнить удовольствие и боль. С этого времени в оживленном и чувствительном органе нашей статуи возникнет самопроизвольное стремление к тому, чтобы получать и сохранять яркие и приятные впечатления, и к тому, чтобы отвергать и стирать ощущения слабые и неприятные. Вы наблюдаете рождение желания и воли.

Вы также можете заметить, как благодаря способностям, которые статуя проявляет, используя лишь орган обоняния, она уже обладает всеми элементами любых мыслительных операций. Здесь, по правде говоря, явлений еще очень мало; их комбинации крайне ограничены. Однако Кондильяк намеренно, а не случайно начал свой анализ с самого бедного чувства: разум подобен глазу - он видит предметы яснее, когда их число уменьшается.

Это очень смелая идея; признаюсь, на первый взгляд она кажется почти безумным парадоксом - выводить большую часть, почти всю совокупность способностей разума из упражнения одного-единственного из наших чувств, притом самого ограниченного. Но когда анализ доказывает, что этот парадокс, на первый взгляд столь возмутительный, является истиной, эта истина становится еще более драгоценной для человеческого разума; она вскоре перестает удивлять, чтобы отныне просвещать всегда.

Я перехожу, гражданин Дюамель, к некоторым из ваших частных возражений.

«Статуя, - говорите вы, - которая испытывает лишь движения, обладает лишь движущимися нервами и не имеет никакой возможности остановить или зафиксировать эти движения». В этот момент вы забываете, гражданин, об одном законе, который, как полагают, открыт даже в неодушевленной природе и который ежесекундно наблюдается в природе одушевленной и чувствующей: это предрасположенность или склонность - называйте как угодно - повторять уже совершенные движения. Эту предрасположенность, эту растущую способность мы начинаем приобретать с самыми первыми движениями; она усиливается с каждым повторе-

нием и в конечном итоге часто превращается в необоримые привычки, в неизменную легкость исполнения. Этот достаточно известный закон совершенно неоспорим; его было достаточно, чтобы позволить Кондильяку предположить наличие внутри органа оживленной статуи всех тех спонтанных актов, которые он ей приписывает.

Вы говорите о движениях статуи; но вы забываете, что эти движения являются для нее ощущениями; и если движение само по себе легко воспроизводится, то приятное ощущение должно воспроизводиться еще легче. Универсальный закон, о котором я упоминал, обладает бесконечно большей силой и широтой охвата в тех движениях, которые являются ощущениями, нежели в движениях, остающихся просто движениями.

Вы, по-видимому, полагаете, что для развития *способностей*, которыми Кондильяк наделил орган своей статуи, ей необходимо уметь *останавливать* или *фиксировать свои движения*; и на том основании, что у статуи нет никакой возможности останавливать или фиксировать свои движения, вы делаете вывод, что у нее нет и никакой возможности приобрести те способности, которые приписывает ей Кондильяк.

Ни этот вывод, ни принцип, из которого вы его выводите, не кажутся мне верными. Мы сами на протяжении всего развития наших интеллектуальных способностей далеко не всегда распоряжаемся своими ощущениями и вызывающими их движениями; мы вовсе не вызываем их, не останавливаем и не устраним по своему произволу - до этого весьма далеко. Однако это нам и не требуется: мы и без того обладаем и умственными способностями, и возможностью ими пользоваться.

Чтобы удерживать в уме какую-либо идею, чтобы зафиксировать ее, мне вовсе не нужно останавливать ее по своей воле; для этого достаточно, чтобы она остановилась сама по себе; а это случается очень часто. Пока она остается неподвижной, я фиксирую её или могу её зафиксировать, то есть рассмотреть. Точно так же, чтобы вспомнить какой-либо предмет, чтобы удержать его в памяти, мне вовсе не обязательно распоряжаться этим воспоминанием по своему усмотрению: само припоминание никогда не бывает абсолютно произвольным; иногда оно приходит, когда я ищу его, а иногда - когда вовсе не ищу. Внутренние движения органов нашей чувственности и наших интеллектуальных способностей часто пробуждаются и затихают без нашего участия; по-видимому, таинственные законы этих движений во многом зависят от определенных связей между самими этими движениями, а также от связи этих движений с определенным устройством тех частей органов, в которых они происходят. Но все эти законы известны нам так же мало, как и вечная незримая рука, которая их установила. Они существуют - вот и всё, что нам дано знать; и Кондильяку не потребовалось ничего большего, чтобы сделать все свои гипотезы обоснованными, точными и философскими; он не предполагал в органе статуи ничего иного, кроме того, что происходит в органах человека.

Память, утверждаете вы, предполагает, что идеи или ощущения привязываются к знакам, которые их фиксируют. Нет: знаки делают память более зависимой от нас и более независимой от всего остального, но память существует до знаков и без них. Для существования памяти достаточно, чтобы мы вспоминали предметы, которые уже видели, или идеи, которые у нас уже были. Так вот, это припоминание может происходить, и зачастую происходит, благодаря самым произвольным движениям мозга; при этом иногда совершаются не только разрозненные движения, но и движения, связанные между собой, а следовательно, возникают связи между предметами и идеями.

Память об идеях, поддерживаемая знаками, к которым эти идеи были привязаны, - это искусственная память; но существует и природная память, без которой искусственная никогда не была бы создана. Кондильяк наделил статую лишь природной памятью.

Этот метафизик определил желание как **НАПРАВЛЕННОСТЬ НАШИХ СПОСОБНОСТЕЙ К ПРЕДМЕТУ**. Как же в таком случае, спрашиваете вы, он предполагает наличие желания у статуи, возможности которой пока ограничены лишь работой органа обоняния, не позволяющего ей познать ни один внешний предмет? Всё это довольно просто, и я удивлен, что этот вопрос ставит вас в тупик.

Кондильяк определил ЖЕЛАНИЕ таким, каким оно проявляется у человека, знающего предметы, которые он желает. Орган обоняния статуи не знает предметов, но он знает полученные им ощущения; и когда они были приятными, именно к ним он и устремляется. Мы сами желаем одновременно и приятных ощущений, и предметов, которые их вызывают; статуя же желает только ощущений - на этом она и останавливается; для неё; за этим пределом ничего нет. Но там, где она останавливается, уже существует ЖЕЛАНИЕ.

Последние труды Кондильяка кажутся вам более аналитичными, чем первые; я полагаю, что все они в высшей степени таковы, однако несомненно, что в поздних работах анализ гораздо более совершенен. Этот факт позволяет сделать наблюдение, показывающее нам, насколько добротная метафизика полезна для ума; насколько она способна не только постоянно расширять наши познания, но и совершенствовать сам инструмент, с помощью которого мы их обретаем. Уже в своем первом сочинении по метафизике, которое не было свободно ни от ошибок, ни от недостатков, Кондильяк, тем не менее, проявил себя как лучший метафизик столетия. Ход его мысли был более верным, чем ход мысли наших самых прославленных философов. Какую бы тему он ни затрагивал в этом первом труде и в последующих, все они по сути имели целью глубокое изучение способностей, благодаря которым человек мыслит, а их конечной задачей было совершенствование анализа и метода. Именно поэтому его анализ становится всё более точным, а труды - всё более ясными. Последний из них всегда оказывается лучшим, хотя я и не говорю «самым важным». Почти у всех людей ум наиболее ярко сияет в молодости, достигает зрелости в пору расцвета сил и клонится к упадку вместе с годами и самой жизнью. Разум же Кондильяка непрестанно обретает всё большую уверенность, ясность и широту: в старости он крепнет еще сильнее, чем в промежуток времени от юности до зрелости. Почти в семьдесят лет он воплощал в жизнь замыслы, полное завершение которых изменило бы облик философии. Этот столь скромный человек не был высокого мнения о собственном гении, однако он был убежден, что его метод превосходит умы самых возвышенных гениев. В своей «Логике», как и в труде «Язык исчислений», он неизменно занимает подобающее ему место - место судьи над веками, талантами и науками. Поэтическая и геометрическая гордыня, равно как и ораторское величие, были этим оскорблены; но Кондильяк, без сомнения, считал полезным спровоцировать между метафизическими дарованиями и всеми прочими способностями спор, судьями в котором станут народы и грядущие века.

Дюамель. У животных есть все органы чувств, и всё же они не идут ни в какое сравнение со статуей Кондильяка.

Гара. Вспоминаем ли мы впечатления, полученные от одного чувства, или же впечатления от всех чувств сразу - это не имеет значения; в обоих случаях это воспоминание остается памятью. Вы, по-видимому, полагаете, что, говоря о познании, следует вести речь не о познании наших ощущений, а о познании самих предметов. Гражданин, это еще одна мысль, которая совершенно не согласуется с истинной метафизикой. Предметы известны нам лишь благодаря нашим ощущениям; мы познаем только те самые ощущения, которые от них получаем. Таким образом, познавать предметы или познавать ощущения, которые они нам дают, - это, по сути, одно и то же; разница лишь в словах.

Дюамель. Гражданин, я утверждал, что при нынешнем состоянии наших способностей для возникновения желания необходимо обладать знанием о предмете.

Гара. Да, при нынешнем состоянии наших способностей, но не при состоянии способностей статуи, ограниченной пока лишь обонянием. Для неё объектом желания являются вовсе не приятные предметы, которых она не знает, а приятные ощущения, которые ей знакомы. Предметы - то есть тела, то есть то, что не является нами и что воздействует на нас, - внешний мир, возможно, открывается нам самим лишь благодаря одному-единственному чувству: осязанию. Тем не менее, все остальные чувства также дают нам ощущения, которых мы жаждем: находясь у груди матери, младенец желает молока, которое его питает, еще не зная ни самого молока, ни материнской груди... Но давайте закончим эту беседу, и так уже затянувшуюся; эти вопросы относятся к другим частям данного курса.

Фрагменты из книги Исторические мемуары о жизни г-на Сюара, о его сочинениях и о XVIII веке (1820).

Религия, материализм и кружок Гольбаха

При Людовике XIV гениальные книги и светские беседы дали вере новые опоры, не позволяя разуму слишком уж сомневаться. Безбожие казалось побежденным, но оно было лишь усмирено и вынуждено молчать; а те, кто безоговорочно принимал всё евангельское христианство, подвергались яростным преследованиям за то, что не могли обнаружить в нем всех католических догматов - давали дерзким умам поводы или предлоги для того, чтобы и впрямь покончить со всеми сомнениями, но лишь путем полного отречения от веры. Разум таких людей, как Паскаль и Боссюэ, столь смиренно покорный вере во всей её полноте, и все силы их логики и красноречия, направленные на то, чтобы подчинить ей разум человеческий, сулили также опасную, но ослепительную славу тем, кто первым дерзнул бы талантливо оспорить то, что эти выдающиеся гении обожали и защищали. «Послание к Урании», обращенное к вполне реальной маркизе, вскоре оказалось в памяти и на устах у всех женщин и мужчин, которые жили и дышали в светском обществе идеями независимости мысли. Это послание было скорее боевым кличем, нежели самой битвой; но как только война была объявлена подобным манифестом, её пришлось поддерживать настоящими сражениями.

И они завязались повсюду. Сквозь мрак столетий ученость надеялась подобраться к колыбели христианства, чтобы застичнуть его в момент зарождения и слабости. Этот слишком тусклый факел истории в руках философии, взывавшей скорее к разуму, чем к эрудиции, бросал на Евангелия лишь погробальный свет.

Число тех, кто окончательно переставал верить было пугающим. Не находя более в почитаемых традициях никакой незыблемой точки опоры, которая могла бы их удержать или сплотить, они, порвав с общепринятой верой, вскоре начинали отдаляться и друг от друга. Они оказывались на разном расстоянии от прежних убеждений, не в силах нигде положить предел своему отступничеству.

Одни, всё еще глубоко тронутые святостью Евангелий, продолжали видеть божественное начало в учении Иисуса Христа, но считали нечестием видеть Бога в сыне Марии. Другие, закрыв все Библии, желали искать Творца лишь в самом творении, а мораль - лишь в самых нежных и возвышенных чувствах человеческого сердца; они отворачивались от всех алтарей и священников, чтобы поклоняться Богу лишь в собственной душе и своими добродетелями. Иные же, не зная ни узды, ни страха и полагая, что в одном только слове «Бог» заключено всё безумие нетерпимости и всё неистовство фанатизма, наделяли материю свойствами движения и мысли, равно как и свойством протяженности. Они почитали её порядок и её беспорядок столь же необходимыми, как и само её существование, и требовали, чтобы её изучали с помощью наблюдений и постигали через опыт; они хотели, чтобы человеческий гений, вместо того чтобы коленопреклоненно возносить молитвы её могуществу, сам овладел этой силой и распоряжался ею.

Эти толкования природы, зародившись в светских беседах, возвращаются в них, став еще более опасными благодаря таланту авторов написанных книг. Но напрасно они пытаются прикрыться авторитетом шведского метафизика, поддерживая мнение, будто даже в самых грубых элементах материи таится скрытая чувствительность, которая развивается лишь в удачно сложившихся организмах; напрасно их красноречиво излагают от имени того слепца, Сондерсона, который разложил на части и объяснил солнечный свет. Эти учения приносят в мир и в глубины человеческих душ скорее ужас, нежели сомнения. Вселенная, превращенная в нечто вечное, не способна заменить роду человеческому того Отца, которого он чаёт обрести за пределами бранных миров. Сами же ученые проповедники этих мертвенных догм кажутся столь же глухими, как и материя, и еще более слепыми, чем Сондерсон.

Два философа восемнадцатого столетия, обладавшие величайшим даром покорять умы и волновать сердца, почти одновременно возвысили голос в защиту дела Божьего, на которое нападали во имя самой морали и человеколюбия. Руссо, довольный плодами своих трудов так же, как Бог - своим творением, полагал, что Европа обязана воздвигнуть статуи автору «Исповеди веры савойского викария». Франция воздвигает такой памятник автору «Принципа действия» и поэмы «Закон естественный»; и просвещенные, религиозные души, без сомнения, отдали бы свои голоса за то, чтобы воздвигнуть статуи им обоим по обе стороны алтаря, посвященного Богу, явленному природой нашему разуму и совести.

Хотя в нашем отечестве эти столь новые теории о правительствах, религиях и всех основах общественного устройства были еще очень далеки от какой-либо возможности практического применения, они настраивали народы на принятие порядков, слишком противоположных тем, что господствовали тогда, чтобы занять их место без революции. Люди страшились вступать и продвигаться по дорогам, на которых не было видно никаких следов былых веков; этот ужас часто охватывал даже тех, чья просвещенность более всего способствовала самим нововведениям.

«Лишь времени, - говорил д'Аламбер, - дано определить цель, природу и пределы этой революции, чьи недостатки и преимущества наши потомки осознают лучше, чем мы». В другом месте, почти двадцать лет спустя, д'Аламбер заметил: *«Напрасно добродетельный человек стремится творить благо, если ему недостает того просвещенного терпения, которое позволяет дожидаться нужного часа. Имея самые похвальные намерения, можно навредить истине двояко: либо подменяя её заблуждениями, либо спеша явить её миру преждевременно».* Это правило требует от философа самой трудной жертвы - отказа от славы; из-за него его осторожность могут принять за малодушие; оно указывает на две величайшие опасности для философии. Господин Сюар, писавший гораздо меньше д'Аламбера, имел и меньше преград, которых следовало избегать; однако и для себя, и для тех более плодovitых авторов, что обращались к нему за советом, он обладал в гораздо большей степени, чем д'Аламбер, тем даром гения и мудрости, который позволяет безошибочно распознать и уловить тот самый миг, когда истина удостоится от народов и их правителей скорее почтения, нежели оскорблений.

Стоит лишь немного вникнуть в этот исторический очерк бесед, охватывающий четыре или пять столетий, как можно заметить, что при переходе от одного века к другому множество обстоятельств одновременно готовят разуму и свет, и тьму, и помощь, и препятствия. Именно это требует среди нашего просвещения - или, вернее, нашей тьмы - всей той осторожности, которая является не слабостью разума, а его высшим совершенством.

Именно в то время, когда господин Сюар был наиболее замечен, когда к нему прислушивались и когда его более всего любили в свете, на конкурсе одной из наших академий или академий Германии был предложен вопрос: всегда ли полезно и должно ли всегда дозволено публиковать любые истины. Господин Сюар испещрил поля этого премированного сочинения заметками, которые, будучи собраны и приведены в систему, составили бы труд, вероятно, во многом превосходящий все представленные на конкурс работы. Он одолжил его мне, и именно я потерял его, передав, в свою очередь, кому-то еще. Текст сочинения и заметки не всегда противоречили друг другу; эти примечания неизменно служили самым удачным развитием той максимы Д'Аламбера, что достойна быть высеченной на фронтоне храма Истины.

Все последующие воспоминания о господине Сюаре представят примеры и доказательства того, как неизменно он следовал этой максиме на практике в общении с друзьями, которые, казалось, либо не знали о ней, либо презирали её. Они также покажут, какой силой он обладал, чтобы усмирять - или хотя бы сдерживать - ту опрометчивость, что так часто подменяет одни заблуждения другими и превращает саму истину скорее в пылающий факел страстей, нежели в чистый свет разума.

Эти споры, сохранявшие всю вежливость и изящество бесед светского общества, которое повсюду ищет лишь удовольствий, велись везде, где могли собраться люди мало-мальски образованные. Однако ту значимость, которую они в итоге обрели, подобные дискуссии могли получить лишь в салонах и на торжественных обедах, где столь редкое сочетание богатства и

философии объединяли людей разных сословий, умы и таланты, которые сосредоточили в себе почти всё интеллектуальное сияние Европы.

В ту пору в Париже жил человек, чье имя никогда не появлялось на фронтиписах книг и редко произносилось вне его узкого круга. Обладая состоянием и титулом немецкого происхождения, он содержал дом, который напоминал целый Институт еще в те времена, когда существовали лишь отдельные академии. Самые выдающиеся деятели всех столичных академий составляли его общество и были постоянными гостями за его столом. О чем бы ни заходила речь - о лингвистике, античности или физике, - его самого можно было принять за члена любой из этих академий, хотя он не принадлежал ни к одной из них и не стремился к этому. Он жадно поглощал всё, что выходило из типографий разных стран, а его феноменальная память удерживала всё, кроме того, что он сам предпочитал забыть. Сенека, будучи человеком гениальным и богатым, заказывал и дорого оплачивал краткие извлечения из трудов, которые не успевал прочесть сам; этот же философ, соотечественник Лейбница, лично изучал книги, которые требовались Бюффону или Дидро. И стоило ему пересказать им их содержание, как те проникались уверенностью, что знают эти труды лучше, чем если бы прочитали их сами.

Как раз в то время, когда он закончил перечитывать трактат «О духе законов», он по памяти представил такой подробный анализ этого труда, ни в чем не нарушив ни порядок книг, ни последовательность глав или идей, что слушатели, внимавшие ему без малейшей усталости, не колеблясь признали этот разбор превосходящим тот, что представил д'Аламбер. Бэкон, как известно, утверждал, что поверхностное изучение и знание природы могут привести к атеизму, тогда как глубокое изучение и познание возвращают к Божественному; и именно в этом афоризме Бэкон в наибольшей степени проявляет себя как истинный глашатай природы.

Совсем иначе обстояло дело с этим немецким философом, ставшим французом. Будучи долгое время почитателем Бога, Которого он видел в законах и порядке Вселенной, он проявлял к тем, кого любил, но кто не разделял его веры, поистине миссионерское рвение. Он преследовал безверие Дидро даже в тех мастерских, где издатель «Энциклопедии», окруженный станками и рабочими, подбирал для своего великого словаря чертежи всех ручных ремесел; и, черпая свои доводы в устройстве самих этих машин, в которых сияет, хоть и скрытый от глаз, разум, столь изобретательный в своих творениях, он спрашивал его: неужели тот может сомневаться в том, что и они были задуманы и созданы неким высшим разумом? Это сопоставление было разительным, и оно не поражало, однако, ни разум, ни сердце Дидро. Друг Дидро, обливаясь слезами, падает к его ногам. О святом Павле, сброшенном с коня, на котором он преследовал христиан, говорили: «Падает гонитель, а восстает апостол»; здесь же случилось прямо противоположное: тот, кто опустился на колени деистом, поднялся атеистом. Он не только не вызволил Дидро из этой бездонной и безнадежной пропасти безверия, но и сам был увлечен им в эту пучину.

Этот столь пылкий и естественный для деизма дух прозелитизма **барон д'Гольбах** - чье имя мне позволено здесь назвать, ибо скрывать его сегодня значило бы лишь обходить молчанием очевидное, - перенес в область атеизма, которому всякое рвение должно быть совершенно чуждо, поскольку тот отрекается от всякой надежды на бессмертие. Дидро писал лишь фрагменты, отдельные страницы или краткие заметки в пользу тех учений, которые Жан-Жак находил столь безотрадными. Под пером же барона д'Гольбаха множились целые тома, призванные обосновать и распространить их; его кружок стал своего рода открытой кафедрой, где наставники сменяли друг друга, чтобы подкрепить доказательства этой доктрины. Аббат Галляни, великий мастер импровизации, в один день мог красноречиво выступать за Бога, а на следующий - против Него. Таким образом, там выслушивали и доводы «за», и доводы «против»; следовательно, проповедуя терпимость, и сами они не проявляли большой нетерпимости. Господин Сюар, состоявший в тесной дружбе с бароном еще до того, как тот радикально изменил свои богословские взгляды, всегда оставался им любим, хотя и оспаривал эти взгляды, опираясь на принципы Кларка и Ньютона, которых придерживался сам. То было

время, когда они выказывали друг другу знаки самого полного доверия и самой преданной дружбы.

Автор «Системы природы» и «Всеобщей морали» в редкой степени владел искусством придавать идеям точность и ясность с помощью анализа, но почти не обладал талантом пробуждать к ним интерес за счет красоты слога или стилистических ухищрений. Мысли требуют лишь того, чтобы их распутали и определили, направили и привели в порядок; в этом и заключается задача анализа. Однако все великие стилистические достоинства рождаются в воображении и в душе; ими невозможно управлять так же просто, они не подчиняются приказам - напротив, они сами повелевают автором и увлекают его за собой. Анализ может служить инструментом любому уму, красноречие же - это дар лишь немногих душ. Тот, кто владеет одним лишь анализом, может нагнать больше скуки, чем пролить света; тот же, кто наделен лишь красноречием, пользуется им наобум и слишком часто - вопреки истине. Лишь из союза этих двух сил рождаются великие писатели и великие люди.

Первая из этих сил была далеко не совершенна у барона Гольбаха; вторая же не была ему совершенно чужда, однако из-за первой вторая неизменно казалась скучной. Его самые близкие друзья, и даже сам Дидро, находили его столь трудным для чтения, что Дидро, как известно, настойчиво убеждал одного молодого писателя, чей дебют обещал большой талант, посвятить свои силы тому, чтобы облечь в иной стиль «Всеобщую мораль» и «Всеобщее законодательство» - две лучшие работы барона и единственные, в которых атеизм скрыт и не выставляется напоказ.

Даже ради того, чтобы снискать такую же славу у читателей, как Вольтер или Руссо, барон Гольбах не пожелал бы пользоваться тем красноречием, что покоряет умы, будоража воображение. Его метод, оставлявший чувства спокойными и холодными, был, так сказать, частью его собственной морали. Однако сперва Вовенарг, а затем еще более убедительно господин Сюар указывали у некоторых наших писателей - и прежде всего у Лабрюйера - на иное искусство и иные секреты стиля, отличные от того трибунного или церковного красноречия, которое стремится скорее завладеть душами, нежели просветить и направить умы, и слишком часто подчиняет разум страстям, а не страсти разуму.

В самом деле, истине нечего бояться, и она может рассчитывать на не одну победу благодаря искусству Лабрюйера, которое, хоть и в ином качестве, было присуще также и Фонтенелю. На этот счет была создана целая теория. Это искусство заключается то в том, чтобы скрывать часть своей мысли, делая одновременно и то, что предлагается угадать, и то, что высказывается прямо, более острым или весомым; то в том, чтобы вызвать то изумление, которое неизменно порождает сама логика, когда она заставляет вас обнаружить, что вещь, казавшаяся предельно простой, на деле сложна, а та, что считалась сложной - проста. Это своего рода завязка и развязка, которые придают самому точному рассуждению живость комедийного действия. Иногда оно состоит в том, чтобы нарушить видимый, естественный и ожидаемый порядок мыслей, внезапно введя в ткань ровного и скромного слога возвышенную идею, которая, кажется, разрывает все нити этого повествования, но на самом деле лишь теснее связывает и сплачивает воедино все мысли, охватывая их широтой одного-единственного выражения. Наконец, в других случаях оно придает вид несколько вызывающего парадокса истине, которую можно строго доказать, или же наделяет истину, подтвержденную всеобщим опытом, тоном и энергией тех внезапных озарений, что посещают гения неведомо откуда и с высоты его величия нисходят все умы, вовлекая их в непрестанно ускоряющееся движение.

Бюффон и Дидро, которых часто критиковали, но читали еще больше, как нельзя лучше подходили на роль наставников барона Гольбаха; они могли служить образцами того искусства, что позволяет украшать, оживлять и преобразовать философский слог, не лишая его при этом ни капли точности. Однако в данном случае речь шла скорее о вкусе, нежели о подлинном гении; и барон нашел человека, в чьих советах он так нуждался, в лице господина Сюара. Последний, работая лишь над небольшими очерками, отделял их с особой тщательностью;

изучая и оценивая всех великих писателей, он не пытался занять место в их ряду ценой изнурительного труда над масштабными сочинениями, и потому знал все способы нравиться публике тем лучше, что сам не был рабом ни одного из творческих стилей.

Но чтобы по-настоящему указать барону на то мастерство, которого ему недоставало, нужно было слушать, как тот читает свои труды. Главы у автора были длинными, а голос чтеца - монотонным. Чем больше усилий прилагал господин Сюар, чтобы не уснуть, тем заметнее они становились; и вскоре то, что и так было вполне очевидным, стало еще и слышным: его сон выдал себя звуком. Гораздо легче ценить критику, из которой можно извлечь пользу, нежели простить сон, который унижает, не принося при этом никакого просвещения; барон Гольбах, однако, всегда улыбался в эти столь часто повторявшиеся мгновения; казалось, он находился рядом лишь для того, чтобы оберегать сон своего друга.

Его дружба с каждым днем становилась всё более пылкой; он искал случая проявить великодушие. Ему показалось, что такой случай представился, и он поспешил им воспользоваться. У господина Сюара уже некоторое время на лице отражалась меланхолия, причина которой крылась в его душе, но барон приписал её той нужде, что вечно преследует литераторов, не склонных к упорному труду и еще более разоряющихся из-за блеска высшего света. Однажды господин Сюар видит, как в его комнату входит барон Гольбах с видом человека, который хочет что-то предложить, но не решается. Он шадит не только деликатность своего друга - ему и самому стоит большого труда преодолеть собственную застенчивость. Наконец, пришлось заговорить. Он умоляет друга принять десять тысяч франков, которые принес с собой; он уверяет, что ничуть в них не нуждается и не находит им иного полезного или приятного применения. Господин Сюар в ответ заявляет, что и ему они не нужны, но не может в этом убедить барона. Предложение и отказ, высказанные и повторенные по нескольку раз с одинаковым волнением с обеих сторон, привели к тому, что лишь некое соглашение могло положить конец спору. Господин Сюар почти доверительно поведал ему о причинах своей печали, и берет на себя обязательство: если эта сумма когда-либо ему понадобится, он в тот же миг напишет: «пришлите мне мои десять тысяч франков».

Этот благородный спор двух друзей оставался их тайной; и если мы предаем его огласке здесь, то не для того, чтобы прославить само предложение или отказ - поступки менее редкие, чем полагают, в отношениях между людьми богатыми и людьми талантливыми. Мы делаем это, чтобы открыть истинную суть философии и философов тем, кто из партера или лож всё еще готов рукоплескать стихам, достойным Аристофана, готовящего цикуту для Сократа:

«...Что до меня, я их подозреваю в том,

Что любят человечество они, лишь чтоб не любить никого в отдельности».

Гельвеций и судьба «Об уме»

Отношения господина Сюара с **Гельвецием** и всем его семейством были еще более тесными, а успех книги «Об уме» поначалу был столь шумным, что его отблеск неминуемо пал и на молодого человека, столь близкого к автору. Полезнее же всего для господина Сюара была возможность наблюдать вблизи как причины столь стремительного успеха этого пространного сочинения о морали и метафизике, так и те обстоятельства, которые в самый миг триумфа Гельвеция уже готовили ему суровых и непреклонных судей в лице тех самых людей, чье мнение считалось наиболее авторитетным в обществе. Эта часть нашей литературной истории всегда оставалась в достаточной мере тайной, хотя эта тайна скрывает в себе скорее величие, нежели слабости тех, кто в неё был посвящен.

Ничто так не способствует первому успеху книги, как поднятый ею шум; и, помимо всех реальных достоинств этого обширного труда, его тема была именно той, которую французские читатели знают и любят лучше всего. Его название сближало его с «Духом законов», чья слава росла медленно, но неуклонно. Парадокс о природном равенстве умов льстил любому тщеславию и задевал любую гордыню. Наслаждения и, в особенности, любовь, возведенные в

принцип великих талантов и великих добродетелей; неизменная ясность слога, который с помощью образов и коротких рассказов сокращал утомительные пути рассуждений - всё, казалось, делало книгу «О духе» (прим.: De l'esprit, у нас переводится, как «Об уме», но Гара явно пытается связать это название с книгой Монтескье, дальше я буду использовать классическое название) книгой всей Франции. И когда ей начали грозить преследования, крупнейшие писатели нации заговорили о ней как о новом поводе для гордости литературной Франции.

Вольтер писал Гельвецию: *«Ваша книга продиктована здравым смыслом. Уезжайте скорее, покиньте Францию»*. Жан-Жак, который писал уже для того, чтобы почтить Гельвеция и в то же время сразиться с ним, прекратил писать, и бросил в огонь уже написанное. Издатели и авторы «Энциклопедии» были готовы в любой момент прервать свою работу; все талантливые люди сплотились вокруг Гельвеция и выступили с ним единым фронтом. Можно, однако, полагать, что правительство, бывшее тогда почти столь же мягким, сколь и абсолютным, лишь на мгновение пригрозило автору книги «Об уме» суровыми мерами только ради того, чтобы оградить его от куда более подлинной ярости лицемеров и фанатиков. И когда Гельвеций, во все не торопясь, покинул Францию, двери её остались для него открыты на случай, если бы он пожелал вернуться, собрав перед этим по всей Европе знаки почтения от народов и просвещенных дворов.

Вернувшись на родину, к семье и к блестящей жизни, которую обеспечивало ему состояние, Гельвеций вновь обрел всех своих друзей, но не прежнюю славу; причём именно друзья более всех поубавили её блеск, сделав само право на неё почти сомнительным. Принимая в поместье Лез-Делис всех знаменитых иностранцев, ехавших во Францию или возвращавшихся из неё - а все они в ту пору только и обсуждали книгу «Об уме», - Вольтер со своей привычной грацией хвалил ясность и изящество её слога, но тут же переходил к уничтожающей критике; он находил НАЗВАНИЕ СОМНИТЕЛЬНЫМ, ТРУД - ЛИШЕННЫМ МЕТОДА, видел в нем МНОЖЕСТВО ВЕЩЕЙ БАНАЛЬНЫХ ИЛИ ПОВЕРХНОСТНЫХ, А ВСЕ НОВОЕ - ЛОЖНЫМ ИЛИ СПОРНЫМ. Жан-Жак нападал на все принципы книги «О духе» в своем «Эмиле»; и если его собственные взгляды были верны, то вся философия Гельвеция оказывалась либо воздвигнутой на пустом месте, либо построенной над бездной.

Из двух издателей «Энциклопедии» один, д'Аламбер, будучи более защищен от превратностей славы в силу своих занятий точными науками, где книгам не суждены роковые удары судьбы, отпускал по поводу сочинения «Об уме», напечатанного форматом в четверку (in-quarto), скорее шутки, нежели критические замечания. *«Гельвеций, - говорил он, - измеряющий всё чувствами, верит в бессмертие труда лишь тогда, когда тот издан форматом in-quarto; однако, если бы его книга вышла лишь форматом в восьмушку (in-octavo), она благодаря всем своим историям снискала бы ту же популярность и то же долголетие»*. Другой же, Дидро, судя о метафизическом труде как метафизик, говорил: *«Всё в этой книге вращается вокруг четырех парадоксов; при этом оба признака истины - доказательство и очевидность - отсутствуют во всех четырех. Тот, кто усматривает основы справедливости лишь в общественных соглашениях, слишком опасен, чтобы не быть неправым; а тот, кто наделяет всех людей со здравым устройством организма равной долей природного ума, - в устах Гельвеция звучит слишком щедро и слишком явно опровергается всем опытом воспитания и историей народов. Идеи автора ясны, но лишь потому, что они почти всегда остаются на поверхности предметов. Даже если бы эти четыре парадокса оказались истиной, книга «Об уме», нападающая на «О духе законов», всё равно была бы не более чем предисловием к ней»*. Дидро добавлял: *«В его методе слишком много методичности; нужны пути, но они должны быть широкими дорогами, а не узкими линиями»*.

Кондильяк, находившийся в то время в Парме, поддавшись уговорам своих парижских корреспондентов, засыпавших его вопросами о книге «Об уме», не говорил о самом труде ни слова, хотя и отзывался об авторе с величайшим почтением. Доброжелательность и злопыхательство часто оказывают писателям одни и те же услуги: и та, и другое поспешили донести до Гельвеция эти суждения, скрывая от него мотивы критиков, но не утаивая их имен. Добро при этом было сделано лишь наполовину, тогда как зло - в полной мере.

Будучи влюбленным в славу и ныне встревоженным в своем упоении ею, оставаясь при этом еще более страстным приверженцем истины и опасавшийся, что неверно понял и омрачил её за пятнадцать лет трудов, призванных стяжать ей всеобщее признание, автор книги «Об уме», которую читала вся Европа, был скорее несчастен, чем знаменит; эти критические отзывы, переданные в общих чертах, мало что ему разъясняли, но глубоко его печалили. Чтобы судить о них по достоинству, необходимо было знать стоящие за ними мотивы. Он охотно собрал бы всех своих судей вокруг себя, в своих поместьях в Воре или в парижском салоне. Он был наделен тем самым долготерпением, в котором Бюффон видел само определение гения. Подобная встреча была возможна лишь отчасти, и он счел почти равноценным обратиться к одному из литераторов, человеку большого ума и вкуса, который, вращаясь в их обществе и меньше их публикуясь, обладал при этом не меньшими познаниями и меньшей страстностью, а потому слышал их суждения каждый день. Его выбор пал на господина Сюара.

Одно обстоятельство, о котором сохранилось мало свидетельств, хотя в своё время оно наделало немало шума, делало этот выбор ещё более лестным для них обоих.

В дружбе и жизни, столь братских, как у господина Сюара и аббата Арно, всё неразрывно связано или, по крайней мере, кажется таковым. В то время, когда книга «Об уме» начала широко расходиться, аббат Арно выказал в неких блестяще написанных статьях свое инстинктивное отвращение к той логике и морали, что неизменно черпаются лишь в чувствах и человеческом разуме, но никогда - в источниках ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО РАЗУМА, ВЕЧНОГО ИНТЕЛЛЕКТА. Он преклонялся перед Платоном, и в этом усмотрели обличение Гельвеция. Над восторженным почтением аббата можно было бы и подшутить, однако окружающие не на шутку рассердились. Господин де Сен-Ламбер, казалось, поджидал его у дверей Французской академии, куда Арно вступал, поддержанный самыми почетными голосами, и при голосовании бросил ему черный шар. Впрочем, это не помешало аббату быть избранным и стать его коллегой. Ни Гельвецию, ни даже Сен-Ламберу и в голову не пришло ставить в вину господину Сюару то, что было написано столь близким ему человеком.

Никогда еще столь безграничное доверие не было более оправданным; впрочем, чтобы оправдать его, требовался немалый труд, и господин Сюар сумел превозмочь свою лень. Никто не слышал эти суждения чаще него и не мог изложить их точнее - а ведь именно в них так нуждались и философия, и слава Гельвеция, настойчиво требуя разъяснений. Сюар полагал, что автор не сможет в полной мере осознать и прочувствовать их, если передать их разрозненно, в том же виде, в каком он их слышал. Он связал их воедино, указав на их взаимосвязи, различия и противоречия, и в ходе целой череды встреч и бесед представил автору книги «Об уме» разбор и оценку его труда, составленные из всего того, что думали и говорили о нем лучшие философские умы восемнадцатого века. Этот анализ, призванный детально обосновать критические замечания, не имел ничего общего с разбором Сен-Ламбера, который везде, где он не является кратким и безупречным изложением сути, представляет собой либо апологию, либо панегирик. Еще сильнее он отличается от труда господина де Лагарпа - скорее сатиры, нежели анализа, в котором автор, постоянно сопоставляя Локка, Кондильяка и Гельвеция так, словно он изучил и понял всех троих, в каждой строке смехотворно заблуждается относительно приписываемых им взглядов.

Самый редкий успех, какой может выпасть на долю критического разбора, заключается, несомненно, в том, чтобы заставить автора произведения подвергнуть сомнению идеи, над которыми он размышлял пятнадцать лет и которые были словно освящены многочисленными рукоплесканиями. Господин Сюар одержал над Гельвецием именно такую победу.

Выслушав его - не без душевной боли, но в молчании, - автор книги «Об уме» думал теперь лишь о том, как заново рассмотреть те же вопросы, чтобы затем отбросить их, изменить или более основательно изложить в своем новом труде.

Если бы он удалился от света, который уже не мог его радовать, и обратился бы исключительно к собственным уединенным мыслям, его прежние убеждения могли бы вернуться к нему как первые хозяева дома, чьи следы были стерты лишь наполовину. С другой стороны, исполненный самой искренней благодарности к господину Сюару, Гельвеций питал немалую

обиду на тех философов, которые, прежде числившиеся среди его первых почитателей, теперь первыми же начали всячески ограничивать и собственное уважение к нему, и уважение публики.

Господину Сюару хватило лишь нескольких замечаний о книге и об обстоятельствах, следовавших за ее публикацией, чтобы Гельвеций в глубине души почувствовал: в этом отношении ему следовало бы винить этих философов гораздо меньше, чем самого себя. И действительно, на протяжении пятнадцати лет раздумий и трудов Гельвеций со всеми ними постоянно общался; он жадно читал их произведения, выходившие из печати по мере того, как он работал над своим собственным трудом. От каждого из них он неизбежно получал и повод для благородного соперничества, и помощь, и новые идеи; однако имена этих предшественников, открывших и проторивших для него не одну дорогу, либо вовсе не упоминались в книге «Об уме», либо сопровождались такими похвалами, которые даже при самом малом самолюбии любой предпочел бы простому молчанию.

Ни Кондильяк - его наставник в гораздо большей степени, чем Локк, - ни Вовенарг, который в своем небольшом труде (оставшемся из-за смерти автора скорее незавершенным, чем несовершенным) рассматривал тот же предмет в тех же двух разделах: о познании и о морали, - не удостоились у Гельвеция ни славного, ни даже просто достойного упоминания. «Энциклопедия» и два ее издателя, чьи столь частые дискуссии о природе, методах и прогрессе человеческого разума заставляли трепетать все умы - от восторга или от ужаса, - также не были ярко представлены в книге, от которой они могли бы потребовать возврата столь многого, что автор лишился бы целого вороха своих лучших страниц. При чтении книги «Об уме» легко было догадаться, что «О духе законов», становящийся с каждым днем настольной книгой всей Европы, не был в почете у Гельвеция, и что в будущем он выскажет о нем больше легкомысленных придиорок, чем искренних похвал. Учения и красноречие Руссо, с которыми было столь необходимо бороться и которыми было столь справедливо восхищаться, были отброшены им как пустые разглагольствования. Наконец, можно было бы подумать, что за те десять лет, что длились замысел и написание книги «Об уме», для человеческого разума не было создано ничего достойного внимания во Франции, или же что Гельвеций, столь щедро делившийся своим состоянием с бедными литераторами, подтверждал собственным примером истинность одного из самых изящных стихов Лафонтена:

Золотом можно делиться, но не похвалой.

Поэтому Дидро сполна взял здесь реванш. *«Десятью годами ранее, - говорил он, - этот труд был бы совершенно новым; но сегодня философская мысль шагнула так далеко вперед, что в нем почти невозможно найти ничего свежего».* Эти десять лет были как раз тем временем, когда вышли в свет труды, о которых в книге «Об уме» говорилось либо слишком мало, либо слишком плохо. Но куда более серьезным проступком, чем все эти умолчания, была та манера, в которой Гельвеций счел нужным отдать дань славе Вольтера - славе, зиждившейся уже тогда как на его прекраснейших творениях во всех жанрах, так и на долгой череде почестей и триумфов.

Если какой-либо гений и мог быть универсальным, то это, несомненно, гений Вольтера; однако Гельвеций возвел в общее правило, не знающее исключений, что верный способ оканзаться посредственным во всех жанрах - это стремиться овладеть ими всеми. И хотя Вольтер достиг высочайшего превосходства в тех областях, которые лишь ему удалось объединить, у него можно было оспорить титул универсального гения; но оспаривать его приходилось лишь у него одного. Таким образом, удар был нанесен именно по нему. Даже если рука, пустившая эту стрелу, изначально не целилась в него, такое направление ей наверняка придали бы господа Мариво, Трюбле и многие другие, еще более внушительные особы, которые признавали за Вольтером лишь *совершенство посредственности*.

В ином месте, рассуждая о новых красотах, привнесенных в трагедию со времен Корнеля, Гельвеций признавал за Расином больше изящества, за Кребийоном - больше страсти, а за Вольтером - лишь больше зрелищности и пышности; это заслуги скорее машиниста сцены и

декоратора, нежели поэта. Самые сильные выражения великих характеров он искал и находил в ныне забытом «Катилине» Кребийона, при этом даже не упоминая о «Спасенном Риме».

В конечном счете, он не оказал Вольтеру никакой иной почести, кроме как процитировав несколько его стихов. Он не отвел ему достойного места ни в эпической поэзии, ни на трагической сцене, ни в истории, ни среди того множества прозаических и стихотворных произведений, что составляют отраду вкуса и свет ума.

Какими же оскорбительными должны были казаться это молчание и подобные похвалы после того великолепного панегирика, который посвятил Вольтеру Вовенарг!

«Именно эта манера обходить молчанием или так хвалить лучших из ваших современников, - добавлял господин Сюар, обращаясь к Гельвецию, - уязвила их и удивила всех нас. Когда над вашей головой бушевали грозы, от них не было слышно ничего, кроме слов в вашу защиту и похвал; такую мораль нелегко объяснить одним лишь самолюбием или личной выгодой. Они позволили себе судить вас лишь тогда, когда преследования отступили; но и тогда в их правосудии не было ничего от мести. Они не выносили свои приговоры на публику, а высказывали их словно при закрытых дверях, смягчая критику щедрыми похвалами». Дидро, например, часто перечислял изъяны, которые он находил в трактате «Об уме», но никогда не заканчивал этот разбор без слов: *«И всё же эта книга займет свое место среди великих трудов века».*

Не признавая своей вины - которую он вполне мог и не ощущать, поскольку его промахи могли быть невольными, - Гельвеций, тем не менее, убедился, что те обиды, в которых он был готов упрекнуть друзей, не были реальными. Он понял, что именно в их кругу ему следует заново пересмотреть все свои идеи, чтобы подвергнуть их самым суровым испытаниям через их критику и возражения.

Таков был итог разъяснений, которых просил Гельвеций и которые представил ему господин Сюар.

Именно с этого времени начались самые тесные отношения Гельвеция со всеми людьми, составлявшими круг господина Сюара. Его видели там чаще, чем когда-либо; он привносил в это общество ту доброжелательность, которая была основой его характера, и ту простоту манер, что делала его столь дорогим для друзей. Туда же он приносил и свои новые труды. В то время он работал над книгой «О человеке»; едва ли в этом сочинении найдется хоть одна страница, которая не была бы прочитана в тех собраниях и не подверглась бы там самому суровому разбору - тем более строгому, что за него опасались новых преследований. Даже если он не отказывался от своих систем, за которые держался всеми силами своего ума, он, по крайней мере, извлекал пользу из всех сделанных ему замечаний, чтобы исправить свои идеи или сделать их изложение более ясным и точным.

Совсем иначе обстояло дело с другим другом господина Сюара, чье имя столь же знаменито, как и имя Гельвеция, но чей характер представлял собой разительный контраст с ним. Это был аббат Рейналь. Обладая пылкой душой и нетерпеливым воображением, он не искал истину в тишине и размышлении; он преследовал её шумно, призывал её во весь голос; он хотел заставить её восторжествовать силой своего красноречия и не боялся преувеличивать её, чтобы сделать более впечатляющей.

Рейналь и Гельвеций очень любили друг друга и часто встречались у господина Сюара, но понимали друг друга с трудом. Гельвеций, стремившийся свести всё к единому принципу, считал, что у Рейналя слишком много идей и недостаточно системы; Рейналь же, желавший всё охватить и всё одушевить, полагал, что у Гельвеция всего одна идея и что он иссушает её, стремясь чрезмерно её расширить. Во время своих охотничьих выездов в Воре он больше не придавал значения ничему, кроме того, что называл «охотой за идеями»; в Париже же его обеды стали более частыми, и на них собиралось всё больше гостей, обладавших тонким умом и взыскательным вкусом.

Однажды, когда его жена везла в своем экипаже иностранного принца, которого встретила во время утренней прогулки, тот, заметив в передних покоех длинный ряд разного рода чехлов для обуви, предназначенных для сохранения чистоты, воскликнул: «Боже мой, сколько

здесь галош!» — «Принц, - ответила ему мадам Гельвеций, - это обещает вам достойное общество». При этом следует помнить, что она была родственницей последней королевы Франции.

Это общество никогда не было для Гельвеция более ценным, чем в те моменты, когда самые суровые критики сочинения «Об уме» присутствовали там во множестве и во всеоружии. Тот, кто дает хороший обед, обычно легко направляет беседу; но Гельвеций не желал ни руководить ею, ни председательствовать; он хотел лишь дать ей зародиться. Он вбрасывал свои парадоксы, а когда беседа разгоралась, больше в неё не вмешивался. Он хранил молчание, желая сохранить то хладнокровие, которое столь необходимо, чтобы различать зачастую едва уловимые черты, отделяющие заблуждение от истины, и чтобы вспышки разума, какими бы обширными они ни были, никогда не принимались за свет подлинного анализа. В этом и заключалась его «охота за идеями» в Париже. Все гости извлекали из этих встреч пользу, но он - больше, чем все они вместе взятые; мысли, возникавшие со всех сторон, устремлялись к нему самым прямым путем; он обращал их все к своей цели, к своему новому труду. Так на охотах, устраиваемых принцами, загонщики направляют на них всю добычу - всё, что подстреливают в лёт или на бегу.

Застольные беседы лакедемонян и семи мудрецов Греции, которые Плутарх счел достойными того, чтобы сохранить их для потомков, не могли быть ни более интересными, ни более важными. Многие обеды Цицерона, Сенеки или обоих Плиниев носили тот же характер и не могли принадлежать к более высокому роду бесед. Трудно было бы с большим блеском обсуждать вопросы столь возвышенной философии или проливать на них больше света.

«В те дни, - пишет Сен-Ламбер, - его дом служил местом встреч для большинства достойнейших людей нации и многих иностранцев: принцы, министры, философы, вельможи, литераторы - все жаждали познакомиться с господином Гельвецием».

Надлежало бы литератору, который, подобно Фонтенелю, приближается к вековому рубежу своей жизни, тому кто в этих беседах в доме автора книги «Об уме» столь часто был и слушателем, и собеседником; тому, кто опубликовал об искусстве беседы вообще тот остроумный и философский очерк, в котором взгляды Свифта и его собственные настолько слились, что их невозможно различить; где это единение английского и французского ума дает столь совершенное чувство того, какую пользу и очарование принес бы всем народам их союз в любой области; именно господину аббату Морелле следовало бы поделиться с любителями словесности и философии всем тем, что сохранила его память об этих беседах вокруг одного великого труда, которые служили для создания другого. Именно он в своих воспоминаниях мог бы наглядно показать каждому, насколько живая беседа, приводящая мысли в движение подобно тому, как театр разжигает страсти, более благотворна для развития и уточнения идей, нежели бесконечный монолог множества томов. Именно он поведал бы нам, как в таких разговорах, не дожидаясь новых, всегда столь ненадежных изданий, за несколько минут сменяют и совершенствуют друг друга десятки вариантов одной и той же мысли. Именно господин аббат Морелле привел бы множество фактов и высказываний, характеризующих ум и вкус господина Сюара, его давнего друга и коллеги в течение более чем тридцати лет во Французской академии. Литератор, пишущий этот очерк, не располагает почти никакими сведениями, кроме тех, что получил от самого господина Сюара; а господин Сюар, ценивший дружбу выше славы, по своей скромности скрыл под плотной завесой многие подробности, касающиеся его самого.

Тем не менее, сохранились свидетельства, делающие честь проницательности, точности и тонкости его ума; их он передал во всех деталях, поскольку они имели непосредственное отношение к принципам искусства, которое он обожал, и к доводам разума, от которого он ожидал всех благ для человечества.

Спор Сюара с Гельвецием и Дидро

Несмотря на некоторую робость, которую не смогли до конца искоренить даже сорок лет славы на литературном поприще и в свете, дважды за один день он решил выйти на арену

спора: сначала против господина **Гельвеция**, а сразу за ним - против **Дидро**; эти два имени и два таланта вряд ли могли помочь ему побороть застенчивость. Господин Гельвеций говорил о магической силе изящных искусств, и в особенности музыки. Он пытался доказать, что при должном руководстве она могла бы дать воспитанию равную власть над всеми душами без исключения. В подтверждение своих слов он приводил пример того, как с помощью одной лишь флейты и барабана можно сделать любого солдата бесстрашным и создавать героев.

— Я не оспариваю, - заметил господин Сюар, - что движения, стремительные и быстрые, вызванные шумным и четким ритмом, ускоряют ток крови, биение сердца и шаг. Лимузенец, распиливающий камень, бросит работу на полпути и пойдет записываться в солдаты, едва слышав звуки барабана и флейты. Но он еще не стоит перед пушечными батареями: это порыв смелости, но еще не героическое бесстрашие. Барабаны и флейты заставляют храбрецов бежать навстречу победе или смерти, но сами по себе они их не создают. Ум любого солдата, возможно, даже в большей степени, чем ум других людей, полон сопутствующих идей и воспоминаний, которые связывают нынешние впечатления с прошлыми. Именно славные воспоминания, связанные с сигналом к атаке, превращают его в музыку гренадеров. Когда сигнал к атаке прозвучал впервые, никто не мог знать, что он означает и к чему призывает своим неистовым ритмом; но как только он пару раз увлек солдат к победе или славной смерти, этот язык флейт и барабанов стал куда понятнее и энергичнее слов «Бросайтесь на врага!»; и с тех пор его уже нельзя было слышать, не исполнившись желания победить или умереть.

— Но, - возразил господин Гельвеций, - если вы не признаете столь прямого и мгновенного воздействия ритма барабана и звуков флейты, по меньшей мере вы не станете сомневаться в силе стихов Тиртея, которые были достаточно могущественны, чтобы вернуть спартанским воинам всё их угасшее мужество.

— Это в корне меняет дело, - ответил господин Сюар. - Тиртей заставлял слышать нечто гораздо большее, чем просто звуки; то были прекрасные чувства, облеченные в прекрасные стихи; и если к ним примешивалось пение - что весьма вероятно для той глубокой древности, когда пение сопровождало всё; если героические стихи соединялись с музыкой, которая сама по себе была связана с былыми ратными подвигами и славой, - в это я верю охотно. Даже в наши дни, совсем рядом с нами, Фридрих был одновременно и королем, и полководцем, и Тиртеем своих армий, состоявших не из граждан, а из рекрутов и завербованных бродяг. Существовала лишь одна трудность - как для греческого Тиртея, так и для прусского: нужно было иметь солдат, которые понимали бы язык поэтов. А подобные солдаты повсюду встречаются крайне редко.

— Их будет столько, сколько пожелаете, - твердо произнес Гельвеций, - везде, где будут существовать национальная конституция и народное воспитание, основанные на самой природе человека.

Господин Сюар думал так же, как и Гельвеций; однако он острее чувствовал, насколько трудно дать одни и те же общественные институты и одинаковое воспитание тридцати или сорока миллионам человек.

Можно представить, с каким нетерпением жаждал вмешаться в подобные споры Дидро - человек, которого изящные искусства занимали даже больше, чем ремесла, о которых он так много писал; тот самый Дидро, чьи «Салоны» оказали столь сильное влияние на вкус и дарование наших живописцев и ваятелей; тот, кто своими трактатами о поэтическом искусстве повлиял даже на гений Глюка. Но когда он решил возвысить голос, всё уже было сказано, и все пришли к согласию.

Он непременно хотел, чтобы наступил и его черед; он не стал его ждать и даже не пытался подготовить для него почву. Неизвестно как и по какому поводу, но стоило воцариться первому мгновению тишины, как все услышали, что он громогласно рассуждает о воображении. Он утверждал, что в мире, в искусстве и даже в самой философии лишь оно одно созидает всё; что оно должно затихать перед анализом и расчетом лишь на миг - чтобы затем вновь взяться

за их работу, когда те сочтут её законченной; распоряжаться результатами их труда как собственным творением и присваивать их себе, наполняя своими красками и, прежде всего, своим движением.

Со всех сторон стола ему кричат: «Воображение плодит больше безумцев, чем мудрецов и счастливых!» Он парирует: «Да, когда оно предоставлено самому себе; но там, где оно не властвует, остаются лишь мертвецы или умирающие; и безумцы, которых оно создает, всё же лучше».

И он добавляет: «Разве о Божественном духе говорили, что он лишь мягко колышет великие громады? Нет: сказано, что он приводит их в движение, *mens agitat molem*. Народы - это огромные массы, и чтобы проникнуть в них, разум, каков бы он ни был, должен привести их в движение. Если души остаются холодными, они остаются закрытыми. Чтобы открыть их, нужно их воспламенить. Это - работа воображения, а не тех геометрических методов, что связывают и сковывают мысли лишь так, как суровые северные ветры сковывают и превращают в лед частицы воды.

Я знаю, что именно души зажигают другие души; но от одной души ко всем остальным именно воображение служит великим проводником этого электрического пламени. Народы нужно вести к истине силой красноречия, ибо это невозможно сделать одним лишь анализом, который является не более чем путеводителем. Народы полны воображения, а разума у них нет вовсе; да и сильные мира сего не хотят, чтобы он у них был. Так говорите же с ними о разумном скорее на языке Тиртея, нежели на языке математиков. Разум тащится по земле, воображение - летит: посадите разум на крылья воображения, и они вместе полетят повсюду, где нужно рассеять невежество и искоренить заблуждения. На этом моё вступление окончено; вот к чему я вел».

«Я полностью разделяю всё, что только что говорил автор трактата «Об уме» о силе изящных искусств, способных созидать или возрождать прекрасные души и великие народы. Однако я хотел бы спросить его: почему он, обладая в столь высокой степени воображением живописующим, не предпочел также и воображение летящее? Почему в его труде мы видим эти длинные цепи взаимосвязанных, непрерывных и всегда одинаково натянутых мыслей? Можно сомневаться в том, что ими по-настоящему восхищались; но совершенно очевидно, что мало кто их полюбил. Автор книги «Об уме» - и философ, и поэт; он облакает свои рассуждения в образы, но из-за его метода, который всё связывает и сковывает, эти поэтические фигуры слишком напоминают фигуры геометрические. Будь в его стиле больше легкости, если бы многие мысли казались случайно вырвавшимися на волю среди тех, что строго упорядочены, мы бы меньше замечали эти длинные прямые линии, проведенные словно по линейке; они бы растворились в изяществе внезапности. Добавлю, что те строгие формы, в которые заключают идеи, не всегда служат залогом их истинности; напротив, они часто помогают обнаружить ошибку - что полезно для всех, но вовсе не для писателя, в чьи намерения это вряд ли входило. Говорили о Монтене, чей стиль обладает столь великим обаянием и в котором так мало этой методичности, что он - писатель, который меньше всего знает, куда идет, и лучше всего понимает, где находится. Следовало бы также добавить, что ясное осознание того, где ты находишься - лучший способ отчетливо видеть все пути и выбирать тот, по которому должно следовать; и что там, к примеру, где их четыре, можно, в некотором роде «почуяв» три из них, подобно этим животным, верным спутникам и друзьям человека, броситься на четвертую, даже не обнюхав её заранее, как остальные. Одним словом, от стиля, который желает меня наставлять, равно как и от того, что хочет лишь нравиться, я требую поступи волнообразной, текучей и подчас даже порывистой. Если философ наделен воображением, я хочу, чтобы это воображение было слегка ВЗЪЕРОШЕННЫМ».

При этом последнем слове, к которому присутствующие, несмотря на множество других подобных выражений, всё еще не были готовы, за столом прокатился долгий смех, и этот смех был подобен рукоплесканиям. За этим одобрением последовало мгновение тишины; и продлилось оно дольше, триумф Дидро и его суждений казался бы окончательным.

Гельвеций, которого одновременно критиковали и хвалили, ласкали и ранили, был охвачен множеством противоречивых чувств, заставлявших его то порываться ответить, то хранить молчание; в конце концов, посмеявшись и вполне искренне поаплодировав, он предпочел умолкнуть.

Господин Сюар счел своим долгом ответить и решился вступить в спор с Дидро, после того как уже выдержал один против Гельвеция. Он сидел за столом как раз напротив Дидро.

— Философ, - сказал он ему, - вы говорили прекрасно, и всё же вы сделали множество выводов, на мой взгляд, даже слишком много. Я сильно сомневаюсь, что все ваши выводы столь же хороши, сколь блестящи и оригинальны были ваши мысли и выражения.

Ваше «взъерошенное» очень подходит воображению; я бы посоветовал живописцу позаимствовать его у вас и наделить им шевелюру поэта или пророка: вот уже три или четыре тысячи лет это часть их облика. Мы всегда видим Моисея, спускающегося с Синая, с длинными пучками света, что изгибаются и рассыпаются от его лба к обоим вискам; Калхаса, выходящего к обоим лагерям с волосами, стоящими дыбом; жреца Аполлона, заставляющего храм содрогаться от воплей, с яростным взором и растрепанной головой.

Но никакой божественный дух не терзает и не вдохновляет философа; ему нечего провозглашать как откровение - он должен всё доказывать. Свет, рождающийся из множества тщательно проверенных и сопоставленных наблюдений, распространяется постепенно и не дает ослепительных вспышек; он должен изливаться так же, как и возник. Он просвещает прежде всего не тех, кого облекает всеми своими лучами одновременно, а тех, кто видит, как он постепенно рождается, растет и ширится; он достаточно прекрасен, чтобы им можно было любоваться неспешно и спокойно. Тот несколько симметричный метод, на который вы жалуетесь, и устанавливаемый им порядок берегут пространство, время и внимание; он сокращает и сглаживает все переходы от одной мысли к другой, от одной истины к следующей. Именно он придает глубоким мыслям ту ясность, которая служит им украшением, как очень верно заметил Вовенарг.

Вы указали, философ, на весьма существенное различие между двумя свойствами воображения, которые разделяют недостаточно четко: первое - это способность представлять абстрактные идеи в виде образов; второе - сообщать идеям, отвлеченным или чувственным, стремительное движение, которое направляет и подталкивает их к выводам.

Первое из этих свойств принадлежит поэту, второе - оратору. Философ вполне может поочередно заимствовать их слог, но заимствования у поэзии гораздо больше подходят разуму, потому что образ - это тоже свет; заимствования же у красноречия слишком опасны, так как стремительные движения чаще всего ввергают ум в заблуждения. В стиле его ума много от поэта, но нет ничего от оратора. Автор не мог бы удачнее выбрать между тем свойством воображения, которое ему следовало перенять, и тем, от которого следовало уберечься. Его слог полон метафор и образов; он не позволяет себе никаких страстных порывов, оставляя вам достаточно времени, чтобы рассмотреть все его рассуждения со всех сторон и решить - принять их или опровергнуть.

Даже в оде «Растрёпанный» беспорядок прекрасен лишь потому, что он служит наиболее верным выражением того восторга и того упоения воображения, которое охватывает его при созерцании картин и страстей, не сменяющих друг друга чередой, а сталкивающихся, словно волны при встречных ветрах.

Софист вынужден скрывать пути своего разума, чтобы никто не заметил, насколько они извилисты; друг же истины должен прокладывать их, вступая на них, и вновь очерчивать, когда уходит. Такой двойной анализ, если автор допустил ошибку, выставляет его заблуждения на всеобщее обозрение; и если в этом не заключается его величайший успех, то, по крайней мере, в этом состоит его главное желание. Обнаружение собственной ошибки - благо для него, ибо оно служит благу всего человеческого разума.

Прежде чем закончить, я возвращаюсь, философ, к вашему своего рода страху или отвращению перед слишком строгим и очевидным порядком. По словам греческих философов,

столь влюбленных в прекрасное, что именно составляет красоту? Это регулярность, порядок, верные пропорции. А что такое грация? Это движение, но движение легкое, мягкое, подобное тем впечатлениям и добрым чувствам, что приносят нам радость. Гораций, которого вы так любите и о котором так верно рассуждаете, в чем он видит источник силы и красоты слога? В доблести и Венере (*Virtus et Venus*); в ПОРЯДКЕ (*ordinis*); и он добавляет, если я не ошибаюсь: «Сведущие люди его времени, без сомнения, не разделяли его мнения». Вы тоже не разделяете его сегодня; но вы придерживались его, когда писали о Теренции те страницы, полные вдохновения и вкуса, что стали украшением моих «Литературных смесей» (*Variétés littéraires*) - те очаровательные страницы, на которых вы вознесли чистый и мягкий вкус латинского Менадра до уровня вдохновения Мольера».

Господин Сюар удостоился менее шумных рукоплесканий; его идеи были не столь оригинальны. Однако его одобряли больше: его мысли лучше соответствовали суждениям вкуса и разума, признанным во все века.

Подобные споры в окружении стольких прославленных имен Франции и всей Европы, как нетрудно понять, в высшей степени способствовали тому, чтобы наделить нашу литературу той эпохи тем блеском, который она столь быстро завоевала у всех народов и который становился лишь ярче от некоторых крайностей.

Теперь можно судить о том, не был ли этот исторический очерк о беседах во Франции необходим для жизнеописания господина Сюара, чтобы сделать его известным, и для памяти о нём, дабы воздать ей все те почести, которых она заслуживает. Очерк этот основан на воспоминаниях, однако существует и достаточное количество печатных документов, способных служить неоспоримыми свидетельствами и доказательствами. Умолчать о нём значило бы обречь его на искажение теми, кто рано или поздно взялся бы за подобное описание, плохо зная жизнь Сюара или желая её приукрасить - на что я никак не мог согласиться. Имя господина Сюара может быть более дорого тем людям, которые пытались требовать от меня этого молчания, но оно не может быть более священным. Я должен и намерен ещё на мгновение остановиться на этих беседах: именно в них лучше всего проявляется дух эпохи господина Сюара и его собственный дух.

У современных авторов существуют произведения, которые называют не иначе как диалогами; это отдельный жанр. У древних же форма диалога была присуща большинству великих философских трудов: книгу, посвящённую важным мнениям, превращали в живую картину размышлений нескольких прославленных лиц, подобно тому как театр являет собой картину страстей и героических событий. Положение этих лиц требовало благородного тона, а сама беседа - тона непринуждённого; благодаря этому из них изгонялись как излишне обольстительное красноречие, так и навевающие скуку силлогизмы; дискуссии, принимая драматический оборот, искрились со всех сторон при столкновении мнений. Именно живой обмен идеями в ходе беседы придал законченность стилю как философов, так и поэтов.

Главное преимущество живого слова, как я уже отмечал, состоит в возможности мгновенно исправлять мысли и выражения в тот самый момент, когда они уклоняются от истины; оно не позволяет столь плодовитым семенам заблуждения успеть укорениться в умах и широко распространиться.

Книги, написанные в форме диалогов, признаться, редко бывали записями реальных разговоров; чаще всего это лишь вымыслы и образы. Однако сам вымысел обладает многими достоинствами реальности: он заставляет автора примерять на себя разные характеры, обнаруживать, насколько это возможно, разные складки ума и не один вид таланта. В интеллектуальном поединке диалога автор обязан наделить собеседников равными средствами и силами; защитник истины должен торжествовать не благодаря своим уловкам и ловкости, а потому, что за ним стоит более правое дело.

В диалогах гостей Гельвеция следует полагать, что мнение, выдвинутое Дидро, которого в его близком кругу называли не иначе как *философом*, было скорее вспышкой его остроумия,

нежели правилом его разума или неизменным принципом его вкуса. Он и в самом деле неоднократно писал в подобном духе, однако это далеко не те труды, которые могли бы в высшей степени оправдать за ним имя *философа*. В его статье «Искусство» для «Энциклопедии», к примеру - в одном из прекраснейших фрагментов, существующих в языках мира, - главенствует и являет собой все атрибуты его гения именно логическая последовательность воззрений глубокой и обширной метафизики; это сам метод геометров. Он достаточно изучил его тонкости, чтобы убедиться: при прочих равных достоинствах тот, кто обладает геометрическим складом ума, превосходит в любом жанре тех, кому его недостает. За столом у Гельвеция он, без сомнения, желал разволновать умы, дабы вызвать в них бурное движение идей и сделать охоту более обильной. Если такова была его цель, то ответ господина Сюара, как мне кажется, доказал, что он достиг ее в полной мере.

В этой своего рода сцене господин Сюар со всей искренностью обнаруживает и свой характер, и свои принципы, и свой склад ума. Этот ум, имеющий меньше прав на славу лишь потому, что его обладатель меньше писал, в ходе спора, кажется, обладал такой же широтой, как и ум Дидро; и если проявить немного внимания, можно заметить, как в его ответе обнаруживаются и другие качества ума, не менее редкие и не менее необходимые для формирования **ОБЩЕСТВЕННОГО ДУХА**! Это дух, без которого у народов нет ни подлинного правосудия, ни прочного величия, ни долговечного счастья; дух, при котором таланты, добродетели, процветание - всё то, что заставляет любить и благословлять жизнь, - быстро возникало бы и непрестанно крепло у всех народов. При нынешнем состоянии нашего просвещения (хотя оно и значительно ниже того, что предполагает наше тщеславие) этот дух легко стал бы общим достоянием, если бы всё то полезное знание, что рассеяно и почти утрачено в трех или четырех странах, было объединено в плане единого европейского образования.

Ни один литератор не был более далек от всякого преувеличения и не был большим его врагом, чем господин Сюар; однако везде, где бы он ни высказывался - будь то перед самыми ярыми противниками идей Гельвеция или за его столом, - господин Сюар с величайшей убежденностью твердил о том, чего можно и должно ожидать ради блага народов от воспитания, более точно ориентированного на лучше познанные способности человеческого разума. И в двадцать пять лет, и в восемьдесят пять эта мысль оставалась для него неизменной и господствующей. В этом преклонном возрасте, когда человеку едва хватает сил грезить о завтрашнем дне, он размышлял об уроках, которые необходимо подготовить для грядущих поколений. Он сошел в могилу, будучи занят трудом о том, в каком направлении должно развиваться общественное образование, чтобы сделать более священными права народов и прерогативы престола.

Кондильяк, Локк, Кант и де Сталь

В этой дружбе Гримма и Дидро так быстро возникшей и никогда не знавшей перемен, можно заметить обстоятельства, которые в литературе и философии могут иметь значение и интерес самого разного рода как для Германии, так и для Франции. Они часто становились темой бесед господина Сюара и автора этих мемуаров. Известно, что пьеса «Отец семейства» опубликована между посвящением принцессе Нассау-Саарбрюккенской и письмом о драме, адресованным Гримму. Первое представляет собой образец возвышенной морали, что редко встречается в посвящениях; со вторым же в области литературных рассуждений ни в одном языке не может сравниться ничего, кроме собрания подобных сочинений Вольтера. Какого бы мнения ни были люди о драмах Дидро, выдающееся превосходство этих двух трудов будет оспариваться лишь из-за неспособности чувствовать истины высшего порядка в вопросах вкуса и морали, либо по дерзости отрицать и преследовать их повсюду, где они сияют и несут просвещение.

В письме к Гримму, равно как и в беседах, следовавших за пьесой «Побочный сын», целью Дидро была теория ДРАМЫ - жанра, который он напрасно (я склонен так полагать) считал совершенно новым и созданным им самим, но в котором он изложил столько новых и

верных суждений, каждое из которых могло бы привнести в наш театр и поучительные уроки, и глубокие чувства, и неведомые прежде слезы.

Никто не хотел признавать, что трагедия может быть народной, в то время как сама природа и человеческие страсти рождают в народной среде столько трагических событий. Не желали замечать, что в своем отношении к трагедии народ перестал быть тем, чем он был столетиями назад; что он возвысился до всей высоты котурнов; что благодаря своей независимости, благородству чувств и речи просвещенные слои народа могут отныне, подобно вельможам, изъясняться со сцены языком Корнеля, Расина и Вольтера. Законы поэтики исключали «третье сословие» из области трагедии точно так же, как аристократия закрывала ему доступ к общественным чинам. Это было одно и то же предубеждение - и на сцене, и в жизни.

Над ясными доводами Дидро и его красноречивым воодушевлением насмехались, сравнивая их с «проповедями папаши Лашоссе». Даже сам Жан-Жак в порыве плохо скрываемой и еще менее обоснованной злобы против Дидро не удержался от слов: «Это стоит целой проповеди!». Но почему же краткая, пылкая, патетическая проповедь, возвращающая слезы и добродетель, не имела бы большой ценности для театра? Чем иным являются стихи Расина и Вольтера, как не проповедями Массийона? А эта речь первосвященника Иодая у ног его подопечного царя? А речь Люзиньяна, обратившая Заиру в христианскую веру?

Однако замечания господина Сюар и мои собственные, полностью совпадавшие, касались прежде всего необычайной связи между драматическими принципами, изложенными Дидро в письмах к Гримму, и характерными, отличительными чертами немецкого трагического театра до и после Шиллера. Получил ли Дидро эти идеи от Гримма, или же Гримм от Дидро? Весьма заметное влияние эстетики Дидро ощущается не только в немецком театре; оно так же явно прослеживается в их романах, повестях, поэмах в прозе и даже в философии Канта - которая хоть и не тождественна его взглядам, но и не столь им противоположна, как нас пытаются убедить.

Сколько сходства, к примеру, между Дорвалем из «Побочного сына» - будь то в самой драме или в последующих беседах - и «Вертером» Гёте! Если бы при чтении обоих произведений на одном языке пришлось угадывать, кто из героев немец, а кто француз, то их было бы невозможно различить; об этом оставалось бы лишь догадываться.

Будучи истинным французом во всех своих интеллектуальных вкусах, во всех личных впечатлениях и способах их выражения, господин Сюар, чей слог отличался удивительно мягкими переходами от одного тона к другому, не мог принять ни у Дидро, ни у немцев этого резкого соседства тривиальной обыденности и чересчур высокопарного пафоса, который казался слишком напыщенным, чтобы быть истинным голосом природы и страстей. Однако в этих пороках их стиля он видел лишь внешние изъяны, а не саму суть их таланта. Он с большими надеждами наблюдал за рождением и успехами этой новой литературы Европы, которая ищет свои образцы не у греков, не у латинян и не у современных авторов, а в картинах природы, разворачивающихся перед её взором; в нравах немцев, на основе которых она одна желает строить литературное воспитание; в языке древней Германии, который столь мало изменился и чьи корни уходят к истокам известного мира - они могут по праву считаться, наравне с санскритом, одними из первейших звуков человеческого голоса. В самом младенчестве этой литературы, уже столь богатой и еще не имеющей сложившихся канонов, господин Сюар видел источники обновления для всех литератур, столь быстро одряхлевших оттого, что они родились от литератур уже старых; оттого, что они отвергли, словно разлагающую роскошь, поэтические открытия философии в тех мирах науки, что куда новее мира, открытого Христофором Колумбом.

Будучи театральным цензором в течение многих лет и будучи обязанным читать великое множество комедий и трагедий, скуку от которых ему помогало переносить лишь чувство священного долга, господин Сюар был скорее опечален, нежели просто утомлен однообразием форм, действия, диалогов, а также прозы и стихов нашего трагического театра. *«Всё в нем схоже между собой, - говорил он. - Стоит немного привыкнуть к стиху, как не успеешь услышать первую строку, а уже угадываешь вторую по рифме. Все старики - сплошные Нарбасы; все*

матери, насколько это в их силах, - вылитые Меропы; а со времен Ротру все влюбленные, если только они не холодны как лед, - сплошь Ладиславы».

Опираясь на советы своих друзей и суровые уроки нашей публики в партере, чей вкус весьма просвещен, когда его не сбивают с толку навязанные извне страсти, господин Сюар не считал Дидро неспособным вывести наши таланты из того оцепенения, вызванного преклонением и подражанием, которое заставляет их всех влачиться по одним и тем же следам. И именно это оцепенение виной тому, что, имея в своем распоряжении тысячи пьес, мы не имеем до сих пор более четырех или пяти авторов трагедий.

Господин Сюар удивлялся, что после «Побочного сына», который так и не провалился окончательно на столичных подмостках, где его ставили крайне редко, и «Отца семейства», оставшегося в репертуаре всех театров Франции, Дидро столь поспешно оставил это поприще из страха быть освидетельствованным. И в самом деле, он проявил больше мужества перед лицом яростных священников, чем перед бушующим партером, и перед кострами инквизиции - больше, чем перед свистом публики.

Вот, если память мне не изменяет, почти дословно то, что господин Сюар, не слишком любивший Дидро как человека, думал и говорил о его талантах: *«Кто знает, каких высот мог бы достичь Дидро, если бы он сосредоточил всю мощь своего самобытного и плодovitого ума, все силы своего блестящего воображения лишь на тех предметах, что способны дать выход всей его энергии?»*. Жан-Жак, даже после их довольно скандального разрыва с Дидро, ценил его гений еще выше и высказывался об этом более определенно; но Жан-Жак полагал, что его бывший друг рожден прежде всего для философии, а господин Сюар - что для театра. Из того, что Дидро любил подолгу вещать в одиночку перед любым слушателем, даже перед императрицами, делали вывод, что Дидро был больше рожден для книжных монологов, нежели для сценических диалогов.

Речь идет вовсе не о его манере вести беседу в свете или с Екатериной, - говорил господин Сюар, - а о его сочинениях и драмах: лучшие черты «Отца семейства», те самые, что обеспечили этой пьесе успех и долгую жизнь, - это всполохи страсти и мастерство диалога. Во всех его трудах, даже в наиболее философских, он неизменно ведет диалог с самим собой и с другими. В своих «Салонах» он заговаривает с персонажами картин и скульптурными группами; те ему отвечают. Крайне редко бывает так, чтобы он не забыл окончательно, что они глухи и немые, как холст и мрамор. Из всех составляющих таланта это, несомненно, самая драматическая.

Если сопоставить эти различные суждения Жан-Жака и господина Сюара, то, полагаю, сторонников Сюара окажется меньше, чем сторонников Жан-Жака. Однако весьма вероятно, что если бы Дидро чаще пробовал свои силы на театральном поприще; если бы, решаясь на любые новшества в сюжетах, в изображении сословий, нравов и характеров персонажей, он оставался при этом неизменно верен духу и вкусу своего языка, он бы одержал верх над всеми догмами, которые не продиктованы самой природой; он мог бы часто оступаться, но всегда поднимался бы после каждого своего падения. Шедевры случается падать, но они не остаются лежать на земле. Классическим должен быть стиль, а не сам замысел. Пишите как Расин и осмеливайтесь на всё, что только может вообразить самый дерзкий ум, если только это не ложно: вас превознесут до небес сегодня, завтра или через столетие. Когда речь идет о славе, не нужно спешить - нужно быть уверенным.

Окруженный иностранцами, которые все искали его общества, господин Сюар глубоко сокрушался, что пример Гримма не привлек во Францию больше тех людей, которые создавали литературу, оригинальную для всей Европы и новую даже для самой Германии. Он жалел, что **Виланд** не приехал побеседовать с Мармонтелем, д'Аламбером, Шамфором и Лагарпом; **Гёте** - с Дидро; **Кант** - с Кондильяком; и вообще все они - со всеми теми просвещенными и обладающими вкусом людьми, что жили в Париже и в наших провинциях. Хотя Рейн лишь едва разделяет Францию и Германию, их языки разъединяют их так сильно, будто они находятся на разных краях света, столь же противоположных и далеких друг от друга, как два полюса; и именно такое сочетание близости и в то же время разобщенности дает богатейшую почву для

плодотворного обмена идеями и талантами между обеими странами. Это похоже на то, как если бы обмен между двумя полушариями происходил в непосредственной близости друг от друга. Но для этого нужно, чтобы исключительное своеобразие их языка не замыкало в себе тех, кто на нем говорит и пишет. Необходимо, чтобы язык побуждал их чувствовать и мыслить за пределами своих границ.

Немцы, по крайней мере в литературе, вовсе не «СТАРЦЫ ЕВРОПЫ», как называет их Вольтер в «Вавилонской принцессе»; они - её дети. Это мы и итальянцы уже несколько старых, пусть и не совсем еще старики; а два возраста, наиболее необходимых друг другу, - это детство, которое уже умеет любить, и старость, которая еще способна любить.

Господин Сюар полагал, что английская философия и наша собственная еще нужнее немцам, чем их литература может быть полезна нам. И дело не в том, что в немецкой философии он не чувствовал бы присутствия и влияния той исполинской силы гения **Лейбница**, который стал её отцом; однако Лейбниц напрасно направлял свою высокую и всеобъемлющую мощь против истин, доказанных Локком с простотой столь же скромной, сколь и триумфальной. А такие мыслители, как **Кант**, **Фишер** и **Якоби** - преемники метафизики Лейбница, не будучи его учениками, также весьма тщетно пытаются поглотить в мрачных безднах своего АБСОЛЮТА и своего НОУМЕНА открытия Кондильяка и Бонне, которые наделили теории познания всей ясностью физических понятий и всей глубиной идей нравственных.

Из этой группы писателей, из которых немецкая метафизика могла бы составить целую плеяду, подобно нашей литературе шестнадцатого века, никто не явился, чтобы бросить вызов нашей метафизике, будь она опечалена или оживлена их идеями. Насколько мне известно, лишь Коцебу нанес во Францию краткий визит; и хотя он был принят весьма радушно, он не добился у нас такого же успеха, какой снискала его очаровательная пьеса «Два брата». Впрочем, Коцебу сделался посредственным метафизиком лишь ради того, чтобы нападать на свободу - зарождающуюся у него на родине и уже прочно утвердившуюся у нас. Благодаря панорамам иностранные столицы так живо предстают перед нашим взором, что те, кто в них бывал, верят, будто посещают их вновь. Насыщенный образами слог - это тоже своего рода панорама; и если живопись показывает нам города, то панорамный слог позволяет нам услышать людей.

Мадам де Сталь отправлялась во все места, где только могла найти свет знаний и распространить его: она раз десять была готова отплыть в Грецию, в Малую Азию и в тот Египет, который скрывает в своих руинах и все еще стоящих памятниках столько тайн, священных или кошунственных, чьи бездны мадам де Сталь так любила вопрошать. Она, по крайней мере, прожила достаточно долго, чтобы - после того как столь искусно представила нам в «Коринне» Англию и Италию - успеть посетить и описать ту Германию, что всегда так далека и в то же время так близка нам; чтобы изучить ее во всех столицах, которые объединяют или делят между собой ее прославленных писателей. Она, если можно так выразиться, держала салон прямо среди них, а из начертанных ею портретов создала целую галерею, где кажется, будто видишь не только их дыхание, но и слышишь их живую речь. И вера в то, что слышишь их, - не иллюзия: она часто передает их собственные слова. И идет ли речь о том, что она принимает их взгляды, или же опровергает их, ее собственные мысли, вплетаемые в речи других, способны, по меньшей мере, встряхнуть и пробудить таланты, убаюканные излишним доверием и приверженностью античным образцам и правилам.

Среди писателей, чья слава уже бесспорна, хотя они едва успели покинуть этот мир, Шенье неизменно оставался самым ревностным защитником того, что мы называем классическим вкусом; и его «Тиберий», и его «Филипп II», и все его последние сочинения в стихах и прозе доказывают, что эта вера вдохновляла его так же, как Расина и Вольтера. Однако он также доказал, что те, кто наделен истинной верой, никогда не бывают суеверными; он заимствовал не одну черту и не одно впечатление у Шиллера, чтобы еще удачнее превзойти его в «Филиппе II»; он полностью перевел драму «Натан Мудрый», чтобы во второй раз возвыситься над «Меланией».

Лишь очень поздно, когда мадам де Сталь уже была отмечена печатью смерти - хотя все способности ее души оставались столь же живыми, - мне удалось прочесть ее сочинение о Германии. Очарованный первыми двумя томами и лишь крайне удивленный третьим, я отправился поделиться всеми своими впечатлениями с господином Сюаром, которому любил сообщать их без остатка, то ли в надежде, что он их одобрит, то ли предчувствуя, что он станет им возражать. Едва он понял, о чем я хочу с ним поговорить, как он воскликнул, не давая мне продолжить:

— Ах! Вы не можете ни восхищаться этим трудом, ни любить его сильнее, чем я; и если в третьем томе немецкая философия, которую мадам де Сталь хочет вознести над всеми философиями, была более достойна отведенного ей места, то её труд о Германии, по моему мнению, стоял бы даже выше «Коринны». Я долгое время был цензором наших театров, прежде чем по-настоящему узнать немецкий, и уже тогда находил наш театр весьма избитым. Я люблю Вольтера, Расина, Корнеля; но люблю их в их собственных трагедиях, а не в чужих, где я постоянно их встречаю, но лишь поблѣкшими и немощными. Со времен этих великих людей нам предлагали разное театральное искусство; во многих произведениях было немало достоинств, но не нашлось ни одного автора, который имел бы право сказать: «Я чувствую, что мой дух творит с гениальной силой».

Единственный, кого я мог бы выделить, - это Дюси. Я скажу о нем то же, что говорили о Корнеле, и, благодаря этому великому имени, память моего коллеги не может быть в обиде: у него нет ни одной превосходной трагедии, но есть превосходные сцены. Дюси не освободил нас от греков, и он был прав, создав своего «Эдипа». Но знаете ли вы, почему его «Эдип» казался нам одновременно и столь истинно греческим, и столь новым? Все потому, что Дюси был воспитан на Шекспире, а Шекспир - когда он не выступает в роли грубого шута или напыщенного декламатора - чувствует и передает природу точно так же, как это делали в театрах Афин.

Мадам де Сталь обвиняют в любви к литературным ересям, которые я совершенно не жаую. Однако признаю, что был восхищен её проницательностью в сопоставлении театров древности и современности, в тех параллелях, что она проводит между зарождающимся драматическим гением Германии и увядающим гением Франции. Если это и есть ереси - то есть суждения, основанные на свободном выборе, - то признаю, что и мой выбор был бы точно таким же.

Если какой-нибудь молодой человек сомневается в этом, и если в его воображении и душе теплится хотя бы искра драматического таланта, пусть он прочтет эти два тома, а затем примется за изучение немецкого театра. Изучение наших собственных шедевров могло бы ввергнуть его в отчаяние; даже самое удачное подражание им оставило бы его незаметным в толпе. Но эти опыты немецкой сцены, столь полные созидательной силы и столь далекие от совершенства «Аталии» и «Меропы», разожгут в нем энтузиазм благодаря новизне своих красот. Они возвысят его талант надеждой - вовсе не самонадеянной, - что он сможет воспользоваться ими, чтобы достичь собственного триумфа.

Что касается **философии Канта** и его последователей, я искренне сожалею о времени и таланте, которые мадам де Сталь потратила на то, чтобы объяснять и боготворить её, словно желая превратить в религию мысли. Учение Бэкона и Локка не нуждается в объяснениях - оно само объясняет почти всё. Чтобы без долгих раздумий и малейших колебаний отвергнуть немецкую философию, мне было достаточно увидеть, что она сама отвергает *опыт* - единственного наставника человеческого разума».

Я был в восторге, слушая господина Сюара, которому было уже под восемьдесят пять лет. Он рассуждал на темы, не вполне ему близкие, с удивительной верностью мыслей и точностью определений. И всё же, хотя защита кантианства казалась задачей не из легких, я счел, что до известной степени можно попытаться оправдать мадам де Сталь и Канта.

— Если мадам де Сталь, - сказал я господину Сюару, - и заблуждалась, то сама причина её заблуждения делает ей честь. Она сочла, что мораль и божественное начало подвергаются опасности в рамках той философии, которую английские и французские писатели распространили в Европе. Совокупные свидетельства всех чувств и результаты всего накопленного человечеством опыта не показались ей достаточно возвышенными источниками разума и добродетели: ей хотелось верить, что они берут начало в источнике более непосредственном - духовном и вечном.

Мадам де Сталь в своей тревоге забыла, что если наши материалисты опрометчиво надеются способностью чувствовать организованную и живую материю, более точная философия, чем их собственная - более осмотрительная и возвышенная - всегда признавала подобное лишь за разумом, природа которого сродни тому, что проявляется в устройстве Вселенной. Следовательно, выводить все способности и все порождения рассудка из наших чувств и ощущений - значит наделять их поистине небесным происхождением. Таково всегда было учение Бонне - женева, как и мадам де Сталь, и столь же набожного человека, чьи труды, даже посвященные физике, представляют собой непрестанное поклонение Божеству. Она забыла, что хотя миры и солнца, доказывающие бытие Бога, одновременно и скрывают Его; что хотя во всех этих творениях само произведение поражает наши чувства, в то время как Творец остается незримым для всех, - тем не менее, самые веские и самые яркие доказательства божественности черпаются именно из зрелища Вселенной и законов, управляющих её порядком и гармонией. Сократ и святой Павел говорят об этом на одном языке; и ни один из прорицателей религии или философии не придавал подобным доказательствам той ясной точности, которую они обрели на десяти-двенадцати страницах «Логики» Кондильяка и его «Курса занятий» для инфанта, герцога Пармского. Она забыла, наконец, что та самая евангельская мораль, которую в её сердце никогда не могли поколебать ни мирская суета, в которой она так любила вращаться, ни борьба партий, которые она атаковала или защищала, ни искусства, чьей красотой и величием она восхищалась, была запечатлена столь же неизгладимыми чертами и в сердце Локка; что Локк сошел в могилу со всеми упованиями, которые вера дает добродетели; и что тот же Локк, однако, когда пожелал написать историю души, написал на самом деле историю наших ощущений и рождающихся из них размышлений.

Благодаря латыни, полной причудливых оборотов и, по всей видимости, германизмов, мне удалось в некоторой степени ознакомиться с «Критикой чистого разума», главным трудом Канта; и я боюсь, что там не найти ничего столь же глубоко религиозного, как в трудах Локка, Бонне и Кондильяка. Я опасаясь, как бы *NUMEN* и *NOUMEN* кантианцев - то есть Бог и Вселенная, названные ими этими двумя столь схожими именами, - не принимались ими то и дело одно за другое; что, если верить выдающимся судьям, уже случалось не с одним адептом этой философии, которую называют столь благочестивой.

Готовый воспеть в величественных стихах открытия Ньютона, которые, казалось бы, мало подходят для поэзии, Вольтер восклицает: «Ты призываешь меня к себе, обширный и мощный гений».

Эти слова - «обширный и мощный гений» - адресованы не Ньютону, а Эмили, маркизе дю Шатле. Эти слова, после которых любая иная похвала кажется излишней, были бы, пожалуй, еще более заслуженными в отношении мадам де Сталь - даже в этом третьем томе о Германии, где она отвергает, словно бездну порока и тьмы, ту философию опыта и анализа, которая за три столетия, прошедшие с момента её рождения, настолько превзошла прогресс всех прошлых веков и совершила столько открытий, что в них трудно было поверить даже после того, как они были сделаны; ту философию, которая совершает и готовит новые открытия каждый день!

Каким множеством частных истин мадам де Сталь неизменно окружает, а порой и маскирует те фундаментальные ошибки, которые не принадлежат ей самой и которые скорее пленяют её, нежели сбивают с истинного пути! Какую высоту интеллекта она выказывает, когда ей, сама того не ведая, служит тот самый метод анализа, которого она страшится, но который её вдохновляет; метод, иссушающий лишь заблуждения и единственный, кто делает истины

плодотворными; метод, который разлагает всё на составляющие, но подобно тому, как призма в руках Ньютона раскладывает один луч на семь; который является лишь крайне редко в виде скальпеля, и всегда – как факел; и он остается факелом даже тогда, когда становится тем самым скальпелем, который в руках **Биша** столь глубоко проникает во все тайны жизни и смерти! С какой легкостью госпожа де Сталь сближает, сравнивает, заставляет подниматься и опускаться на чашах своих весов философов и философские учения всех народов и всех веков! Как покорно предстают перед её судом Платоны, Бэконы, Декарты, Мальбранши и Лейбницы, не помышляя его оспаривать! Как легко было бы принять её за владычицу тех великих мужей, которых она судит, или, скорее, за ту Платонову Минерву, которая под боевым шлемом всё еще хранила в себе грацию и аттизм народов, её боготворивших!

Метафизические учения, провозглашенные госпожой де Сталь, заслужили во Франции опровержения, пожалуй, лишь с того момента, как она стала их глашатаем; и разбор её труда, кажущийся необходимым, мог бы быть сделан лишь тем, кто искренне предан её гению и ей самой. Это опровержение было бы ценным лишь в том случае, если бы оно послужило новым подтверждением славы автора «Коринны»; и даже если бы ей пришлось утратить часть своего блеска из-за этой критики, госпожа де Сталь всё равно бы её желала. Первой любовью этой возвышенной души была истина.

Г-н Сюар слушал со слезами на глазах; он произнес лишь эти слова: *«Почему её нет в этом кабинете, который она порой навещала! Увы! Она в своей постели, окруженная врачами из Парижа и Женевы, и, возможно, самой смертью!..»*. Спустя десять или двенадцать дней и госпожа де Сталь, и г-н Сюар уже лежали в своих гробах.

В то самое время, когда госпожа де Сталь печатала свой труд о немецкой философии в окружении тех учеников Канта, что были наиболее способны помочь ей проникнуть во всё то, что язык этого философа скрывает или затуманивает, господин **Ларомигьер** в нормальных школах факультета словесности Парижа преподавал философию, во многих важных аспектах созвучную учениям Бэкона, Локка и Кондильяка, но в то же время значительно отличавшуюся от них в моментах, возможно, ещё более существенных. На своих лекциях, где доктрина всегда была строго выверена, а речь – неизменно живой и свободной, он знакомил слушателей не только со своими принципами, которые излагал самым ясным языком в ходе оживленной беседы. Декарт, Мальбранш, Лейбниц, так сказать, по очереди всходили на его кафедру, и брали слово. Все философские учения сопоставлялись и оценивались профессором. Глубочайшая эрудиция служила и украшением, и доказательством для самых убедительных истин; господин Ларомигьер всегда умел придать своей речи силу правды и истинное изящество, облачая их в самые точные выражения, на которые только способен язык. Посему не только юношество, жадно стремящееся к знаниям, которые готовят к счастливой и достойной жизни, теснилось на школьных скамьях; всё, что было в столице просвещенного и утонченного, представители обоих полов, часто стекались туда толпами. Господин Ларомигьер, к счастью, был не одинок, но он стал первым в этой высокой философии, кто сумел превратить так называемую «латинскую область» в «область французскую».

Лекции господина Ларомигьера, изданные в двух томах и вобравшие в себя всё вдохновение живого слова вместе со всей той точностью и совершенством, которые книжный стиль придает мысли, вскоре должны появиться в переводе на язык Галилея, Гравины и Беккариа. Как же желательно для человеческого разума, чтобы все народы Европы переняли этот труд и перевели его на свои языки!

Именно в это время труды мадам де Сталь и господина Ларомигьера придавали метафизике такой блеск, какой она лишь изредка знала со времен Мальбранша; некоторым из наших академий следовало бы воспользоваться этим, чтобы вынести на обсуждение в своих конкурсах вопрос о столь оспариваемом первенстве английской, французской и немецкой философий. Уже не время для того, чтобы профессор французских Нормальных школ и автор «Путешествия по Германии» вступали в состязание, которое стало бы куда более знаменитым, чем спор между Ламотом и мадам Дасье, где вежливость тона и изящество стиля были целиком на стороне мужчины; здесь же и сила, и изящество были бы присущи обоим сторонам, а победу

можно было бы присудить лишь лучшей из философий - единственно истинной. Но сегодня более чем когда-либо настал черед для народов обсуждать и неустанно исследовать этот самый вопрос, пока из него не будет извлечено всё сокровище скрытых в нем истин - всё то, что заслуживает священного имени законов мысли, слова и стиля. Либо мы вовсе не замечаем того, что окружает нас вблизи и вдали, либо должны признать, что отныне все судьбы человеческого рода зависят от трех сил: мысли, слова и стиля.

О философии Англии

Именно в Англии и Франции впервые и почти одновременно прозвучал как сигнал тревоги по поводу плачевного состояния человеческого разума, так и призыв к милосердию перед лицом варварства общественных институтов. Именно в Англии и Франции на протяжении двух или трех столетий - порой даже посреди заблуждений, вспышек гнева и вынужденной извне резни - с неизменным упорством и успехом трудятся ради прогресса всеобщего разума и процветания обоих миров. День за днем становясь друг для друга поочередно то примером, то образцом, Франция и Англия находили поддержку в выдающихся умах обеих наций, словно все они были рождены англичанами или французами.

Какое зрелище! На нем стоит остановиться, его следует созерцать хотя бы мгновение посреди того разорения и той ярости, что окружают нас и рождаются у всех народов из их внутренних и внешних раздоров. Нужно увидеть, не может ли этот свет, столь чистый и уже столь обширный, ставший еще более ярким, распространиться на всю землю. Этого можно и не ожидать, но и здесь мы увидим жизнь, взгляды и идеи господина Сюара, переплетенные с лучшими надеждами человечества.

Хотя Декарт всегда стремился к этому, он так и не нашел истинной системы мироздания; однако он открыл множество частных законов: он ввел в алгебру обозначения, которые упростили формулы и расширили ее возможности; он применил алгебру к геометрии, и благодаря этому обе они превратились в новые науки. Он написал «Рассуждение о методе», «Письмо к принцессе Палатинской»; тем самым он привил математический склад ума каждому.

Гений Ньютона, воспользовавшись факелами, зажженными Декартом, развеивает грезы о вихрях и открывает тяготение - единственный всеобщий закон нашей планетной системы, известный на сегодняшний день. Это великолепное открытие поначалу возмутило ученую Европу, но вскоре именно во Франции оно получило свои самые неоспоримые доказательства и блестящие применения. Д'Аламбер разрешает проблему прецессии равноденствий; Лаплас же вскоре представит описание всех состояний неба - прошлых, настоящих и будущих.

Политическое устройство Великобритании не является плодом трудов какого-то одного философа или монарха; это творение всего английского народа. На протяжении веков, среди потоков крови, переходя от одного деспотизма к другому, от революции к революции, но ни на миг не теряя ни чувства свободы, ни надежды на неё, английский народ возводил этот прекрасный храм законов без общего плана, по крупицам - подобно тому, как пчелы строят свои соты, а бобры - свои поселения, поднимающиеся из глубин вод.

Едва этот храм был завершен, как явился француз - Монтескье. Одним лишь озарением своего гения он постиг то, что гений всего английского народа на протяжении десяти или двенадцати веков искал лишь на ощупь, истребляя друг друга во мраке. Именно Монтескье разъяснил Англии принципы и правила всех её движений - как упорядоченных, так и нерегулярных движений её общественного устройства; и взоры монархий, где только лелеют надежды на свободу, взоры обоих миров устремлены на Англию и на две главы «О духе законов».

Ни открытия Ньютона в небесных сферах, ни открытия Монтескье в сферах политических не могли бы свершиться при использовании несовершенных языков и методов. Бэкон первым предостерег и напугал нас пороками наших языков, которые столь внезапно преграждают нам путь и заставляют идти вкривь и вкось по той малой части дороги, что нам удастся пройти. Едва лишь явился «Новый органон», столь достойный своего названия, благодаря которому Бэкон, не ожидая иного суда, кроме собственного, приобщается к творениям Вечного,

как Декарт (едва ли читавший Бэкона) и Мальбранш (который скорее пересекался с Декартом, чем следовал за ним) открывают человеческому духу пути, отличные от тех, что указаны в «Новом органоне». Эти пути не столь ценны, но именно поэтому по ним охотнее и быстрее следуют как философы, так и народы.

Локк восхищается этими французскими проводниками, но находит их недостаточно надежными и вновь обращает Францию к путям Бэкона и Англии; он их выравнивает, расширяет и снабжает ограждениями. **Кондильяк** перечисляет истины, найденные им у Локка, но в самом себе он находит их еще больше; именно он делает глубочайшую метафизику доступной всем тем, кто наделен чувствами и языком, не испорченным ни невеждами, ни учеными мужами.

Бэкон применил свой «Новый органон» прежде всего к химии и пообещал человечеству, что химики в своих горнах и в своих размышлениях вскоре покорят значительную часть сил и могущества природы. Открытия Лавуазье и идеи Бертолле во Франции исполняют обещания Бэкона; а успехи французской химии, перенесенные в Англию, быстро порождают новый прогресс в тех краях, где Бэкон положил начало истинной химии.

В вопросах морали, которую с гораздо большим правом, чем химию, можно было бы назвать «великим делом», Англия и Франция следуют друг за другом и помогают друг другу в равной мере. И здесь именно Франция идет первой в порядке и последовательности свершений: и, словно желая утвердить свое первенство, французский гений наложил на них печать, которой не страшны подделки! Это печать Монтеня; именно он первым пробуждает сознание, убаюканное на школьных скамьях и аксиомах схоластики. Монтень задает себе лишь один вопрос: «Что я знаю?» - и его ответ становится самым верным, самым искренним и самым мощным портретом человеческой природы. *«Вся моральная философия, - говорит Монтень, - в равной мере применима как к простой и частной жизни, так и к жизни более высокого полета: КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК НЕСЕТ В СЕБЕ ВСЬ ОБРАЗ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ».*

Бэкон читает «Опыты» Монтеня едва ли не в тот самый момент, когда они выходят из-под пресса. Этот гений, чей охват слишком широк, чтобы не проявиться во всех областях философии, - этот Бэкон, ставший своего рода прообразом или «первым оттиском» английского духа, - также пишет свои моральные «Опыты», подобно Монтеню. Он не притязает на ту же непосредственность - ведь нельзя быть непосредственным из тщеславия, - но он стремится к той же точности; и его «Верные наставления» (*Sermones fideles*) действительно весьма достоверно рисуют ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ. Один движется к цели рикошетами; другой идет к ней без прыжков и околичностей. Монтень лишь едва намечает законы, на которых должна строиться истинная мораль; лорд-канцлер Англии часто составляет из них целый кодекс. И чтобы дать почувствовать, что в условиях многочисленных народов мораль, сугубо практическая по своей природе, является предметом первой необходимости для рода человеческого в той же мере, что и земледелие, он дает своим воззрениям и правилам название, еще более философское, нежели необычное: «ГЕОРГИКИ ДУШИ».

После Монтеня и Бэкона стало очевидным, что рано или поздно Европа познает несомненные и непоколебимые принципы наших обязанностей, силу даже самой скромной из добродетелей и очарование, присущее упорядоченной жизни. Почти в то же самое время возникают и крепнут две школы: во Франции - школа Пор-Рояля, обвиняемая в янсенизме, а в Англии - школа Кларка, обвиняемая в арианстве. В обеих школах любое наставление сводится к учению о морали как к высшей цели, и все они черпают истину из трех источников: ПЕРВОЗДАННОГО РАЗУМА, или Бога; РАЗУМА как такового, или человека; и Евангелий, то есть созвучия голоса человеческого и Божьего. Все то, что столь убедительно провозглашается обоими народами во имя Божества и человечности, делает более зримой и священной ту нравственную преювренность, без которой на земле невозможны ни законы, ни свобода, ни счастье. По обе стороны Па-де-Кале слышен один и тот же голос - доносящийся с небесных высот и из самой глубины наших душ. Необходимость быть добродетельным окружает человека со всех сторон: у обоих народов; и есть основания полагать, что эта эпоха, которую по многим причинам считают одной из самых развращенных, стала тем временем, когда проводилось больше

всего испытаний совести, когда люди чаще всего испытывали раскаяние и строили больше всего планов, как стать лучше в будущем.

К этим нравственным понятиям, почерпнутым из тех глубин, где сокрыты божественное начало, природа сущего и человеческое сердце, следовало добавить - и это равным образом ощущалось у обоих народов - живые, трогательные и грозные описания тех всеобщих привязанностей и страстей, которые являются единственными силами, управляющими почти всеми душами. Одновременно в Англии и во Франции поэзия и проза во всех проявлениях красноречия, анализа и поэтики - в трудах Поупа, Шефтсбери, Стила, Аддисона, Лафонтена, Мольера, Лабрюйера - убедительно запечатлевают в умах и с любовью вкладывают в сердца правила и чувства, необходимые для общественного порядка и счастья.

С разницей примерно в один год, если не ошибаюсь, в Лондоне выходит «Теория нравственных чувств» Смита, а в Париже - «Всеобщая мораль» (изданная анонимно). Таланты этих двух писателей нельзя сопоставлять, но их просвещенность одинакова, их мораль едина: оба писателя основывают её на самом чутком и деятельном, что есть в потребностях и привязанностях человека. Искусство слова, о котором **Бюффон**, владевший им в столь высокой степени, говаривал, что лишь оно одно и представляет трудность, дается французам легче благодаря Англии, а англичанам - благодаря Франции. Английский гений - более самобытный в писателях, более склонный к раздумьям и усидчивости в читателях - меньше нуждался в совершенстве стиля: там читатели сами довершают труд авторов; они не тяготеют этим усилием, которое спасает их от скуки. Поэтому писатели в большей мере потакают собственной оригинальности, и мысль от этого лишь выигрывает в силе и дерзновении. Во Франции же, где никогда не хватает времени на удовольствия и счастье, нельзя заставлять читателя гадать; неясным можно оставить лишь то, что без некоторой игры светотени показалось бы слишком обыденным. И стиль, вынужденный всегда оставаться предельно прозрачным, становится от этого более четким и изящным.

Таким образом, французы смогли предложить англичанам множество образцов непридуманного изысканного слога, а англичане французам - множество примеров той суровой мощи замысла, за которую их прозвали Микеланджело словесного искусства, в то время как наших писателей величали Рафаэлями того же мастерства. Постоянному обмену Рафаэлей и Микеланджело в обеих литературах стало поровну.

В наши дни Англия столь удачно нашла, а Франция столь быстро переняла простые, быстрые и совсем недорогие способы передать в руки рабочего класса два единственных инструмента, необходимых для любого развития мысли - умение читать и писать, что добрый гений человечества пребывает в радости, а злой - в ужасе. Таким образом, во всех жанрах творения английского и французского духа следуют друг за другом, почти соприкасаясь; они поддерживают друг друга своим сходством, которое часто доходит до полной тождественности; своими различиями, которые делают борозды света шире; и даже своими контрастами, которые, поражая ум, приковывают и укрепляют внимание.

Из пяти или шести известнейших школ греческой античности, весьма различных в своих методах, принципах и доктринах, кисть Рафаэля создала одну единую школу под названием «Афинская школа». Насколько же более справедливо кисть Давидов или Жераров могла бы объединить на одном полотне творческих гениев Англии и Франции и объединить их в единую школу под названием «Европейская школа»! Эта картина во всех её аспектах ещё не была начертана; её основные черты лишь смутно блуждали в воображении и размышлениях французских философов, которые более всего занимались Англией, и английских мыслителей, которые более всего занимались Францией. И те, и другие предчувствовали, что обе эти нации уже обладают в значительной мере тем просвещением, влиянием и могуществом, с помощью которых можно превратить «долину слёз» в долину плодородную и счастливую.

Аббат Рейналь, начавший свою «Историю обеих Индий» с обзора всех народов Европы, ещё до завершения труда заметил, что на материках и морях он почти не встречается никого, кроме англичан и французов. Тома, чьё «Похвальное слово Декарту» является величественным итогом человеческих знаний, сокрушался, даже восхищаясь им, что видит в нём лишь

итог достижений Франции и Англии; он утешался надеждой, что эти два сокровища станут однажды ещё богаче в неизведанном центре Африки или на какой-нибудь из южных земель. Гайяр, неизменно просвещённый и подчас красноречивый, писал «Историю соперничества Франции и Англии», стремясь превратить его в священное соревнование на благо человечества. Байи, ведя свои изыскания от сорок пятого градуса до самого полюса, изучал широты, на которых могли зародиться науки; во всех них до их недавнего возрождения он видел лишь осколки знаний некоего первобытного народа, распределённые между всеми народами земли. Господин Сюр в обзорах всей европейской литературы, выходивших в «Иностранном журнале», отмечал, что гении этих двух наций с каждым днём всё выше возвышаются над остальными; казалось, они парят над человеческим родом как образцы, на которые тот должен взирать и которым обязан следовать.

Философия познания, революция и Нормальная школа

Революциями принято называть лишь те перемены, которые происходят в общественном устройстве народов, в самой природе и объеме управляющей ими власти. Незначительные изменения лишь разграничивают **возрасты**; более масштабные - создают **эпохи**; когда же они затрагивают все стороны социальной организации и охватывают многие народы, они получают название **ЭРЫ**. Даже если бы эти различия и определения не были общепринятыми, они могли бы послужить тому, чтобы лучше закрепить значения слов и идей.

То, что лишь разграничивает «возрасты», никогда не получает названия революции; то, что отмечает «эпохи», - изредка; но это имя всегда носит то, что основывает и провозглашает новую ЭРУ в анналах рода человеческого. Должно быть, крайне редко, а возможно, и вовсе не бывало примеров того, чтобы малейшее из этих изменений не сопровождалось бы предварительно неким аналогичным сдвигом в образе мыслей людей. Истинные же революции - ЭРЫ - всегда неизбежно подготавливаются множеством переворотов не только в самих идеях, но и в том искусстве, которое управляет их формированием - в том, что столь удачно называли искусством мыслить. Хотя о логике принято рассуждать лишь в академических стенах, именно она определяет всё, что происходит в мире. В зависимости от того, хороша она или плоха, она становится добрым или злым гением, ОРМУЗДОМ или АРИМАНОМ человеческого рода, подобно тому как это было у древних персов.

Революции в самой логике, по-видимому, бывают трех видов, которые соотносятся с делением на возрасты, эпохи и эры. Можно изменить лишь форму рассуждения; можно изменить точку зрения или сами идеи; наконец, можно изменить даже сам образ чувствования. Эта последняя революция случается лишь тогда, когда две другие признаются бессильными сделать людей благоразумными и счастливыми. Она по праву главенствует над обеими; она управляет ими, если сама при этом направляется предостережениями, непрестанно исходящими от природы.

Поскольку у всех людей одни и те же органы и могут легко научиться пользоваться ими одинаково, эта последняя революция разума - единственная, в которой люди всех сословий, богатые и бедные, невежды и ученые, могут объединиться, прийти к согласию и утвердиться навсегда. Только благодаря ей одной у народа могут сформироваться и сохраниться единые разум, воля, сила и свобода. Какой бы властью ни был наделен человек на земле, пытаться подавить подобную революцию, даже в самом зародыше, - значит бросать вызов силе, превосходящей его собственную. И когда успехи этой революции день ото дня растут в такой пропорции, предел которой неизвестен, пытаться заставить её повернуть вспять - это безумие и иступление.

Не всегда именно Александры заставляют мир умолкать или говорить, чтобы изменить его облик; но те, кто его действительно изменил - будь то завоеватели, первосвященники или простые граждане, - все они, подобно Александру, имели своего Аристотеля. Локк был Аристотелем последней английской революции; Франклин - американской. Как только Польша все-

рьез занялась выработкой конституции, она обратилась за логикой к «французскому Аристотелю»; и с того момента, как появилась логика, созданная для польской революции, всего несколько лет спустя началась французская революция. Эти четыре системы логики и все труды Бэкона направили свои основные средства и правила прежде всего на то, чтобы упорядочить использование человеком своих органов чувств и изменить его способ восприятия через правильное применение ощущений. К несчастью, подобным трудам требуются не годы, а столетия, чтобы принести плоды во всей полноте; и не все их последствия могут быть предвидены или даже предугаданы их авторами.

У нас потребовалось более сорока лет для проведения этой столь неполной и несовершенной революции идей; при этом едва ли можно насчитать двадцать лет в революции событий - от открытия Генеральных штатов до реставрации Бурбонов на престоле их предков. Дело в том, что революции событий совершаются силами толпы и страстей, всегда неистовых и стремительных, тогда как подготавливаются они - по крайней мере, те, что ведут к благу, - силами разума, самого осмотрительного из всех искусств в своих методах и самого медленного в своих триумфах. Разум вынужден одерживать победы не только над заблуждениями, рутиной и привычками, которые всегда обладают огромной властью, но и над другими искусствами ума и слова, которые обладают большим очарованием, чем он, и достигают своего полного расцвета в то время, когда он лишь начинает делать свои первые успехи.

Как только с помощью единственного рода доказательств, которые тогда были готовы признавать - то есть через факты достоверные, многочисленные и неоспоримые, - было доказано, что широкие народные массы могут быть просвещенными, и что их просвещенность служит одновременно и их благосостоянию, и их нравственности, - тогда власти со всем рвением и впервые на подлинно философских началах занялись вопросами обучения и воспитания тридцати миллионов душ.

Речь шла не о том, чтобы стяжать для наук и словесности новые успехи или очередную славу; требовался тот универсальный разум, который столь же необходим для удовлетворения любых повседневных нужд, в любом труде и во всем жизненном укладе, как и при открытии системы мироздания. Человеческий разум хотели не сформировать заново, а именно развить; ибо он сотворен Богом и мог быть создан только Им одним. И, как можно полагать, не проявляя при этом излишнего благодушия или снисходительности, никто не задавался целью штамповать по миллиону ученых и философов в каждом новом поколении.

Хотели, чтобы весь народ обладал здравым смыслом, а не стал сообществом ученых. Существует разум, общий для всех, кто не обделен природой; ведь видов разума не больше, чем человеческих видов: души различаются лишь по степени, подобно росту. Из этого слабого луча, присущего любому уму, хотели разжечь свет достаточно яркий, чтобы он надежно вел каждого сквозь туманные лабиринты общественной жизни; помогал выбирать лучшие методы в повседневных ремеслах; давал ясное и здоровое понимание наших прав и обязанностей. В этом обучении всё должно было быть почти обыденным, но при этом безупречным: оно должно было стать лишь развитием того инстинкта, что есть у младенца в колыбели и у дикаря, - развитием, выходящим в одном случае за пределы нужд колыбели, а в другом - за рамки лесных потребностей.

Нормальные школы - первый пример заведений, призванных обучать не столько наукам, сколько самому искусству преподавания - были учреждены министром народного просвещения. Руководили ими два члена Конвента, а профессорами почти на все кафедры были назначены те ученые и литераторы, чьи методы и таланты наиболее ощутимо перекликались с этим природным чутьем, скрытым в дикаре и младенце в колыбели; с тем божественным импульсом, который один только порождает всякий свет познания.

Три тысячи слушателей, которых называли «учениками», - при том что большинство из них уже сами были преподавателями, ценившими истину выше славы, - отнюдь не были обречены безмолвно внимать и ловить каждое слово УЧИТЕЛЯ. Напротив, сами правила этого

заведения прямо побуждали их задавать УЧИТЕЛЮ вопросы, кем бы он ни был, и вовлекать его в непредвиденные и спонтанные споры. Было вполне возможным, что дотоле безвестный ученик выходил из такой дискуссии, стяжав больше славы, чем профессор, с которой тот на неё пришёл.

То, что напуганный злой гений не дал нормальным школам времени довершить самим, было в значительной мере исполнено Политехнической школой, которая родилась в их недрах почти сразу после того, как они были организованы и открыты. Там всё способствовало равенству даже среди тех, кто по праву должен был стремиться к наградам и триумфам. Менее чем за десять лет из стен Политехнической школы вышли молодые таланты, чьи имена приближались к бессмертным именам **Лагранжа**, **Лапласа**, **Монжа**, **Бертолле**; а также офицеры, обладавшие выдающимися заслугами в тех родах войск, которые требуют столько же знаний, сколько и героизма; открытий в области физики и химии, которые обеспечили столь блестящие триумфы национальной промышленности в стенах Лувра, который и сам является величайшим из её чудес; новых основ наук, наиболее тесно связанных, с одной стороны, с насущными потребностями народа, а с другой - с мощью и величием государств; основ, изложенных с таким мастерством или, вернее, с такой ясностью, глубиной и возвышенностью, что в самом начале они обращаются к понятиям, общим и привычным для всякого ума, а в итоге достигают самых вершин творений, созданных двумя великими гениями математики и химии.

Столь многочисленные и разнообразные причины - и все они были весьма могущественны и возникли еще до принятия конституции III года - возымели столь благотворные и быстрые последствия, что люди, возвращавшиеся во Францию после нескольких месяцев отсутствия, бывали поражены новым плодородием полей; менее шумной, но более разлитой в воздухе радостью городов; жилищами, одеждой и пропитанием народа, которые перестали быть уделом бедняков; его речью, где становилось всё меньше провинциальных наречий и всё больше слов правильного французского языка, и где с каждым днем исчезали грубые провинциальные интонации перед возвышенным и единодушным говором свободной нации.

По поводу Пьера Бейля

Какой резкий переход от Библии к Бейлю! И всё же, как эти два чтения перекликаются между собой сами по себе - в уме, способном в равной мере постичь их оба! Безусловно, идея Бейля была новаторской, удачной и величественной: превратить исторический словарь в трибунал истории. Он не стал вызывать на этот суд без разбору все имена и события, прославленные в мировых летописях, но выбирал исключительно те, что во все века и у всех народов оказали наибольшее влияние на религиозные, политические и философские учения; тех, кто лучше всех направлял или сильнее всего сбивал с пути человеческий разум в мрачных лабиринтах систем, догм, законов и моральных норм, стоящих выше или ниже человеческой природы. Подобная книга, полная фактов и философии, придавала философии больше основательности, делая её доступной и увлекательной, подобно истории, а фактам сообщала больше значимости, превращая их в источники просвещения.

Стиль Бейля не импонировал господину Сюару так сильно, как его диалектика, и именно это делало изучение его трудов еще более полезным. Он читал его с пером в руке; заменял многословные фразы краткими изречениями, которые собирают и удерживают лучи, готовые рассеяться; подбирал те сжатые выражения, которые являются для света идей своего рода фокусом некоторых линз является для солнечного света. Ничего не меняя в самих фактах и рассуждениях, господин Сюар, находясь на острове Сент-Маргерит, переписал на свой лад довольно много статей для «Исторического словаря»: он считал необходимым связать с историческими событиями и картинами величайшие нравственные и социальные истины; ведь когда видишь, как они рождаются из человеческих деяний, они кажутся более естественными и обладающими большим правом быть их правилами и владычицами. История, говорил он, учит и проповедует мудрость с иным авторитетом и иной силой, нежели басни или апологи. Он хотел бы, чтобы Французская академия предлагала подобные исторические темы

для своих конкурсов прозы; это означало бы стремление объединить словесность с властью законов и престола.

Эти столь разные занятия, сочетавшие в себе уладу для воображения и пользу для разума - изучение Библии и Бейля, - часто напоминали господину Сюару или открывали ему вновь, что именно здесь, в бассейне Средиземного моря, где один из островов стал его темницей, зародились и получили свое первое великое развитие и народы, и религии, и законы, и общественные институты, и науки, и искусства - всё то, что в наибольшей степени направляло, сбивало с пути, прославляло или унижало человеческий род.

По поводу Фонтенеля

Судя по всему, Фонтенель издавна упражнялся в таких диалогах с самим собой. Он часто рекомендовал этот метод как средство для развития искусства мыслить и умения быть счастливым; его советы впоследствии стали правилами, изложенными в авторитетных трудах по красноречию и этике. Господин Сюар весьма удачно воспользовался еще одной, еще более характерной чертой ума Фонтенеля, чтобы выгодно представить собственный ум в этом салоне, где в ту пору рождалось и закатывалось столько литературных репутаций.

Теории о человеческом разуме, которые со времен Бэкона и Декарта заняли столь важное, а возможно, и первенствующее место в системе человеческих знаний, глубоко занимали Фонтенеля в юности. Долгое время казалось, что он от них отказался, но самая сильная страсть в его жизни вспыхнула, когда ему было почти сто лет, и это вновь была метафизика. Она заставляла его выходить за рамки того изящного и непринужденного стиля, для которого его, вероятно, предназначила природа, но из которого он также сделал некий принцип служения истине. В этом возрасте, когда всякое воображение угасает даже у тех, кем оно некогда полностью владело, он описывал в величественных образах ту силу, которую имела бы *теория способностей человеческого духа*, выведенная одновременно из устройства человеческого организма и из тех шедевров, что уже были созданы разумом и освящены тем всеобщим согласием, которое признает лишь очевидные истины. *«Она станет, - говорил он, - великим светилом, вознесенным между здравым смыслом, присущим всем людям, гением изящных искусств и гением наук; она сблизит их, она объединит их, позволив увидеть, что все они происходят из одних и тех же источников».*

Довольно обширные и весьма значимые наброски «Трактата о человеческом разуме» были обнаружены в бумагах Фонтенеля и впоследствии опубликованы аббатом Трюбле. И хотя они далеко не в полной мере воплощают всё то, чего сам Фонтенель ожидал от метафизики, они придают его чаяниям гораздо большую убедительность; они дарят человеческому разуму надежду, притом одну из самых обоснованных. Именно в этих фрагментах рука столетнего старца впервые запечатлела зачатки многих блестящих идей, развитых впоследствии лучшими метафизиками Европы.

Верный своему принципу, согласно которому *основной запас человеческих идей черпается из взаимного общения*, Фонтенель, по-видимому, намеревался составить этот трактат о человеческом разуме именно в салоне мадам Жоффрен. Он очень часто говорил о нем, и в этих беседах уже заключалась работа над книгой; однако он не вел подобных разговоров при всех. Несмотря на свою глухоту, он прекрасно распознавал тех, кто, по его выражению, был для тонкого пламени метафизики тем же, чем является дерево для пламени винного спирта - материалом, который это пламя не в силах сжечь. Именно по поводу подобных вопросов его племянник, небезызвестный господин Добе, чья страсть к спорам пробуждалась еще до зари, однажды принялся кричать в слуховую трубку своего дяди: «Я говорю...» — «Ах, вот оно что!» - подхватил Фонтенель и отвел трубку от своего уха.

Не имея возможности общаться иначе как с помощью этого средства, столь неудобного для окружающих, Фонтенель в подобных вопросах предпочитал говорить пространно, однако неизменно и крайне внимательно следил за мимикой и взглядами своих избранных слушателей. Когда взгляды эти выражали затруднение, замешательство в понимании или несогласие

с ним, он перенаправлял трубку (которая обычно висела на подлокотнике его кресла или лежала на коленях) от своего уха к лицам взволнованных собеседников.

Можно представить, какая требовалась душевная смелость и какой ораторский талант, чтобы вот так произносить на ухо Фонтенелю слова, которые из-за его трубки разносились эхом по всему салону. Однако идеи, ставшие глубоко привычными благодаря основательному и частому изучению, даруют даже самым скромным людям уверенность, необходимую для их выражения - даже перед лицом смущающего их собрания. Чтение **Бэкона, Гоббса и Локка** стало для господина Сюара делом настолько привычным, что он сумел побороть свою застенчивость и в присутствии стольких свидетелей представил Фонтенелю некоторые параллели и различия между его взглядами и идеями создателей английской метафизики; и весь салон, и Фонтенель, и в особенности господин Сюар были удивлены и очарованы тем мастерством, с которым он рассуждал об этих предметах, подобно человеку, который и сам уже стремится к полной ясности своих мыслей.

Один из друзей господина Сюара как-то спросил его, действительно ли он уверен, что Фонтенель питал в отношении прогресса разума столь же величественные надежды, как и некоторые философы, вышедшие из его школы. *«Лучшее, что я могу сделать, чтобы ответить вам, - сказал господин Сюар, - это пересказать один довольно остроумный диалог между самим Фонтенелем и его подругой, мадам Жоффрен».*

Мадам Жоффрен, чья душа была исполнена кротости, а поведение - величайшей осмотрительности, обладала, тем не менее, характером столь пылким и живым, что даже в её рассуждениях, как часто замечали, было нечто стремительное. То, что можно как следует рассмотреть лишь вблизи и не торопясь, она притязала видеть столь же отчетливо издалека и мгновенно; и в тот момент, когда она действительно почти угадала истину, она спросила Фонтенеля: «Не правда ли, я часто бываю права?» — *«Да, - ответил ей Фонтенель, - но вы бываете правы слишком рано».* Спустя мгновение он достал свои часы и, глядя на них, произнес: *«Ваш разум подобен моим часам: он спешит».*

«Вот, - добавлял господин Сюар, - то, что, по моему убеждению Фонтенель часто повторял бы некоторым из своих учеников. Если бы он и не нашел, что их разум заходит слишком далеко, то наверняка счел бы, что он движется слишком быстро. В те времена, когда нация, мало интересуясь политическими вопросами, признавала за литературными взглядами то значение, которое они будут иметь всегда - признают ли его за ними или же в нем отказывают, - господин Сюар имел весьма примечательные соображения о влиянии Фонтенеля; он распространял их далеко за пределы того, что называли его школой. Мнение господина Сюара требует того, чтобы на нем остановились на мгновение: оно со всех сторон соприкасается с «Мемуарами о его жизни» и с историей восемнадцатого века.

«Влияние Фонтенеля, - говорил господин Сюар, - как благотворное, так и пагубное, сказало на людях, чей гений или талант значительно его затмили, - на Монтескье, на Вольтере; оно подействовало даже на самих его врагов.

Среди его врагов самым учтивым, самым изобретательным и отнюдь не наименее ожесточенным был Ремон де Сен-Мар. Что ж, стоит почитать остроумные небольшие томики этого Сен-Мара: это почти тот же Фонтенель, сведенный лишь к его приятному изяществу и лишенный его высокого разума. Сен-Мар не находит лучшего способа превзойти его, кроме как подражать ему; за исключением гения, он перенимает у него всё, и прежде всего те недостатки, за которые он сам упрекает Фонтенеля, утверждая, будто тот навеки испортил вкус. Мадам де Риккбони весьма остерегалась столь же точно копировать «мариводаж», даже после того как объявила, что будет писать в духе Мариво.

Что же касается Вольтера и Монтескье, то достаточно сопоставить их взгляд на историю с определенной страницей из написанного Фонтенелем «Похвального слова Лейбницу», а их манеру исторического письма - с его «Историей оракулов».

В этом похвальном слове можно прочесть, что люди склада Лейбница, изучая историю, выводят из неё некие *общие размышления, возвышающиеся над самой историей*; что в этом путаном и необъятном нагромождении фактов они различают порядок и тонкие связи, открывающиеся лишь им одним; что более всего их занимает происхождение народов, их языков, нравов, мнений, и особенно - история рода человеческого и та преемственность идей, что рождаются у народов одна за другой. Если внимательно проследить их неразрывную цепь, это могло бы дать почву для своего рода пророчеств.

Разве не кажется нам, что мы слышим здесь автора книги о римлянах и автора очерка о нравах и духе народов, раскрывающих тайны и принципы их исторического гения?

Очень часто кажется, что читаешь именно их, открывая «ИСТОРИЮ ОРАКУЛОВ» - труд, являющийся всего лишь диссертацией, но столь заслуженно названный книгой. Именно там встречаются первые примеры того, как единичный факт используется, чтобы пролить совершенно новый свет на всё полотно истории, и как всё это полотно используется для объяснения одного-единственного факта. Там же мы находим и первые примеры той насмешки - одновременно и забавной, и грозной, - которой подвергаются сумасбродства целых народов и веков, когда кисть комедиографа на мгновение заменяет собой кисть историка.

Такова зачастую манера и Монтескье, и Вольтера; и поскольку она совершенно не похожа на манеру древних авторов, Мабли утверждал, что она искажает и принижает историю. Но когда в истории лишь выставляют на вид то смешное, что ей и так присуще, - это сама история унижает себя; истина же, составляющая подлинное достоинство историка, велит ему обращаться с историей так, как она того заслуживает. Над родом человеческим смеются, но при этом за него и краснеют; и этот двоякий эффект, составляющий славу Мольера, не может быть позором Вольтера. Различие жанров здесь не имеет значения: ведь стихи Мольера зачастую обладают всем величием даже античной истории.

Можно было бы предположить, что Мариво в ходе постоянного общения с Фонтенелем усвоил привычку отдавать предпочтение тем узким тропинкам человеческого сердца, из-за которых он сбился со столбовой дороги, - тем речевым ухищрениям, которым оскорбленный ими вкус дал название, производное от его собственного имени. Но гораздо вероятнее, что Мариво во многом обязан Фонтенелю той философией, которая обобщает описания характеров, страстей и общества так же, как это делают научные теории. Именно эта философия в «Марианне» открыла ему те главные пути человеческого сердца, от которых он держится столь далеко в своих комедиях. Именно она, возвысив его мысль, сделала его чувства достаточно глубокими и нежными, чтобы он смог достичь истинного красноречия сердца и страстей. Наконец, именно благодаря ей он создал тот роман, который Франция должна по праву считать одним из своих лучших литературных достижений, ведь даже англичане, создавшие в этом жанре столько шедевров, ставят его в один ряд с величайшими произведениями этого рода.

У нас нет переписки между Фонтенелем и Гельвецием, подобной той, что существовала между Гельвецием и Вольтером, в которой тончайшие наставления и сокровенные тайны столь трудного искусства - писать великие философские труды прекрасными стихами - были изложены автором семи поэтических рассуждений о Человеке, столь прекрасных, истинных и трогательных. Однако, хотя этот же мастер был вполне способен преподавать Гельвецию столь же ценные уроки в ином, не менее сложном искусстве - ясно и красноречиво излагать в прозе метафизические темы и вопросы, - автор трактата «Об уме» предпочел брать эти уроки у Фонтенеля, и они принесли ему куда больше пользы. Ведь в ясности ему никак нельзя отказать; его даже находили излишне ясным».

Кратко о Кондильяке, Дидро, Гельвеции

В то время как господин Сюрар, избрав скромную форму двух периодических изданий, столь успешно трудился над тем, чтобы собирать во Франции - по мере их появления - все образцы изящного вкуса и европейского просвещения, эта новая философия, чьи истоки мы

уже отметили и проследили, переходила от Фонтенелей, Монтескьё и Вольтеров к Бюффонам, Кондильякам, к издателям «Энциклопедии» и некоторым их соратникам, к Руссо, Вовенаргам и Гельвециям. В умах этих мыслителей - выдающихся, хотя и не равных между собой и не всегда схожих в своей манере чувствовать, мыслить и писать - она основывала на глубоких и смелых раздумьях, на ученых и ясных изысканиях свои доктрины или парадоксы о Боге, Вселенной, человеке и животных. Изложенные ясным или красноречивым слогом, эти идеи с энтузиазмом принимались как интеллектуальной элитой, так и самой толпой, которая была в восторге от возможности без лишних усилий и с таким очарованием приобщаться к тайнам природы и открытиям гения.

Бюффон первым, после сорокалетнего молчания, в течение которого все считали его занятым лишь переводом некоторых математических выкладок Ньютона, призвал всякий развивающийся разум к изучению естественной истории - всеобщей матери и кормилицы истинных наук и подлинных мыслей. В своем рассуждении, имевшем целью лишь изложить взгляды на способы изучения земли, вод, воздуха и того бесконечного многообразия существ, которых они являют взору или скрывают от него, он давал совет, столь же новый, сколь и благоразумный: сперва позволить взору просто блуждать среди множества предметов, не пытаясь сразу проникнуть в их суть или упорядочить их; позволить природе воздействовать на наши чувства прежде, чем мы сами начнем воздействовать на нее, и впитывать все впечатления прежде, чем приступить к наблюдениям. Со здоровой и весьма умеренной критикой он оценивал те методы классификации, которые были слишком произвольны, чтобы приносить пользу, и представляли собой лишь упорядоченные слова, подменяющие собой саму науку. Как искушенный и непогрешимый судья всяких достоинств и недостатков, он определял справедливую меру признания и порицания, которую заслуживают как современные авторы, так и древние, возвращая ту заслуженную славу, в которой с некоторых пор столь надменно отказывали Аристотелю и Плинию. Всё в его трудах было взвешено и оценено с такой ясностью, которая избавляла от любого утомительного напряжения мысли; и тем не менее, впервые с тех пор, как человек ищет истину, он определял и указывал на признаки, отличающие истины разных разрядов и различных степеней: ОЧЕВИДНОСТЬ, ДОСТОВЕРНОСТЬ, ВЕРОЯТНОСТЬ. В рассуждениях о теории земли, о формировании планет и о других тайнах природы, где возможны лишь умозрительные системы, он основывал свои собственные выводы на фактах столь многочисленных, прекрасных, так точно описанных, достоверных и упорядоченных, что, даже если разрушить эти величественные здания, разобрав их по частям, сами эти фрагменты останутся наиболее глубоким и философским трудом по естественной истории. Обо всех этих чудесах он повествовал со спокойствием и прямоотой, без всякого пафоса и ораторской аффектации, языком столь же правдивым, величественно возвышенным и многообразным, как сама природа; его слог можно было бы счесть излишне торжественным, если бы всё описательное богатство эпического стиля не было необходимым и верным выражением естественной истории, которую не следует путать с законами физики.

Кондильяк, появившийся следом, спешил не более Бюффона занять место на той арене репутаций, куда обычно стремятся ради личной славы чаще, чем ради торжества философии и истины; он не желал ничего писать, прежде чем сам не исследовал все глубины человеческого разума; и на этих путях, повсюду сверкающих яркими следами Бэкона и Локка, каждый его шаг становится открытием. Этих открытий не так много, однако в своих многочисленных трудах он всегда делал их более простыми и очевидными; они более не оставляют ни одному гению и ни одному веку возможности или надежды совершить нечто более прекрасное и полезное.

Уже в своей первой работе он совершает то, чего не удавалось никому прежде: дает точный перечень способностей и действий мышления. Он сводит их все к единому принципу, выстраивая из них цепь с очень немногими звеньями и подвешивая их все к этому самому

принципу. Все они - лишь этот самый принцип, всегда несколько преображенный, но неизменно узнаваемый и различимый в самых разнообразных его метаморфозах. И на этой небесной лестнице, поскольку она возносится к самым несомненным доказательствам существования божества и бессмертия наших душ, он раньше всех прочих замечает и отмечает уверенным штрихом на первой же ступени - в самом ощущении - ту точную точку, где с помощью малого числа знаков, посредством жестов, звуков, слов, букв и цифр, человек, который казался рабом внешних впечатлений, становится их господином и распоряжается ими так, словно сам является их творцом, будто по своей воле он дарует им бытие или лишает его. Эта истина всё еще ждала своего полного открытия, несмотря на всё то восхитительное, что написали и Бэкон - о призраках человеческого разума, рожденных несовершенством человека и всех его установлений, и Локк - о смутных понятиях, возникших из-за несовершенства языков. Это открытие, благодаря которому все возможные истины в мире нравственном могут отныне постигаться с такой же непогрешимостью и легкостью, как и расчеты математиков или их выводы о соотношении мира геометрии с законами мира видимого. Это открытие не просто освободило человеческий разум от деспотизма чувств; оно дало ему над самим собой и над волей такую власть, без которой для человека не существовало бы никакой свободы. Соединение этой власти с тем могуществом и силами, перед которыми склоняется мир, обеспечило бы народам единственное истинное благоденствие - то, что рождается из просвещения и добродетелей.

Предисловие к «Энциклопедии» и её проспект; сотня статей, превосходящих любые книги на те же темы; весьма разнообразный и даже удачно противопоставленный характер дарований обоих редакторов; один (**Дидро**) был вооружен той дерзостью, что стремительно несется сквозь тьму навстречу свету, другой (**д'Аламбер**) - тем расчетливым терпением, что не позволяет сделать ни шага, пока путь не будет озарен полным сиянием очевидности. Оба они привыкли дышать в высших интеллектуальных сферах двух бесконечностей - метафизической и геометрической. Но если один обладал словно бы той движущей силой, что выбрасывает небесные тела на касательные их орбит, то другой был наделен силой притяжения или гравитации, которая удерживает их подле своих солнц, дабы они наполнялись светом и жизнью. Всё это давало основания верить, что «Энциклопедия» станет не просто хранилищем уже накопленных богатств, но живой почвой, где прежние знания будут очищаться, а новые - рождаться повсеместно.

Какое мгновение! И наступления какой эпохи оно заставляло ждать! Какой величественный контраст являли собой все эти умы высшего порядка, в которых осмотрительность, побуждавшая их без меры множить сомнения и поиски, сочеталась с дерзостью, отодвигавшей или сокрушавшей любые преграды на пути их чаяний! С каким благородством они охватывали в своих исследованиях и трудах то, что прежде всегда было разобщено: языки, изящные статьи, естественную историю, математику, физику; эти совершенно новые теории познания и законы человеческого разума, призванные им управлять. Объединив все эти силы, они разделили между собой все владения мысли. Они провозглашали, что необходимо пересмотреть всё: от самых обыденных понятий до самых возвышенных, от ремесел и изящных искусств до наук, морали и законов. Они изображали гения в слезах и на коленях - то перед монархами, то перед народами, заклиная их и тех и других сжалиться над человеческой природой. Они уже набрасывали условия нового, более справедливого и благотворного общественного договора между властью и повиновением. В своих чаяниях о судьбах человеческого рода они словно ощущали некую божественную силу, которая рано или поздно воплотит их по всей земле; и, почти опьяненные множеством надежд, основанных на прогрессе разума, они пророчили приход философского Иерусалима, чье царство продлится более тысячи лет.

В этот самый миг раздался голос - не молодой, но доселе совершенно неведомый; он донесся не из глуши пустынь или лесов, а из самых недр того общества, тех самых академий и той философии, где обилие света порождало и питало столько надежд. Голос этот крепнет; всё на мгновение умолкает, чтобы внять ему; и вот, во имя истины, к которой этот голос взывает,

он выдвигает всему человечеству обвинение - против словесности, искусств и наук, против самого общества, на которое он возлагает вину за пороки, преступления, бесчестие и бедствия народов, раздавленных двойным игом своих богов и королей. Далекие от того, чтобы дарить или допускать хоть какую-то надежду на будущее, первые два рассуждения **Жан-Жака Руссо** предвещают, что следствием широчайшего прогресса наших знаний станет лишь еще более масштабный прогресс заблуждений, позора и невзгод. И вопреки расхожему мнению, вовсе не скандал стал всеобщим; почти повсеместными были восхищение и некое подобие трепета. Таково свидетельство даже самих соперников и врагов Руссо; таково свидетельство господина Сюара, человека, бесконечно далекого от подобных парадоксов и сурового ценителя тех редких талантов, что придали им такой блеск.

Да и могло ли быть иначе! Сколько струн чувствительности, сколько почитаемых мнений и религиозных культов сумело затронуть и поднять на защиту своих скорбных доктрин красноречие Жан-Жака! Какая душа, тронутая античными и республиканскими нравами, читая эту прозопопею Фабриция, написанную Руссо слезами на глазах у подножия дуба в Венсенском лесу, - кто не почувствовал бы искушения принять эти строки за одну из тех возвышенных, но утраченных страниц «Тускуланских бесед»? Какая душа не вообразила бы себя перенесенной в Рим, всё ещё свободный и добродетельный, но уже готовый навсегда утратить под губительным обаянием искусств свою свободу и свои доблести?

Какое сердце, привыкшее искать в чтении Евангелия утешение в жизни и смерти, не прониклось бы ещё глубже небесной благодатью этих священных книг и не почерпнуло бы в них больше силы и мужества после того, как о них заговорил Руссо? Какой человек, ещё не окончательно развращённый тщеславными и честолюбивыми страстями, не благословлял его сотни раз за то, что он столь высоко превознёс простоту нравов жизни трудолюбивой и скудной, и за то, что он столь решительно предпочёл её суетному блеску роскоши, которая ослепляет лишь на мгновение, чтобы затем вечно утомлять и разлагать?

Какой ценитель словесности, воспитанный на столь полноводных, чистых, глубоких и безбрежных источниках Греции и Рима, не увидел бы, что в прозе Руссо наш язык поднялся до самых величественных оборотов и форм, до самых страстных порывов и интонаций, присущих языку Цицерона и Демосфена? Какой ум, даже среди тех, кто придавал столь высокую цену европейским наукам, столь яростно искажённым их обличителем, не почувствовал и не распознал бы даже в этих пылких речах всю твердость и всю высоту того философского гения, благодаря которому знание обретается столь быстро и рядом с которым оно само по себе значит так мало?

Атакуемый со всех сторон королями, учеными, остроусловами и философами, какую силу и гибкость ума, какую мощь логики он проявлял в споре со всеми ними, отстаивая дело, которое казалось совершенно невозможным защитить! Те же обвинения против человеческого общества, столь часто повторявшиеся в том, что Руссо публиковал впоследствии, нисколько не опровергались его великими трудами о воспитании, морали и законах, которые, казалось бы, допускали возможность улучшений. Он писал их вовсе не для народов Европы, в судьбе которых всегда отчаивался, но для немногих избранных душ, для семей, способных укрыться от затопивших землю пороков на уединенных вершинах, куда никогда не дохлынули бы воды потопа.

Два писателя - **Вовенарг**, которого господин Сюар так никогда и не узнал, и **Гельвеций**, с которым он очень быстро вступил в близкие отношения: первый еще до появления рассуждений Руссо, второй спустя семь-восемь лет, опубликовали на ту же тему и почти под тем же названием книги, чьи учения, противоположные взглядам Жан-Жака и совершенно не согласующиеся между собой, также очень сильно привлекали и будоражили общественное внимание. Оба они рассуждали о разуме, о способах направить мысли к истине, а волю и даже страсти - к общественному благу. Вовенарг, хотя и был отчасти учеником Локка, был проникнут восхищением и любовью к великим гениям века Людовика XIV; его похвальные отзывы позво-

ляют лучше прочувствовать и сильнее полюбить их, и именно от них он ждал по преимуществу всего, чего желал и на что надеялся для людей. Гельвеций, будучи всецело последователем Локка, стремился возвыситься над своим учителем и доводил его принципы до крайности. Он утверждал относительно физической чувствительности то, о чем самая смелая философия может лишь догадываться; он предполагал между всеми умами такое равенство, которого люди желали не больше, чем равенства состояний.

Вовенарг, убежденный в том, что одна из первейших потребностей человека - постоянно приумножать чувство собственного величия, основывал на этой благородной потребности все принципы частной и общественной морали; он возвышал души, чтобы очистить и сплотить их. Гельвеций, полагая, что обнаружил, что самым универсальным первоначалом любого движения, любого усилия и любого действия является любовь к удовольствиям, и хотел воспользоваться этим всемогущим двигателем, чтобы сделать всякий долг более очевидным и легким; он верил, что даже самые суровые требования станут незыблемыми благодаря союзу наслаждений и добродетелей.

Вовенарг, прибегая к максимам и выразительному, глубоко прочувствованному слогу, придавал естественной морали торжественный тон религии и храмов; Гельвеций же, с его аналитическим подходом, пикантными рассказами, чувственными описаниями и стилем, богатым на образы, казалось, слишком часто превращал храм в театр.

Вовенарг тревожил лишь суеверия; Гельвеций, восстановив против себя всех фанатиков, внушил опасения даже тем разуму и добродетели, которые сам же и боготворил. Господин Сюар, близкий друг Гельвеция, всегда предпочитал небольшую книгу Вовенарга и даже сам подготовил одно из ее изданий.

Оба эти труда в равной степени выделялись среди тех, что запечатлели характер и веяния той эпохи, которым вскоре суждено было оказать мощное влияние сначала на общественное мнение, а затем и на события во всей Европе. Это влияние, действуя оно лишь через книги и чтение, вряд ли смогло бы столь стремительно произвести столь значительные и масштабные последствия. Именно в живых беседах оно обрело ту неуклонно растущую силу, которую ничто не могло превозмочь и которой суждено было всё изменить.

Юм во Франции и его конфликт с Руссо

В то время как другие народы уже являли собой образцы во всех видах талантов и цивилизации, Шотландия начинала созидать ту философскую школу, которой она дала свое имя, ставя её в один ряд с самыми прославленными школами древности и современности. Во Франции и во всей Европе стали меньше говорить об Оссиане и Фингале, и всё больше - о таких именах, как Юм, Адам Смит, Фергюсон и Робертсон. В ту пору между шотландской и французской литературами возникло нечто подобное тому, что часто наблюдалось в политике этих двух народов. Между ними завязалось больше связей, контактов, обменов и союзов, чем с разделявшей их английской литературой. Многие шотландские писатели, созидавшие литературную славу своей страны, поспешили посетить Францию и Париж; некоторые даже переехали туда, чтобы жить и творить. Первый пример тому подал Юм, который также стал первым, кто открыл эту великую школу человеческого разума. Как только он осознал масштаб своего гения, он почувствовал потребность оказаться под вдохновляющим небом Франции. Он прожил там три года подряд: сначала в Реймсе, а затем, более продолжительное время, в Ла-Флеше. Там он написал свой «Трактат о человеческой природе», свои «Исследования о человеческом познании», свои ИССЛЕДОВАНИЯ О ПРИНЦИПАХ МОРАЛИ; а также «Политические рассуждения».

Юм очень любил славу; он признавался в этом с простодушным истинного философа или ребенка. Он видел славу как в гонениях, так и в похвалах, однако его не столько преследовали, сколько обходили молчанием: все его произведения рождались и умирали в тишине. Столь многочисленные неудачи, как он сам говорит, не могли пошатнуть ни его жизнерадостность,

ни твердость духа. При малейшем проблеске успеха или при самой слабой надежде на преследование к нему возвращалось всё его мужество, и он возобновлял все свои труды. Впрочем, нашелся один англичанин - и только один - который был чрезвычайно высокого мнения о его «Исследованиях о принципах морали», но этим англичанином был сам Юм. Даже во Франции не от мужчин метафизика Юма получала больше всего похвал, а от женщин. И Юм находил французских дам очаровательными. Однако лишь в тот долгожданный момент, когда многие мужчины во Франции стали судить о ней так же, как и женщины, философия Юма начала вызывать в Англии и нападки, и рукоплескания.

Именно в Англии он написал историю этой страны, начав её с периода правления Стюартов; и на этот раз гонения, приносящие успех, по крайней мере в его собственной стране, не заставили себя ждать. Он восстановил против себя все политические лагеря: и виги, и тори ополчились как на саму «Историю», так и на её автора. Он внимательно прислушивался к ним всем, и хор их негодующих криков был для него подобен слаженной гармонии. Аплодисменты и восторги всей Греции, собравшейся на Олимпийских играх, не льстили Геродоту, отцу истории, больше, чем Юму - этот шум. Сам Юм описывает это в более простых выражениях, и именно благодаря такой простоте его слова кажутся более убедительными.

Во Франции, где политические партии еще не были известны, новая «История Англии» поначалу снискала одобрение всех умов и пришлась по вкусу каждому; повсюду она вызывала либо восхищение, либо глубочайшее почтение. Критика раздалась лишь спустя долгое время и не смогла долго преобладать. Первого же прозвучавшего восторженного отзыва могло бы хватить одного вместо всех остальных, или же он сам спровоцировал их последующую череду: это был отзыв Вольтера.

Вольтер, едва успев прочесть книгу, поставил труд Юма в один ряд или даже выше «Анналов» Тацита и «Декад» Тита Ливия. *«Никогда еще, - писал Вольтер из Юрских гор, - публика не чувствовала столь ясно, что не подобает никому, кроме философов, писать историю. Г-н Юм не кажется ни сторонником парламента, ни роялистом, ни англиканином, ни пресвитерианином; в нем видишь лишь выдающийся ум и человека беспристрастного. Он рассуждает о слабостях, заблуждениях и проявлениях варварства так, как врач рассуждает об эпидемических болезнях».* Эти слова, имевшие столь огромный вес, поскольку были написаны автором «Века Людовика XIV» и обширного, великолепного «Опыта о нравах и духе народов», были очень скоро напечатаны г-ном Сюаром в «Литературном сборнике» (*Variétés littéraires*).

Даже на основании этих немногих фактов, если бы кто и не знал его вовсе, можно было бы догадаться, что три страсти, которые своими успехами и неудачами более всего увлекают и терзают тех, кем они владеют, - литература, слава и истина, - будучи единственными страстями Юма, всегда оставляли его спокойным, наполняя при этом всю его жизнь. Лишь однажды, в тот раз, когда нападкам подверглась его добродетель, а вовсе не его таланты, он издал яростный крик; он издал его лишь единожды, и на всю оставшуюся жизнь вернулся к своему обычному спокойствию. Это было то самое обстоятельство, при котором жизнь Юма и жизнь г-на Сюара соприкоснулись наиболее тесно и в котором они более всего почтили друг друга. Поэтому я вынужден с большей подробностью описывать эти события, и я не считаю их лишними важности и пользы для тех, кто, изучая философов, должен наблюдать за ними и судить о них.

Хотя Жан-Жак уже рассорился с философами по многим причинам - из-за своей философии, которая не вполне совпадала с их взглядами, из-за своего красноречия, которое не соответствовало их стилю, и из-за своих манер, далеких от светских, - в дни преследований за «Эмиля» он не был ими оставлен. Они почувствовали всё превосходство этого труда, и, возможно, еще острее ощутили несправедливость и жестокость епископских посланий и постановлений судов. Не имея возможности защитить его от гонений со стороны этих двух сил, которые не всегда уступали даже короне, они нашли способ укрыть его от них; и Юм, собиравшийся уезжать в Англию, переносит Жан-Жака словно на руках на этот остров, где свобода так велика, хоть это и не та свобода, что описана в «Общественном договоре», и где многие пейзажи напоминают виды из «Элоизы», пусть им и не хватает солнца Веве.

В Париже с восторгом рассказывают, что англичане, более склонные к благодеяниям, нежели к внешним проявлениям чувств, осыпают Жан-Жака ласками, и что он не находит это дурным; что этот дикарь, этот республиканец обрел покровителя в лице короля и пенсию от престола. Юма и Жан-Жака уже не представляли себе иначе как в объятиях друг друга, обливающимися слезами радости и благодарности; и их счастье, ставшее плодом их добродетелей, придает в Париже сил философии, которую вечно обвиняют и которой постоянно угрожают. Внезапно на многоядном ужине у господина Неккера приносят и зачитывают вслух письмо Юма к барону Гольбаху, начинающееся словами: *«Мой дорогой барон, Жан-Жак - негодяй»*. Громко зачитывают и другие слова из письма Жан-Жака к Юму: *«Вы - предатель; вы привезли меня сюда лишь для того, чтобы погубить, предварительно обесчестив»*. Эти два слова - «предатель» и «негодяй», - которыми в те времена еще не разбрасывались столь щедро, как это вошло в привычку позже, прозвучали на этом ужине, а в ту же ночь и в доброй части столицы, словно два удара набата.

Это потрясение делает честь охваченной им нации: если не считать евангельского учения, обрушившего столько анафем на лицемерие и лицемеров, то само лицемерие слишком свойственно всем религиям откровения; оно слишком легко находит себе место и безопасность во тьме их заблуждений и лжи. Но если философы основывающие мораль на вечных началах человеческой природы и общества, обладают порочным сердцем, то те, кто обнаруживает это, могут счесть себя обманутыми самой моралью; и тогда и мораль, и общество обречены. Взволнованные умы разделились в своих убеждениях, как это случается в великих распрях, затрагивающих религии и целые народы. Мужчины, женщины, старики и молодежь - все становились на сторону Жан-Жака или Юма, исходя из сложившегося у них мнения о каждом, а еще более - из того внутреннего сходства, которое они находили или предполагали у себя с тем или другим. В обстоятельствах дела не было никакой ясности, и известия, которых Париж тогда ждал из Лондона с величайшим нетерпением, касались тяжбы двух философов - один из них был англичанином, другой - женевцем.

Жан-Жак бросил Юму вызов, потребовав опубликовать всю их переписку. Эта публикация, ставшая теперь необходимой, не заставила себя долго ждать; и каких только дискуссий не сулила эта схватка двух прославленных на всю Европу писателей, которые сами вытащили друг друга на великий суд общественного мнения!

Гордое право воздавать славу или позор двум великим талантам втайне примешивалось к интересам всеобщей морали; а весьма распространенный в ту эпоху и вполне естественный вкус к подобным словесным или стилистическим поединкам придавал этому ожиданию новую привлекательность. Какое это было бы зрелище, если бы народы Европы, подобно грекам, собиравшимся в древности на состязания Эсхина и Демосфена, могли съехаться в столицу, где дискуссии велись бы на языке, знакомом каждому! Споры, вызванные декретом Ктесифонта, представляли интерес лишь для славы оратора и для уже загубленной свободы Греции; разногласия же Юма и Жан-Жака со всех сторон затрагивали интересы морали - подлинные и величайшие интересы всего человеческого рода.

Эсхин и Демосфен были одинаково сильны в подобных битвах: их оружие было схожим по своей природе, но не равным по мощи. Оба были великими мастерами слова, однако Демосфен обладал им в несравнимо большей степени; и та сила, которая всегда сопутствует правому делу, также была на его стороне. В тяжбе Юма и Жан-Жака правая и неправая стороны были куда более окутаны мраком; а для того чтобы рассеять тьму, скрывающую истину, холодный анализ обладает совсем иной властью, нежели громы красноречия. Между тем «топор» Фокиона, которого не было в руках Эсхина, оказался в руках Юма: став еще более острым, он ранил еще больнее или, по крайней мере, проникал на гораздо большую глубину. Жан-Жак тоже вовсе не был обделен этим «топором» - отнюдь нет; к тому же в его распоряжении были громы небесные. Тонкость, сила, изящество, пафос - Жан-Жак обладал всем, что только способно дать красноречие. Был ли он невиновен, виноват или просто заблуждался, можно было не сомневаться: он не уступит Юму так же, как не уступил Д'Аламберу и Кристофу де Бомону.

И хотя для их споров невозможно было отвести ни судебную трибуну, ни театральные подмостки, казалось столь же невозможным, чтобы они не представили свою распря на суд всех народов, задействовав всю мощь своего гения и искусства.

Однако и Юм, и Жан-Жак сочли, что писателям, чья слава зиждилась на трудах, призванных просвещать человечество в его истинных интересах, не подобает занимать целые народы своими личными раздорами на арене, где тщеславия больше, чем истины. Из всего, чего от них ожидали, появилось лишь весьма краткое изложение дела со стороны Юма, на которое Жан-Жак ответил лишь глубочайшим молчанием.

Столь скудные слова и столь долгое молчание обычно свойственны лишь невинности; и, сам того не вполне осознавая...

что об этом следует думать, их воздействие на противоборствующие стороны оказалось подобно горсти песка, брошенной на рой разъяренных жужжащих пчел. Всё затихает; ни один голос, по крайней мере из значимых, более не слышен.

Читая те немногие страницы Юма, скрупулезно переведенные господином Сюаром, и письма Руссо, тщательно скопированные в ответ на его вызов, с трудом верилось, что Руссо мог разглядеть *предателя* в Юме - человеке, который, оказывая ему публичные услуги, в то же время окружал его благодеяниями молчаливыми и незримыми. Столь же непостижимым казалось и то, как сильное негодование могло настолько увести Юма от свойственного ему склада души, что он увидел злодея в том, кто вовсе не оскорблял его публичными обвинениями, а лишь высказывал ему лично, под печатью тайной переписки, подозрения скорее безумные, нежели оскорбительные. Кто мог бы найти разгадку этим двум тайнам? Именно господин Сюар приоткрыл завесу и указал на обе причины в нескольких строках своего вступления к тому самому изложению дела, что должно было уличить и посрамить Жан-Жака. Он нашел ключи к обоим загадкам в разительном контрасте характеров этих двух философов.

И в самом деле, какие контрасты! какой свет проливается на эти взаимные обвинения, из которых недруги Юма и Руссо, а в особенности противники философии, то и дело пытаются раздуть судебный процесс против самого разума, дабы лишить его законных прав и власти над руководством человеческими поступками! Этот свет не ограничивается лишь той распрей, которую он столь полно объясняет; он распространяется почти на все коллизии человеческого духа, и я считаю своим долгом провести параллель их контрастов. Обнажая истоки, из которых они проистекают, и показывая глубину этих источников, это сопоставление дает понять, сколь необходимо и в то же время трудно их исчерпать. Наконец, оно позволяет гораздо лучше узнать - от колыбели до могилы - двух людей, отныне навеки ставших великими в летописях рода человеческого.

Юм, рожденный среди скал, озер и тихих жителей Шотландии, долгое время созерцал лишь эти образы мира и покоя. Жан-Жак, чей путь начался меж горными потоками Юры и Альп, на границе Франции и Италии, впитывал в себя всё пламенное под небом одной страны и всё неистовое под небом другой. В семье, где почетные звания и богатства, по счастливой случайности, не должны были составить его наследство, Юм находит самые лучшие и богатейшие возможности для классического образования - тех занятий детских и юношеских лет, над которыми в Англии начинает главенствовать строгая философия, превращающая их прежде всего в школу разума и повседневную привычку рассуждать. Жан-Жак же, в лавке своего отца - часовщика и весьма деятельного гражданина крайне беспокойной республики - изо дня в день видит рядом с инструментами отцовского ремесла, рядом с напильниками, лупами и маятниками, томики Тацита, Плутарха в переводе Амио и романы Ла-Кальпренеда. Еще не достигнув семи лет, он запоем прочитывает жизнеописания прославленных мужей древности, проливает целые потоки слез над бедствиями римлян и не выносит из этого ничего, кроме привычки чувствовать всё - и горестное, и радостное - с гораздо большей силой, нежели другие люди.

Юм, по окончании великих университетов, вступает в большой свет - в свой родной мир, где ему нечего бояться и не на что надеяться. Обладая могуществом, которое дает независимость, он распоряжается своей жизнью по собственному усмотрению: ищет ли он книги или

людей, общество или уединение, Ла-Флеш или Эдинбург, дворцы или библиотеки - всё зависит лишь от того, что более соответствует его средствам, развитию его идей, его трудам и, в некоторой степени, его интересу к женщинам, который не может быть слишком пылким, поскольку он всегда остается ими доволен. Жан-Жак, почти еще ребенком, сбегает от своих наставников, от отца и с родины, ищет «прекрасных приключений» в самой ужасающей нищете, замирая лишь перед красотами природы и некоторыми женщинами; он взирает на них с таким трепетом сердца, который задушил бы его, если бы слезы не помогали ему дышать. Чтобы выжить, он поступает в приют для новообращенных, где внимает догматам и видит ужасы, которые в равной степени заставляют его содрогаться; без хлеба и крова, раз пять или шесть он со сладостным чувством спит под открытым небом, у края больших дорог, под деревьями, чьи птицы, пробудившись с зарей, подают ему знак к благодарственному песнопению, обращенному к сну, солнцу и Всевышнему. Лакей, прислуживающий за столом, - находясь в столь глубоком унижении для того, кого само рождение предназначало к участию в верховной власти республики, он трепещет перед той, которой служит, но трепещет от любви и надежды. Посреди поступков более чем постыдных, его мечты, неизменно героические и великодушные, вознесли бы его на троны и триумфальные колесницы, если бы он не предпочитал им небо над своей головой и деревушки перед своими глазами. Обладая лишь пятью-шестью случайно найденными книгами, которые он то заучивает, то постоянно забывает, он возвышается до принципа, согласно которому нужно не изучать науку, а изобретать её. Постоянно погружаясь в собственное воображение и созерцая его, он делает его столь же точным, сколь оно плодотворно и величественно. Вечно оставаясь рабом насущных жизненных потребностей, он создает законы, которые установили и обеспечили бы свободу и счастье мира, если бы мир только зарождался.

После четырех или пяти трудов с внушительными названиями и темами, с глубокими и смелыми идеями, написанных четким и ясным слогом, Юм всё еще не обрел ни поклонников, ни недоброжелателей, к чьему вниманию он стремится почти в равной степени; его сочинения мало покупают и еще меньше читают, а сам автор остается столь же невозмутимым при их неудаче, каким был и во время их написания. Напротив, при выходе в свет первой же работы Руссо, которая по сути была лишь парадоксом, а по форме - лишь речью, раздался всеобщий возглас восторга, и даже хулители признали его талант. Столь разные судьбы объясняются анализом, лишенным красноречия - инструментом Юма, и красноречием без анализа - инструментом Руссо; этих двух авторов ставят на противоположных полюсах литературного поприща.

Восторженная любовь и нежное восхищение красотами и дарами, которые открываются взору и сердцу в величественном зрелище земли и небес, уже стали для Жан-Жака обожанием и культом; но этот культ природы еще не является религией для автора «Эмиля». Самые ослепительные и трогательные красоты были бы для него скрыты в вечной тени, если бы он не признавал в природе душу, отличную от нее самой, - волю, которая движет ею и дает ей законы, коим материя подчиняется, не будучи в силах их познать. И это *Существо существ*, этого Бога, правящего вселенной, он вновь обретает в *Богочеловеке* Евангелий.

Юм почти никогда не произносит эти невыразимые имена божества, и делает он это вовсе не для того, чтобы, подобно другим, перенести его свойства на материю: он не признает за природой даже ту силу *причин и следствий*, которая ежедневно действует на наших глазах в последовательности и связи явлений. Своей философией он оспаривает свидетельства всех чувств; и в этих *ПРИЧИНАХ И СЛЕДСТВИЯХ* он видит не механизмы мироздания, а лишь склонности и способы нашего восприятия и нашего разума. В то время как Жан-Жак готов поклоняться всему - и Богу, и природе - как вместе, так и по отдельности, Юм находит способ не быть ни деистом, ни материалистом. Следовательно, причины, следствия и сами миры существуют для него лишь в человеке; они - лишь некоторые из его мыслей. Тогда как Жан-Жак, уносимый своими восторгами в обе бесконечности, словно в само лоно Божье, окружает своими гимнами престол Предвечного, Юм не выходит за пределы самого себя и полагает, что гармония небесных сфер может быть лишь результатом работы нашей логики.

Ум, характер и таланты Юма и Жан-Жака различаются ничуть не меньше и в том случае, когда один своей «Историей Англии», а другой - своими трактатами об общественном устройстве, в равной мере вызывают изумление и рукоплескания у всех читающих народов.

Всё то, что сохранилось в летописях нравственного мира, заставляет Жан-Жака лишь сожалеть о том, что они не погибли в огне целиком, подобно Александрийской библиотеке. Он забывает о чудесах тех античных добродетелей, которые столь часто воспевал своим красноречием, придававшим им величие. Погружаясь в Средневековье, он мнит, будто находится в хаосе мнений, где редкие и холодные крупницы истины теряются в безбрежности заблуждений и лжи. Античность с её доблестью и моральным величием кажется ему ниже жизни дикарей; сравнивая же нас с древностью, он видит в нашем веке лишь *осадок веков*. Посреди стольких народов, восхищающихся его слогом и желающих, чтобы он написал их историю, он заявляет им всем прямо в лицо: «У вас нет истории, у вас её никогда не будет, и я прекрасно знаю тому причину».

В то время как Жан-Жак рассуждал подобным образом, Юм обдумывал всеобщую историю Англии и писал её в самом ясном порядке, строго соблюдая последовательность времен и событий - от гальской поэзии и жизнеописания Агриколы до деспотических догм и катастроф династии Стюартов. Возвышаясь над всеми заблуждениями благодаря своему беспристрастию и отсутствию страстей, среди шума борьбы множества фракций и бесчисленных религиозных и политических переворотов, он определяет для каждого факта точную степень его неправдоподобности, вероятности или достоверности. Римская, протестантская и англиканская церкви в равной мере получают от него, в самой строгой пропорции, всё то, что истина обязывает высказать им в упрек или в похвалу; он заставляет служить прогрессу человеческой мысли даже те раздоры и споры, где обычно всё решается лишь верой и авторитетом. Он спокойно встречает негодование вигов и тори, не выказывая ни тем, ни другим постоянного предпочтения и никогда не отказывая им в признании, когда они того поочередно заслуживают; он проливает на истоки и основополагающие принципы английской конституции свет более чистый, нежели тот, что был доступен всем её создателям. Та слеза, которую Юм роняет над плахой Карла I и в которой так трудно ему отказать, он называет великодушной; и одним этим словом, которое якобиты прекрасно поняли, он лишается всякого права на их признательность. Весь прогресс английского духа, позволивший совершить огромный скачок и всему человечеству, он отмечает и оценивает так, как это сделали бы Бэкон, Ньютон или Локк. Величием и мудростью своих суждений, охватывающих период почти в двадцать столетий, он внушил такое восхищение бессмертному автору «Века Людовика XIV» и еще более масштабного «Опыта о нравах и духе народов», что Вольтер, имея перед глазами труды Тита Ливия и Тацита, ставит сочинение Юма выше этих двух шедевров античности; он призывает Англию, в свою очередь, воздвигнуть памятник своему историку не в усыпальницах Вестминстера, а на общественных площадях столицы.

В этой грандиозной работе, где его мысль расширила свои границы, душа Юма - способная принимать по-настоящему живые впечатления лишь от доводов разума - получила некое глубокое впечатление, которое, тем не менее, могло бы показаться ограничивающим для кругозора историка и философа. Он был словно напуган той легкостью и опасностью, которые представляют собой две крайности: принимать за действительность то, что очаровывает воображение или пугает его. Впечатления от этих вещей, говорил он, почти всегда подменяют собой доказательства; и чтобы избежать беды - веры в собственные вымыслы, - необходимо во многом сомневаться, даже в том, что видишь воочию. Жан-Жак часто сомневается в том, что находится у него перед глазами, и почти никогда - в том, что порождает его фантазия. Он сам признает и повторяет это сотни раз: те же самые предметы, что лишь едва задели его чувства, полностью подчиняли его себе в ходе последующих раздумий. Его воображение, столь властно захватывающее читателей, свои первые и самые сильные чары обращает на него самого; его логика торжествует над чужими заблуждениями, но в житейских делах служит лишь для подкрепления его собственных ошибок. Примером тому служит восклицание «Жан-Жак, я тебя

поймал!», которое явно было лишь сном, но которое он приводит как одно из доказательств коварства Юма.

Сон и явь для Жан-Жака - два состояния, гораздо менее отличные друг от друга, чем для всех прочих людей. Диалектика его сновидений связывается с диалектикой бодрствования, а та - со снами следующего дня; он уже не мог отделить и отличить приснившееся от того, что слышал и видел наяву. В этом переплетении ночных и дневных идей его разум подавлен всей мощью его гения, и его совесть может с одинаковой искренностью подтверждать как ложь, так и правду.

Необходимо проследить эти разительные противоречия вплоть до того, как Юм и Жан-Жак уходят из жизни. Смерть Юма - медленная, безмятежная, постепенная; она тянется целый год и всё это время остается столь же свободной от страданий, сколь и от страхов. Как только она подступает, он начинает с любопытством наблюдать за ней; и едва заметив, что с каждым днем она заходит всё дальше, он пытается вычислить, насколько быстро она прогрессирует. Можно подумать, что он почти искушен желанием начертить её график, вывести её закон и формулу. Смерть Жан-Жака - внезапна. Выпив чашку кофе со сливками - завтрак, который он любил больше всего, - он отправляется на прогулку, чтобы поприветствовать солнце и тенистые рощи Эрменонвиля; он возвращается в то же мгновение с улыбкой на устах и смертью в глазах; и когда хотят закрыть ставни, говорит: «Нет, откройте их шире, чтобы я мог еще раз увидеть это прекрасное солнце».

Ни предатель не может умереть так, как Юм, ни злодей - как Жан-Жак. Но два человека, и даже два философа, представляющие собой столь непрерывный контраст на протяжении всей своей жизни, слишком легко могут обвинить друг друга в подлости и предательстве. Их общие друзья, ведь они у них еще оставались, должны были прежде всего опасаться ставить их в зависимость от благодетелей и признательности: подобные отношения даже между натурами самыми схожими и гармоничными редко заканчиваются так же, как начинались. Надлежало всячески остерегаться устанавливать их между тем, кто, находясь в тисках нужды, открыто провозглашал неблагодарность, и тем, кто, будучи всегда непоколебим, подобно вечному разуму, не умел ни подозревать, ни замечать мнительности души гордой, нежной и до крайности непостоянной.

Настоящей удачей в этом споре стал выбор господина Сюара в качестве переводчика и издателя его «Краткого изложения». Если бы среди знаменитых мужей того же круга - а все они были друзьями Юма и лично уязвлены выходками Жан-Жака - Юм выбрал, к примеру, Дидро, то, сколь бы кратким и сдержанным ни был текст Юма, Дидро окружил бы его со всех сторон вступительными речами, примечаниями и дополнениями - в высшей степени красноречивыми, страстными и способными сделать истину еще более трудноуловимой.

Чтобы верно судить и о Юме, и о Жан-Жаке, требовалось обладать меньшей чувствительностью, чем первый, и гораздо большей, чем второй. Именно такая мера душевного тепла была присуща господину Сюару; и это, если можно так выразиться, при такой интеллектуальной температуре рождаются те счастливые умы, без которых человеческий разум всегда пребывал бы либо в оцепенении, либо в лихорадочном жару, и всегда оставался бы во тьме.

Другим качеством господина Сюара, которое он проявлял с самого детства и сохранил на всю жизнь, была смелость мысли: он выслушивал все мнения, но принимал решения лишь самостоятельно. Он никогда не ставил даже самую малую истину на одну чашу весов со священными обязательствами самой нежной дружбы.

Почти все в окружении господина Сюара судили об этом споре так же, как мадам Жоффрен. А вот как судила о нем сама мадам Жоффрен - именно так она сформулировала свой приговор в записке к Мармонтелю: «То, что вы сообщаете мне о Руссо, лишь подтверждает, что мое чутье безошибочно. Всем известно отвращение, которое я всегда к нему испытывала. Я ГОВОРИЛА, ЧТО У НЕГО БЛЕСТЯЩИЙ УМ, НО ОЧЕНЬ ЧЕРНАЯ ДУША». Автор «Письма о зрелищах» и «Элоизы» - всего лишь блестящий ум! Автор «Исповедания веры савойского викария» и «Письма к парижскому архиепископу» - очень черная душа!

Пусть мы восхищаемся господином Сюаром и, прежде всего, любим его еще сильнее, но не стоит ни возмущаться, ни даже удивляться этим яростным словам столь достойной женщины: было невозможно чтобы мадам Жоффрен, для которой благотворительность была насущной потребностью, простила Руссо, не любившего ни благодеяний, ни благодетелей.

Известно, что именно господин Сюар перевел в Париже - сразу же после её публикации в Лондоне - ту столь краткую и искреннюю автобиографию Юма, написанную им самим на краю могилы. Менее известно (поскольку на это не обратили внимания), что именно господин Сюар в нескольких строках предисловия к этому жизнеописанию первым в Европе начертил рядом с именем Юма титул *великого человека*.

Это прекраснейшее из всех званий. Сотни раз самая низкая лесть расточала его власть имущим, и те, кто раздает его подобным образом, лишь подчеркивают собственную низость. Дружба, чьи иллюзии весьма велики (хоть и не в той мере, как у любви), или энтузиазм, который вовсе не желает преувеличивать, но невольно переоценивает заслуги, также наделяют этим титулом и ошибаются. Однако их заблуждение, вполне простительное, редко передается другим и никогда не бывает долговечным. Когда же это звание присуждает сама истина, любые попытки его оспорить лишь с каждым днем придают ему новый вес и признание; вскоре его начинает повторять голос целых народов и мудрецов. Когда этот титул становится почетным дополнением к имени истинного философа, это превращается в провозглашение славы, самой чистой и самой полезной для человечества; и, без сомнения, тот, кто первым провозгласил подобное вознесение, также заслуживает определенной доли признательности от будущих поколений.

Адам Смит и шотландская философия

Робертсон и господин Сюар вели между собой активную переписку; при этом они, как мне кажется, ни разу не виделись - ни во Франции, которую Робертсон так и не посетил, ни в Англии, где господин Сюар бывал трижды. Вызывает сожаление, что ни во Франции, ни в Англии им не довелось провести какое-то время вместе, подобно двум братьям, чья слава в глазах общества была столь же близкой и родственной. Имя **Фергюсона**, столь заслуженно прославленного в шотландской школе, также почти не упоминается среди тех великих людей восемнадцатого столетия, что жили у нас или путешествовали по нашей стране.

Тот, кто явился миру сразу вслед за Юмом, не был его учеником; он в принципе не мог быть чьим-либо учеником - он был его другом. Именно **Адам Смит** был самым близким свидетелем долгой предсмертной агонии Юма и именно он закрыл ему глаза. Визит Смита - самый почетный из всех, что знала Франция. Смит оставил после себя несколько трудов, являющихся лишь отдельными набросками, и два великих сочинения. К наброскам относятся «Рассуждения о происхождении и образовании языков», «Опыт истории астрономии», еще один «Опыт истории метафизики» и третье - по истории логики; двумя же главными его трудами являются «Теория нравственных чувств» и «Трактат о формировании и обращении богатств». Как в этих набросках, так и в больших сочинениях ярким светом сияет превосходство его гения и анализа - его излюбленного инструмента. Тем не менее, отнюдь не желая умалить славу этого английского имени, приумножающего число великих людей Британии, но стремясь еще раз подтвердить на вполне определенных фактах сходство двух философий - английской и французской, - на которые мы возлагаем столько надежд ради будущего мира, я считаю себя обязанным заметить и даже подчеркнуть, сколь многим Смит обязан нашей философии или сколь много он мог из нее почерпнуть.

Его «Рассуждения о языках» явно были вдохновлены трудами Кондильяка, Дидро и Жан-Жака. Почти во всем они согласуются или аналогичны мыслям аббата Коппино, которые столь достойны постоянного размышления везде, где люди говорят и пишут. Та самая причина, которой Смит приписывает как зарождение, так и все успехи астрономии - а именно беспокойство и терзания воображения, длящиеся до тех пор, пока оно не будет полностью удовлетворено тем, как явления выводятся одно из другого, - эта самая причина заключается именно в

том, что привело в движение весь гений Декарта; она ввергла этот слишком пылкий ум во многие заблуждения, но все его ошибки лежали на пути к истине; достаточно было отбросить их, чтобы обнаружить истинные законы движения, законы тяготения и небесных явлений.

Всеобщий принцип Смита в «Теории нравственных чувств» - СОЧУВСТВИЕ (СИМПАТИЯ), эта физическая и всеобщая предрасположенность сострадать бедам и радоваться благам, для которых мы лишь зрители, - отчетливо осознан и развит во многих наших книгах по метафизике, морали и эстетике; он ярко проявляется в самом характере французской нации, которая является самой общительной из всех и ближе всего стоит ко всем нравственным добродетелям, несмотря на все свои недостатки, лишь потому, что она - та самая нация, где сочувствие имеет наибольшую власть. Вплоть до нашей страсти к подражанию - всё проистекает из сочувствия. К счастью для человеческого духа, подражая, мы совершенствуем.

Принцип *разделения труда*, который является не единственной основой, как было сказано, а одной из основ шедевра Смита, - этот принцип, применение которого столь обширно, уже блистал в статье «ИСКУССТВО» нашей «Энциклопедии», в тех же выражениях, с меньшим количеством коммерческих подробностей, но с широтой, охватывающей все виды труда. Глубокое презрение Смита ко всей торговой и политической рутине, к этому ограниченному уму правителей, министров и таможен, не способных ни на что, кроме возведения преград и установления запретов, - это презрение уже давно разделяли и наши экономисты. Пусть их доводы не обладали такой же силой, но сами аргументы были теми же: как и Смит, они выводили их из фактов и опыта мировой промышленности и торговли.

Глубокое изучение Смитом теории французских экономистов и его анализ, который скорее расшатывает, нежели опровергает некоторые положения их доктрин, служат двойным доказательством того высокого уважения, которое он к ним питал, и тех познаний, что он у них почерпнул. Смит не предлагает никакой общей теории налогообложения взамен их теории единого налога; чтобы решиться на описание подобной системы, он слишком ясно осознавал, что бюджет Англии нуждается в получении налогов с земель, промышленности и торговли всего мира. Однако предложенный экономистами единый налог, будь он истиной или парадоксом, есть и будет вечно оставаться теорией, наиболее достойной самого пристального внимания и применения человеческого разума. Если среди грядущих перемещений и переселений народов земного шара - среди тех измученных народов Европы, которых влекут к себе великолепные и плодородные пустыни Нового Света, - найдутся один или два, которые постигнут эти теории достаточно глубоко, чтобы воплотить их в жизнь с мужеством и осмотрительностью, то эти два юных народа станут образцами для Старого Света, и Старый Свет вновь обретет молодость.

Книга Смита сразу же получила признание во Франции; она и по сей день стоит несравненно выше всех трудов по политической экономии. Помимо математики, это самое величайшее применение анализа - того инструмента, который краснобаи вечно стремятся превратить в орудие вреда, едва ли не смерти, и который неизменно следует представлять им как единственный путь, позволяющий пролить на все идеи разума, на все интересы человечества и на всё, что способно совершенствовать человека и его бытие, тот свет познания, что дарует всему жизнь и плодородие.

Говорили, что если бы счастье человеческого рода могло родиться из поэмы, оно родилось бы из «Телемака». Полагаю, это было бы правдой в те далекие эпохи, в те века, наполовину легендарных, наполовину исторических, когда народами в большей степени управляло воображение, нежели разум и расчет; когда первыми потребностями и первыми радостями жизни были движения сердца и искусства, их воспеваящие. Всё изменилось: жизнь человечества более не может быть ни героической, ни пасторальной; скипетр мира перешел в руки технических ремесел, наук и промышленности. Именно промышленность, опираясь на анализ, подчиняющий ей законы и силы природы, отныне одна способна удовлетворять колоссальные нужды народов. Изящные искусства всегда будут украшать праздники жизни, но они более не распоряжаются самой жизнью; их слава - в том, чтобы облагораживать разум, и они уже не могут узурпировать его трон. Благоденствие человеческого рода отныне может проистекать

лишь из книг, подобных труду Смита, - из тех работ, где анализ, примененный с тем же мастерством, точностью и размахом, превратит всех просвещенных им людей в союз руководителей производств, чьими единственными работниками станут природные стихии, и правителей, умеющих повсеместно устанавливать порядок так, чтобы нигде не приходилось отдавать приказы.

Такова, очевидно, была цель Смита, который был далек от пустого восторженного мечтательства и который, дабы не скомпрометировать разум, с трудом сдерживал своё красноречие, которое всегда готово было вырваться наружу и ослепить слушателя. Господин Сюар, которому восторженность была столь же подозрительна, быстро распознал эту цель как в трудах, так и в беседах Смита.

Со времен Бэкона и его «Царства природы» это было стремлением всех великих умов Англии; и Сюар был далек от мысли, что цель, к которой тянулись такие люди, недостижима. Именно он первым перевел и опубликовал в «Методической энциклопедии» фрагмент «О происхождении и формировании языков». Будучи недоволен переводом «Теории нравственных чувств», выполненным Блаве, и переводом труда «О формировании и распределении богатств» Руше, он несколько раз был готов сам взяться за новую работу. В итоге он выразил признательность госпоже де Кондорсе и графу Гарнье: их блестящие переводы избавили его от необходимости вновь представлять перед публикой в качестве обычного переводчика.

Я должен, однако, сказать - поскольку это правда и может оказаться полезным, - что его восхищение великой книгой Смита не было лишено упреков и критики. Он находил её трудной для чтения и подозревал, что лишь немногие прочли её целиком в Франции, где начинают читать гораздо больше книг, чем доводят до конца.

Господин Сюар добавлял, что дело вовсе не в какой-то неясности его выражений или фраз - напротив, их было слишком много. Автор чересчур стремился придать изложению своих доктрин и их практическому применению безупречную геометрическую очевидность. Он не вполне обратил внимание на то, что в доказательствах последователей Евклида, чей метод он перенял, многочисленные и постепенные выводы в итоге - какой бы длинной ни была логическая цепь - сводятся к одной-единственной мысли. Поскольку все эти звенья тождественны, они нагружают память и разум не сильнее, чем если бы это звено было всего одно.

Однако совсем иначе обстоит дело с истинами физического и, в особенности, нравственного порядка. Они редко строятся на тождественных идеях; почти всегда это идеи лишь сходные, которые можно объединять в группы и системы, но невозможно свести к истинно неделимым величинам - простым, дробным или собирательным. Подобные проблемы как до, так и после их решения занимают в мыслях слишком много места; они утомляют разум до крайнего изнеможения, если включать в доказательства абсолютно всё, что только можно туда включить, и не ограничиваться лишь самым необходимым выбором среди сходных идей тех, что главенствуют и без всякого ораторского искусства облачаются в яркие выражения; если, одним словом, стремиться высказать всё самому вместо того, чтобы заставить читателя задуматься.

Господин Сюар также утверждал, что в вопросах нравственных истин настолько важно давать всё прочувствовать, а не всё доказывать, что в силу некоего инстинкта, который сам управляет методами, а не подчиняется им, по мере того как умы обогащаются истинами подобного рода, языки становятся более сжатыми и лаконичными. Подобные фигуры умолчания (эллипсисы) - это, так сказать, нравственная алгебра языков. Именно благодаря этой своего рода алгебре, через краткость, подобную той, что встречается на каждой строке у Тацита и Монтескье, и через систематические таблицы, подобные тем, что составлялись для «Энциклопедии» и работ по политической экономии, человеческий разум сумеет создать подлинные законы всего общественного устройства - точно так же, как с помощью математической алгебры он смог вычислить гармонию и созвучие небесных сфер.

То, о чем господин Сюар говорил более тридцати лет назад, основываясь лишь на собственных впечатлениях, впоследствии также утверждал или давал понять господин Дуглас Стюарт (Douglas Stewart), ученик и друг Смита, его преемник на профессорской кафедре в

Глазго. Чем больше человек будет читать и обдумывать этот шедевр Смита, тем глубже будет убежденность в правоте этих замечаний; однако эта критика при всей ее обоснованности станет по-настоящему полезной лишь в том случае, если превосходно составленное изложение этого великолепного труда сделает столь обширное собрание важных истин более доступным для понимания и запоминания. Для этого их следует изложить более сжато и последовательно, отсекая избыток доказательств, порожденных излишней математической скрупулезностью при обосновании выводов.

Если бы вместо того, чтобы рассматривать научные труды лишь как свидетельства славы их авторов, в них видели бы средоточие света человеческого разума, истинные таланты стремились бы скорее совершенствовать великие памятники философии, нежели множить их число. Тогда менее многочисленные книги реже заслуживали бы упрек Соломона в том, что они - великое томление духа. Все, что действительно стоит знать, содержалось бы в небольшом числе книг, чтение которых доставляло бы истинное наслаждение.

Господин Дуглас Стюарт, чье имя мы лишь упомянули, - последний прославленный писатель шотландской школы, с которым господин Сьюар был знаком в Париже. Он часто видел его в своем салоне, а иногда и в своем небольшом загородном доме в Фонтене-о-Роз. Метафизика господина Стюарта, в своей основе та же самая, что и у Локка и Смита, ставшая еще более ясной благодаря многочисленным примерам, почерпнутым из физических и нравственных наук, была чрезвычайно близка вкусам господина Сьюара. Она служила ему утешением на фоне успехов метафизики Канта, которая почти во всем противоположна учению, возобладавшему в Англии и Франции и принесшему столь великую славу своим основателям и огромную пользу всем наукам.

Самая благоприятная и, возможно, единственная подходящая эпоха для изучения человеческого разума с целью написания его подлинной истории - это то время, когда множество великих истин уже открыто благодаря случаю, опытам и размышлениям, но древние заблуждения и ученые или хитроумные системы всё еще оспаривают у истинной философии право властвовать над человеческим умом. Именно тогда, обращая взор попеременно то от заблуждений к истинам, то от истин к заблуждениям, можно легче и вернее заметить, какое именно применение наших интеллектуальных способностей порождает и те, и другие. Становится понятно, какое методическое направление мы должны придать нашему уму, чтобы во всем избегать ложного и достигать истины - по крайней мере там, где она не выходит за пределы досягаемости наших чувств и всевозможных сочетаний нашего опыта и размышлений.

Со времён Бэкона человеческий разум находится именно в таком состоянии, и именно в этом состоянии господин Стюарт застал его, чтобы описать. Провидение пожелало, чтобы эта революция свершилась одновременно с теми переменами, что призывают все народы к свободе. Однако даже самая полная и упорядоченная свобода всё еще была бы слишком малым вкладом в общее благоденствие народов без господства самого здравого разума и без помощи сил природы, покоренных и подчиненных человеку благодаря физике. Настали времена, когда должно исполниться изречение древних: люди будут счастливы лишь тогда, когда правители станут философами, а философы - правителями. Свободные и просвещенные монархи и народы перенесут философию в законы и на троны - именно так и следует понимать эту аксиому.

Господин Сьюар испытывал некоторое беспокойство, но не слишком тревожился из-за споров между **немецкой философией** и **философиями Англии и Франции**. Он замечал прежде всего, что немецкая философия почти столь же бесплодна в своих заблуждениях, сколь и в истинах; а её силлогические и схоластические формы делают её крайне малопривлекательной для широких масс - а значит, и для человеческого разума в целом который признаёт истину лишь в её чистых формах и по внезапным вспышкам света, являющимся её верным признаком; что она едва ли способна вербовать последователей, за исключением немногих умов, достаточно крепких для того, чтобы бесконечно вращаться в круговороте трёх или четырёх древних и глубоких заблуждений, не страдая в этом вечном кружении от головокружений и

дурноты; что те же самые умы, выходя из этого круга, где изнурительные упражнения закаляли их ещё больше, проявляют в иных материях силу, приносящую пользу истинам насущным.

Наконец, он отмечал, что даже во Франции эту философию приняли люди с от природы ясным умом, которым стоило бы немалых усилий утратить эту ясность; что вместе с ними можно было бы с честью выйти на мировую арену, дабы рассудить, какой именно философской системе по вечному праву принадлежит скипетр власти над человеческим разумом. Он полагал, что этот спор вскоре прекратился бы, превратившись в своего рода поединок на закрытом поле между равными по силе противниками, между душами, в равной степени искренними. Господин Сюр не сомневался, что господин Дуглас Стюарт, чьими трудами и личностью он восхищался всё больше, явится к барьеру этого турнира с той скромностью и уверенностью, присущими защитникам человеческого разума.

Связи французского и итальянского Просвещения

Италия, столь раздробленная в результате захватов, - но где захватчики и даже тираны ради собственного удовольствия всегда давали пищу тем светочам искусств и наук, что были зажжены, дабы вести народы по пути цивилизации, - Италия в XVIII веке следила за успехами Просвещения во Франции ничуть не менее внимательно, чем Англия, и тому взлету умов, которые были столь смелы лишь потому, что руководствовались методами более осмотрительными и верными. В прежние века французы посещали Италию чаще, чем итальянцы Францию; теперь же прославленные имена Италии и Франции встречались друг у друга как минимум в равном числе. Вовсе не наши античные памятники, не наше небо и не наши искусства, хотя они и были вполне достойны их внимания, привлекали к нам итальянцев; это были наши науки и наши философы, придававшие их умам столь необычный склад; это были идеи, полные надежд для будущих поколений всех народов.

Два периодических издания внесли мощный вклад в установление новых путей литературного и философского общения между этими двумя прекрасными странами: «Иностранный журнал» (*Journal étranger*), то есть журнал всей Европы, издаваемый в Париже с таким вкусом и талантом господином Сюра и аббатом Арно; и «Кафе» (*Le Café*), выходивший в Милане с не меньшим успехом под руководством маркиза Беккариа, маркиза де Вери и их достойных соратников. Статьи из «Иностранного журнала» часто перепечатывались в «Кафе», а статьи из «Кафе» - в «Иностранном журнале». Никогда прежде новые идеи не распространялись так быстро и так далеко.

Однако в Италии ещё меньше, чем где-либо, довольствовались лишь чтением наших современников: их хотели видеть и слышать лично. В самом деле, нигде не были так твердо убеждены в том, что печатные станки выдают далеко не всё, что выходит из-под пера, а перья, в свою очередь, не выражают всего, что рождается в человеческих умах.

Политика итальянских дворов, обладавших в высшей степени тонким чувством такта, с большой прозорливостью выбирала своих послов и посланников во Францию. Это были люди, способные с одинаковым достоинством представлять Италию как на конгрессе философов, так и на совете министров. Таков был маркиз Караччоли, который мгновенно и на всю жизнь стал другом д'Аламбера; этот дипломат, чьи остроты разлетались по всей Европе, превращал здравый смысл в нечто веселое и колкое.

Аббат Галиани, насколько мне известно, не имел никакой иной миссии, кроме тех, что возложил на себя сам; и он исполнял одновременно три или четыре роли с таким талантом или, по крайней мере, успехом, который граничил с чудом: он был красноречивым импровизатором, тонким комментатором, шутом и подлинным гением. Бесспорно, он поражал даже выдающихся людей; однако есть основания полагать, что это изумление превращалось в восхищение лишь благодаря некоему особому обаянию. Прежде всего, секрет мог крыться в его чрезвычайно малом росте; он был карликом, а любые человеческие достоинства в карлике вызывают легкое восхищение как в обществе философов, так и при дворах монархов. Самое

непостижимое суждение об этих импровизациях Галиани принадлежит аббату Морелле: он восторгается ими и ставит их в один ряд с импровизациями Бюффона. В этом кроются две ошибки: одна - против вкуса, другая - против истины. Никогда человек не был столь непохож на самого себя, как Бюффон пишущий и Бюффон говорящий. В беседе, где неизбежно приходится импровизировать, его речь - даже когда дело касалось предметов, способных возвысить слог - была обыденной и простоватой, как у лавочника с улицы Сен-Дени. О его манере выражаться ходили анекдоты, которые многих забавляли. Казалось, он отдыхал от великолепия собственного стиля: он позволял тетиве своего расслабленного лука волочиться по земле. Должно быть, аббат принял декламацию Бюффона за его импровизацию. Прежде чем попасть в печатные станки Панкука, труды Бюффона были с такой же точностью запечатлены в его памяти; он мог цитировать и цитировал от начала и до конца свою «Теорию Земли», свое «Рассуждение о стиле» и «Эпохи природы». Безусловно, подобные импровизации выходят за рамки обычных человеческих способностей.

Что касается комментариев Галиани к Горацию, то в них больше от эрудита, чем от человека с тонким вкусом; и ученость этого аббата ничуть не помогает лучше прочувствовать лирические стихи - подобно тому как, к примеру, труды Гейнекия не помогают глубже постичь весь гений законов, красноречия и морали Древнего Рима. Господин Сюар, который первым представил эти комментарии публике, очень радел об их репутации: он любил их как человек, присутствовавший при их рождении.

Что же до звания гения, то оно могло быть признано за аббатом Галиани лишь благодаря его «Диалогам о торговле зерном». И действительно, читая эти диалоги, поражаешься многогранности его ума, широте и разнообразию познаний в предмете, который он разбирает. Древняя и современная история в их связи с вопросами пропитания народов знакомы автору настолько хорошо, вплоть до малейших подробностей, что кажется, будто даже в аналитических трудах Ньютона и Локка почти не осталось тайн, неведомых этому итальянцу, пишущему на нашем языке так, словно он для него родной. Он столь искусен и ловок в том, чтобы противопоставлять самой очевидности некие облака, которые кажутся окрашенными или подсвеченными ею же. Наконец, сама форма диалога делает дискуссию то столь живой благодаря вопросам и репликам, скрещающимся подобно молниям, то столь воодушевленной благодаря развитию мыслей, где одна лишь логика во многом уподобляется красноречию, что сочетание всех этих качеств легко можно было принять за те достоинства, которые возводят ум и талант в ранг гения. Именно такое впечатление работа произвела на Дидро; но она ничуть не ввела в заблуждение господина Сюара.

В самом деле, что же такое гений? Это способность различать и улавливать среди вечного мрака новые воззрения и истины, имеющие значение для всего человеческого рода. Однако среди множества блестящих мыслей Галиани нет ни одной новой; и все те, что он приводит, далеко не устанавливают важные истины, а лишь расшатывают или омрачают многие из них.

Аббат Морелле ответил на диалоги аббата Галиани своим сочинением, написанным в иной форме; это его лучший труд, истинный шедевр аналитической мысли, но он не имел никакого успеха. Все дело в том, что в нем царит один лишь анализ: этот труд принес бы автору триумфы и венцы у народов, достаточно просвещенных, чтобы видеть истину там, где она пребывает, и там, где на нее прямо указывают, чтобы предпочитать её изыскам стиля, которые скрывают истину вместо того, чтобы выставлять её напоказ. Впрочем - ведь не стоит скрывать от самих себя слабую и прискорбную природу нашего ума - анализ, то есть разум, действительно является вещью самой необходимой; но, при нашем человеческом устройстве, он не может быть для нас единственно важным. Украшать истину - значит портить её; однако истине присущи свои собственные красота и изящество: они составляют часть её доказательной силы, и именно благодаря им её любят больше всего.

Другой итальянец, тоже человек весьма оригинальный, всю жизнь изучал медицину, но никогда не занимался ею на практике. Обладая всем гением Гиппократов и почти таким же скептицизмом, как Монтень и Мольер, **Гатти** также был очень знаменит в Париже. Его слава не сохранилась так же хорошо, как слава Галиани, хотя он и имел некоторые общие заслуги с

Вольтером и леди Монтень. Гатти способствовал распространению во Франции практики инокуляции - открытия, столь полезного ещё до появления вакцины! Его небольшая книга об инокуляции кажется намного выше всего, что было написано в Европе по этой теме, которая открывала перед медициной словно целый Новый Свет. Говоря об этом способе прививать болезнь, чтобы уберечь от её самых ужасных последствий, Гатти рассуждает обо всех видах ядов, о столь поразительных феноменах их различного воздействия на разные органы жизни, о вирусах и причинах эпидемий, которые являются не чем иным, как теми же ядами; при чтении кажется, будто это опыты, поставленные Сиденгамом, но осмысленные и описанные Бэконом.

Гатти питал к господину Сюару, которого едва знал, привязанность, подобную тем, что рождаются в детстве, чтобы длиться всю жизнь. О госпоже Сюар он говорил: *«Это единственная красавица, в которую я никогда не был влюблен, и одна из тех, кого я любил сильнее всего»*. Философия и медицина Гатти были *наивными* - именно этим словом характеризовал их господин Сюар, добавляя: *«Именно Гатти следовало быть врачом Мольера. Не знаю, стал бы Гатти еще большим скептиком, но я уверен, что Мольер стал бы куда более доверчивым»*. Скептицизм Гатти в отношении медицины был, однако, лишь следствием той безупречной ясности ума, которая не позволяет доверию выходить за рамки научного знания. Скорее его шутки, нежели рассуждения, могли заставить поверить, будто это неверие еще сильнее. Например, по поводу классификации болезней, излишне размноженных, по его мнению, Совежем, он как-то обронил, что владеет классификацией куда более краткой и исчерпывающей, которую он признавал состоящей всего из двух классов: **тех болезней, от которых не умирают, и тех, от которых умирают**.

Этот оригинальный взгляд на вещи, его неизменная привычка крайне мало читать и очень много наблюдать собственными глазами, его довольно долгое пребывание в Константинополе и на берегах Черного моря наделили его множеством суждений, которые поначалу казались весьма странными, но при размышлении представлялись уже не столь парадоксальными. Вовсе не разделяя, к примеру, суждений Жан-Жака об искусствах и науках, он был глубоко убежден, что в их нынешнем состоянии искусства и науки дают народам Европы больше гордости, чем счастья; и что азиатские невольники, избавленные от множества путаных познаний, которые скорее утомляют и сбивают с толку рассудок, нежели направляют его, учатся благодаря одному лишь правильному использованию своих чувств полнее наслаждаться жизнью и меньше страшиться смерти. Он сравнивал жизнь богатого и просвещенного европейца, вечно спешащего в больших столицах из библиотеки в библиотеку, из одного общества в другое, из академии в академию, с одного представления на другое, с жизнью турка, чуждого всем этим утехам, который, возлежа на подушках перед лицом Черного моря, сверкающего во всех лучах дневного светила, питает пламя своего смутного воображения всем жаром изысканнейшего кофе из Мокко; окруженный курильницами, которые издали доносят до него все ароматы Востока; окруженный прелестными рабынями, которых он любит ровно настолько, чтобы они дарили ему множество удовольствий и ни единой заботы; разделяя свой взор между Европой, Африкой и Азией - ведь все три они лежат перед его глазами, когда он позволяет им блуждать по величественным картинам мироздания, чтобы затем возвести их к небесному своду, где он ищет Творца миров, к Которому обращает лишь одно молитвенное слово: **АЛЛАХ!** И такой день, который столь многие турки проводят так часто и так легко, казался Гатти заключающим в себе больше тайн и больше возможностей для счастья, чем могут найти европейцы в том, что они называют исключительно радостями ума, вкуса и души, но что для большинства из них является лишь муками их собственного тщеславия и беспокойных мыслей.

«Я поверю, - добавлял Гатти, - в благоденствие вашей цивилизации и в ее совершенство лишь тогда, когда Европа перестанет быть заросшей терновником и когда в ней не останется более ни грубиянов, ни педантов, ни лжеумствующих». Эти слова Гатти не могли сильно уязвить гордость Европы; они оставляли ей все те надежды, что лелеялись со времен Бэкона, Галилея и

Декарта; они лишь заставляли острее чувствовать потребность и стремление оправдать их все в полной мере.

Италия, которая еще в пятнадцатом веке в одиночку открыла путь к глубоким познаниям и искусствам, в восемнадцатом столетии вместе с Францией содействовала всяческому прогрессу в области нравственной и социальной философии. **Маркиз де Беккариа** и **маркиз де Вери**, еще молодые, но уже входившие в первый ряд философов, прибыли вместе в Париж - подобно тому как из всех краев Греции мудрецы съезжались на пиры в Фивы, Коринф и Афины, ставшие великими вехами в истории веков и человеческого разума. Связанные дружбой, напоминавшей ту, что объединяла Монтеня и Ла Бюэси, Вери и Беккариа разделили между собой, согласно своим трудам и талантам, вопросы политической экономии и темы управления уголовным правосудием - то есть всё то, что самым непосредственным образом касается безопасности, свободы и благоденствия народов. Именно аббат Морелле и господин Сюар состояли с ними в наиболее активной переписке; они же были теми из наших литераторов, кто поддерживал в Париже самое тесное знакомство с этими двумя прославленными итальянцами. Те были не только знамениты, но и в высшей степени любезны; в их чертах, в манерах и в их речах проступали и дышали французское и итальянское изящество.

В наших кругах о них рассказывали, что всю их душу наполняли и всю их судьбу определяли три чувства: взаимная дружба; неизменная любовь к женщинам, которые были старше их самих; и преданность всех их помыслов правам и счастью человеческого рода. *«Их можно принять, - говорила мадемуазель де Леспинас, - за знатных вельмож, которые стали обычными людьми, чтобы открывать полезные для мира истины, и наставниками, чтобы заставлять эти истины обожать или прощать, наделяя их таким же обаянием, каким обладают они сами»*. Аббат Морелле и де Вери, оставаясь наедине, беседовали преимущественно о политической экономии; и хотя полное согласие в принципах делало споры между ними почти невозможными, даже вечность пролетела бы для них незаметно в этих беседах, не нуждавшихся в таком подспорье, как полемика.

Когда же Беккариа и господин Сюар прерывали их уединение, предметами разговора становились уголовное законодательство Англии, Франции и Италии в сравнении с принципами и взглядами, изложенными в трактате «О преступлениях и наказаниях», а также наиболее любопытные и значительные различия в литературных вкусах трех народов, сопоставленные между собой и рассмотренные под углом зрения «Исследований о стиле» - другого труда Беккариа, - открывали перед четырьмя философами, когда они собирались вместе, куда более широкие горизонты для бесед.

Впрочем, стоит признать: пока оба путешественника оставались в столице, внимание и интерес города были почти целиком прикованы к автору трактата «О преступлениях и наказаниях» и к самой этой книге. Все, кому доводилось видеть автора воочию, испытывали неодолимое желание и потребность перечитать его труд: книга лежала на каминной полке в каждом из салонов, где он бывал. Именно так во Франции деликатные знаки лъстивой учтивости не раз служили и наградой за выдающиеся таланты, и средством распространения идей Просвещения.

Именно тогда трактат «О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ И НАКАЗАНИЯХ» вызвал в сердцах тот сладостный трепет, которым чувствительные души откликаются на голос защитника человечества. Тогда же это волнение проникло даже в те души, что были закрыты для сострадания суровой моралью законов. Целые народы, эпохи и их правосудие предстают перед судом на страницах этой небольшой книги; самая трогательная и в то же время возвышенная философия призывает и понуждает их дать отчет в тех судебных формальностях, которые прикрыты тем же секретом и тем же мраком, что и кражи с убийствами; в тех зверских пытках, применявшихся при допросах, которые тогда называли «вопрошанием»; в тех ужасных казнях - виселице и колесовании, - которым в равной мере подвергали и слугу, укравшего у господина двадцать экю, и того, кто зарезал его в постели; в тех вечно обгаренных кровью эшафотах, которые, казалось, воздвигались скорее для того, чтобы приучить к убийству, нежели отвратить от него; в этой массе воображаемых преступлений, таких как *колдовство* и *ересь*, обвинения в

которых не имели иных пределов, кроме подозрений и фантазии, именно в силу того, что за ними не стояло никакой реальности. Читая трактат *«О преступлениях и наказаниях»*, можно было поверить, что само правосудие, изгнанное на небеса, сошло оттуда в образе Беккариа, дабы собственноручно сокрушить храмы и законы, носившие его имя, но куда более походившие на святилища, культы и божества Тавриды.

Философия Беккариа поднималась на еще более недостижимую высоту, когда оспаривала у человеческого общества само право закреплять в своих кодексах смертную казнь; когда она делала тяжесть преступления мерилom силы, которой должны обладать доказательства - как по своему числу, так и по своей природе; когда она отказывалась признавать достаточными те доказательства, которые **ИСКЛЮЧАЮТ ЛЮБУЮ ВЕРОЯТНОСТЬ НЕВИНОВНОСТИ**; и в отличие от тех писателей, что истощаются по мере творчества, он становится тем плодотворнее, чем больше пишет: его последняя глава о способах предупреждения преступлений не просто лучшая во всем труде - она, вне всякого сомнения, превосходит саму книгу. Пожалуй, ни одно произведение, опубликованное в восемнадцатом столетии, не может сравниться с ней в описании трех или четырех великих и отчетливых эпох в истории человечества, - от момента выхода человека из лесов до того времени, когда свет идей философа озаряет монархов, законы и простой народ.

В первую эпоху религиозные заблуждения, населившие землю ложными божествами, служат для человечества великим политическим благом; на дерзких мужей, что обманули род людской и привели покорное невежество к подножию алтарей, нельзя смотреть иначе как на благодетелей. Во вторую эпоху человек, чей ум полон лишь сверхъестественных и ложных представлений, переносит их на изучение природы и тем самым превращает все ростки истины в пагубные заблуждения: астрономию - в астрологию, естествознание - в магию, а мораль - в пустые или роковые суеверия. Первые изыскания разума ослепляют и развращают его, вместо того чтобы просвещать. В третью эпоху человек стремится выбраться из глубокой тьмы, которой он, по собственному признанию, окружен; и в этот мучительный переход от невежества к философии, от рабства к свободе целые поколения приносятся в жертву ради счастья тех, кто должен прийти им на смену. В четвертую эпоху пожар утихает, восстанавливается спокойствие, а народы освобождаются от бедствий, что их угнетали. Истина, чьи шаги поначалу медленны, но затем ускоряются, восседает на тронах рядом с монархами и обретает в собраниях народов свое почитание и свои алтари.

Кто же начертил эту картину? Был ли это господин Сюар, или я сам, или кто-то другой из тех, кто полностью застал предпоследний из этих периодов и увидел начало последнего? Нет, и в этом можно убедиться, открыв трактат *«О преступлениях и наказаниях»*; это Беккариа описал всё более шестидесяти лет назад, еще до того, как проявились первые признаки какой-либо революции. Именно он пришел к великому выводу: преступления невозможно предотвратить, а уголовные законы не могут быть справедливыми и благими до тех пор, пока всё общественное устройство не будет преобразовано в век подлинного просвещения; до тех пор, пока законы - политические, гражданские и уголовные, ясные и простые, - не станут создаваться не столько для покровительства различным сословиям граждан, сколько для каждого гражданина в отдельности; и до тех пор, пока все не станут бояться законов **И НЕ БОЯТЬСЯ НИЧЕГО, КРОМЕ НИХ.**

Эта глава Беккариа, которую господин Сюар не раз перечитывал в последние дни своей жизни, казалась ему исполненной пророчеств; и он, столь преданный славе всей школы шотландской философии, был готов предпочесть её двум томам *«Истории гражданского общества»* Фергюсона - сочинению, примечательному своими многочисленными достоинствами и пользой.

Политическое расхождение философской среды: Лавуазье, Кондорсе, Тюрго, Морелле; затем - исключение моральных и политических наук из Института

С самого первого заседания законодательного собрания, хотя все его члены только что в равной мере принесли присягу всем институтам нового общественного строя, стало заметно, что они если еще и не разделились окончательно, то, по крайней мере, распределились по двум лагерям: одни были более преданы нации, чем трону; другие - более трону, чем нации. Первые были полны тревоги за колыбель свободы, вторые - за всё то, что удалось сохранить от прежней монархии. Настроения депутатов отражали состояние всей Франции; они усилились по всей стране в тот самый миг, когда народ узнал, что именно такие взгляды господствуют среди его представителей.

Все собрания и сколько-нибудь известные общества столицы, поглощенные тогда этими вопросами так, словно они были канцеляриями или комитетами законодательного корпуса, оказались расколоты, подобно самому законодательному собранию, в своих симпатиях и своих опасениях. Невозможно перечислить все эти общества, но о некоторых упомянуть необходимо, чтобы верно понять дух того времени, политические взгляды господина Сюара и причины столь многих заблуждений, принятых за преступления, - заблуждений, которые с тех пор принесли столько разорения обоим полушариям.

Вскоре стали регулярно проводиться встречи двух кружков, имевших не противоположную, но различную направленность; они проходили в формате обедов - одни устраивались еженедельно, другие же ежедневно. Первый кружок, объединявший тех, кто более всего опасался за судьбу монархии, собирался у господина де Булоня. Он был одним из тех генеральных откупщиков - довольно многочисленных в ту пору, - которые были финансистами не на манер Тюркаре, а походили скорее на Аттика или Гельвеция. Своё богатство они использовали для того, чтобы окружить себя прекрасными произведениями искусств и светом философии. Там постоянно присутствовали господин Сюар и **Дюпон де Немур** - человек, чья долгая жизнь была посвящена осмыслению добродетелей и гения Тюрго, а также основ всевозможных свобод и общественного процветания. Будучи уже почти восьмидесятилетним старцем, он трижды пересекал океан, покидая родину, когда видел её в рабстве, и возвращаясь, когда считал её свободной. Там же бывал и **Лавуазье**, совершивший в химии столь яркую революцию, столь богатую истинами и плодами процветания, привнеся в неё свой гений, своё состояние, а также принципы и язык Кондильяка; который в то время, когда первые представители Франции трудились над её конституцией, в одиночку работал над планом народного образования, достойным народа, основывающего свою свободу на собственном суверенитете; который анализировал принципы разума с тем же мастерством, что и химические свойства тел и газов, и готовил к печати для Франции метафизические теории столь ясные, что их сочли бы продолжением «Логики» для Польши; **аббат Морелле**, один из самых ревностных и неутомимых защитников прав народа против сословий и их привилегий; и который, не отрекшись ни от единой истины, скончался в возрасте девяноста трёх лет, почтённый пенсионом от Людовика XVIII и уважением даже со стороны аристократии, прощавшей ему и его логические доводы, и его песни.

Те же, кто более опасался за судьбу нарождающейся свободы - которой её обширные пределы сулили лишь больше врагов и, возможно, больше слабостей, - чаще всего проводили свои встречи у глав торговых и промышленных домов, людей весьма способных, которые благодаря широте своих практических знаний и смелости своих планов стремились вывести французскую промышленность на мировой уровень, добившись большего торгового оборота и большего могущества, чем объединенная промышленность Голландии и Великобритании; а еще чаще - в тех кабачках, что уже давно были отчасти облагорожены именами Шапеля, Шольё и Пирона, в тех тавернах, где во времена революции не раз велись беседы, достойные государственных советов.

Там же с неизменным постоянством бывал и тот самый **Кондорсе** - единственный из секретарей Академии наук, который, заняв место Фонтенеля, унаследовал и всё величие его ге-

ния; который, написав «Жизнь Вольтера», сумел настолько возвыситься над всеми историками и панегиристами этого великого человека, что встал в один ряд с ним; который, не будучи чужд естественным человеческим страстям, питал их, впрочем, лишь к разуму, человечности и свободе. В нем эти благородные страсти были столь сильны и глубоки, что вскоре обрекли его на смерть, по сравнению с которой кончина Сократа, умиравшего в беседах с друзьями и учениками, кажется уже тем апофеозом, который вскоре был ему воздан; многие из самых выдающихся членов национального Учредительного собрания, которые, не имея официальных полномочий, всё же не считали себя свободными от обязательств перед лицом множества опасностей, угрожавших отечеству и престолу; те самые жирондисты, уже прославленные красноречием Верньо и множеством метких изречений Дюко - слов, исполненных вкуса и глубокого смысла; эти депутаты, истинные патриоты и последователи школы Монтескье, выдвинутые, так сказать, торговым городом и состоявшие почти в равной степени из коммерсантов и адвокатов, причём каждый из них был щедро наделен ораторским даром.

Сегодня почти невозможно убедить большинство в том, что среди столь влиятельных людей из этих противоборствующих лагерей одни вовсе не ставили своей целью установить республику на руинах трона, а другие - вернуть престолу его самые деспотичные и абсолютные prerogatives. Однако полагать так - значит странным образом заблуждаться и насчет тех, и насчет других.

Во-первых, если бы конституция - в том виде, в каком она существовала или какой могла вскоре стать, будучи измененной или укрепленной дополнительными законами, - их не устраивала, неужели все они были такими людьми, что могли бы без малейших колебаний поклясться ей в верности, а затем без тени раскаяния нарушить свою клятву? Кондорсе и Дюпон де Немур, давние друзья Тюрго, столь долгое время пребывавшие в союзе ради самых священных правил морали и государственного управления, - разве могли они так легкомысленно отнестись: один - к клятвам, данным народу, а другой - к клятвам, данным королю?

Это общеизвестный факт, подтвержденный множеством свидетельств, что свои первые пожелания свободы Европе и, следовательно, Франции Кондорсе адресовал королям, а не народам. Именно в эти выдающиеся умы, в силу своего воспитания закрытые для многих истин, основанных на инстинкте и чувстве, он надеялся легче внедрить и укоренить всю систему природных законов, без которых невозможны ни порядок, ни общественное благополучие. Примеры Фридриха Великого и Екатерины II, которые почти на его глазах соединили в себе всю полноту абсолютной власти с идеалами просвещенной философии, - примеры, которыми, как и самим Вольтером, тогда была полна вся Франция, - убедили его в том, что просвещенный монарх гораздо более способен создать свободную конституцию, чем народ, только что разбивший свои цепи. Никто не страшился невежества толпы, её озлобленности, её страстей и её революций (которые почти всегда оказывались лишь сменой одного заблуждения на другое или одного ига на другое) сильнее, чем Кондорсе. Знаменитое изречение Тюрго: *«Дайте мне пять лет деспотизма, и Франция станет свободной»*, - Кондорсе никогда не произносил вслух, но оно неизменно читалось на его губах. Более всего он не мог понять, как правители, которые хотя бы раз в жизни читали историю народов, коими они управляют, не видели на каждой странице, насколько власть, ограниченная законами вечной справедливости, обширнее и надежнее, насколько легче ею пользоваться и насколько больше она приносит им славы и радостей, чем власть, отданная на волю их страстей и капризов.

Одна женщина, которая - даже если истина порой и ускользала от неё - всегда писала лишь ради того, чтобы почтить её и дать ей восторжествовать, утверждала в печати, будто депутаты Жиронды прибыли из Бордо именно для того, чтобы превратить монархию в республику. Автор этих мемуаров доподлинно знает и утверждает, что всего за пять-шесть дней до ночи с девятого на десятое августа, когда дворец Тюильри и сам трон были сокрушены, двое из этой депутации, имевшие на неё наибольшее влияние, едва ли подозревали о существовании каких-либо республиканских планов в Законодательном собрании. Когда же это подозрение впервые закралось им в душу, они содрогнулись от негодования и гнева, словно добропорядочные люди, которых пытаются сделать соучастниками тяжкого преступления.

И если бы таковыми не были их принципы и их чувства, то как объяснить то высокое красноречие, которое проявил один из них и которому рукоплескали все остальные, выступая в поддержку того обращения к народу, столь способного внести раскол в уже провозглашенную республику и столь же способного вскоре привести их самих на тот же эшафот, где погиб король? Какое еще преступление можно было вменить им в вину, когда после свершившейся великой катастрофы они с таким блеском и искренностью предстали в рядах тех представителей Франции, которые были наиболее способны успешно осуществить для своей страны и с пользой для всего человечества опыт установления республики в недрах древней монархии?

Истина же - и это случается почти всегда в подобные эпохи - заключается в том, что пока мыслящие люди, поглощенные некими разногласиями, наблюдают друг за другом и спорят, не в силах прийти к согласию, поскольку не могут ни до конца понять, ни полностью разгадать намерения друг друга, те, кто преследует в обеих партиях лишь личные интересы и амбиции, готовят с обеих сторон заговоры, нападения и убийства.

Переворот 18 брюмера, осуществлённый силой штыков, и Консулат, принявший столько монархических черт ещё до того, как стать пожизненным, породили два вполне верных убеждения как среди республиканцев, так и среди эмигрантов. Господин Сюар не оставлял этих мыслей даже в то время, когда Европа была покорена или трепетала: первое заключалось в том, что сосредоточение всей исполнительной власти в руках одного консула положит конец многим внутренним беспорядкам революции; второе - в том, что если этот консул и воздвигнет трон, то этот трон вскоре будет принадлежать Бурбонам.

Господин Сюар, вернувшийся с этими двумя надеждами, вскоре привлёк к себе взгляды и внимание первого консула. В ходе первых **преобразований в Институте**, целью которых было исключение нравственных и политических наук, чтобы затем было легче упразднить во Франции и саму республику, господин Сюар был назначен на должность бессменного секретаря второго отделения; оно представляло собой Французскую академию. Тридцать лет назад он уже состязался за это самое место с Мармонтелем; та борьба была тем более почетна для господина Сюара, что предпочтение, отданное Мармонтелю, объяснялось не превосходством вкуса или таланта, а лишь значительно большим числом его весьма достойных сочинений. В то время господина Сюара упрекали в том, что он якобы одобрил исключение отделения нравственных и политических наук. Однако он не мог ни одобрить, ни осудить этот шаг: они были исключены из состава второго отделения еще до того, как он в него вступил, и он видел в этом отделении лишь Французскую академию, в которой их никогда и не было. *«Напрасно их исключают как научное сообщество, - говорил господин Сюар, - они всё равно войдут туда под эгидой Французской академии, когда наши выборы откроют двери тем истинным литераторам, чей талант служит красноречивейшим выразителем общественного мнения, когда оно здраво, и самым надежным путеводителем, когда оно заблуждается. В каких же общественных местах - добавлял господин Сюар, - права человека, принципы его обязанностей и доводы разума упоминались с большим достоинством, чем на публичных заседаниях Академии, где даже Людовик XIV получал больше наставлений, нежели похвал? Медленная и скрытая работа над словарем не может принести столь великих и внезапных плодов; однако именно в ней определяются значения слов; и если этот труд не останется навсегда лишь самым скудным из словарей, то однажды он станет лучшим курсом нравственности и политики».*

Один из коллег господина Сюара, наиболее способный успешно оспаривать его взгляды, господин Лакретель-старший, неоднократно требовал восстановления отделения политических и нравственных наук. Он подошел к частному вопросу с той глубиной анализа, что проникает в самую суть, а общий вопрос организации человеческих знаний в рамках Института трактовал с тем величием взглядов, которое само по себе рождает красноречивый стиль. Это двойное свойство - глубина мысли философа и выразительность оратора - всегда составляло характерную черту таланта господина Лакретеля. И то, и другое обнаруживается даже в тех недостатках, которые ему вменяют в вину: они образуют в совокупности то, что он написал о

новой организации Института и его академий, - один из тех трудов, которые более всего заслуживают внимания как литераторов, так и законодателей.

Господин Лакретель ни в чем не противоречит господину Сюару в том, что тот признает за старой Французской академией; однако изначально главной целью этой Академии был язык, и сегодня ею остаются язык и стиль. Мораль и политика для нее - лишь сопутствующие темы, которые не всегда там и встретишь. Господин Лакретель желал бы изменить этот порядок, сделав второстепенное главным, а главное - второстепенным. Он рассматривает столь возвышенную тему исключительно как законодатель; и невозможно не верить, что однажды все академии Института, и в особенности Французская академия, будут обязаны многими своими улучшениями именно этим широким взглядам господина Лакретеля.

Луи-Клод де Сен-Мартен - гражданину Гара, профессору курса о человеческом разумении в Нормальных школах (1795).

ГРАЖДАНИН,

У вас было право пересмотреть протоколы заседаний. Вы сполна воспользовались им в том, что касается нашего с вами спора, состоявшегося 9 вантоза 3-го года. Вы почти заново составили, переработали и неоднократно переделывали те ответы, которые публикуете сегодня. Вы трудились над этими вариантами на свежую голову; будет справедливо, если и я, так же на свежую голову, возьмусь представить вам свои возражения. Хотя по вашему приглашению мне и были переданы корректурные листы, я не пожелал ничего менять или добавлять к тому, что высказал во время заседания; я лишь исправил несколько невыносимых ошибок, допущенных стенографами. Впрочем, даже если бы у меня возникло желание сделать больше, типограф мне бы этого не позволил.

Поэтому я оставил в этих листах те кратчайшие реплики, которые я тогда сделал в ответ на ваши замечания по поводу трех поправок, предложенных в моей речи; и хотя теперь эти реплики кажутся неуместными, а порой даже малозначащими для читателя из-за сделанных вами сокращений и пространных вставок.

Дело вовсе не в том, что я хочу заявить здесь какой-то протест; публика, без сомнения, поверит, что вы сказали на заседании всё то же, что она теперь прочтет в вашем сочинении. Однако вы знаете, насколько она будет в этом отношении далека от истины.

Впрочем, признаю: даже если бы вы высказались более подробно, чем на самом собрании, мои тогдашние реплики вряд ли стали бы более пространными. Причина тому - либо в слишком большом разрыве между нашими отправными точками, либо в моем глубоком отвращении к обсуждению столь значительных предметов перед публикой, когда время не позволяет дать им все те разъяснения, которых они требуют. Подобные споры - это дела кабинетные, а не публичные слушания; и раз уж нам предстоит вновь на мгновение оказаться на подмостках перед широким кругом людей, я берусь за перо лишь с большой неохотой. Я смотрю на часы, которые мы потратим на наши дискуссии, как на время, по сути потерянное и для вас, и для меня, и для наших читателей.

Для вас - потому что наши взаимные основания не выровнены, и всё здание грозит рухнуть в любой момент. Для меня - потому что я до пресыщения утомлен всеми этими элементарными вопросами, подобающими лишь самым низшим ступеням образования, и мне жаль возвращаться к темам, которые для меня уже давно кажутся окончательно решенными. Для наших читателей - потому что, за исключением горстки мыслителей, способных нас рассудить, мы окажемся выставлены на потеху публике, которая здесь, как и в законодательных собраниях, чаще всего состоит из праздных зевак и бездельников. Всё их занятие сводится к тому, чтобы развлекаться за счет ораторов, при том что они совершенно не разбираются в вопросах, которые перед ними обсуждаются.

На мой взгляд, для самого дела, которое нам предстоит рассмотреть, было бы гораздо полезнее обсудить его в закрытом кругу; это прежде всего сэкономило бы нам обоим массу труда и, возможно, избавило бы от множества недоразумений. Но поскольку для этого потребовалось бы предпринять определенные шаги по отношению к вам, а я со своей стороны не чувствовал в том острой необходимости, я медлил делиться с вами этим соображением до тех пор, пока время, когда им еще можно было воспользоваться, не истекло.

Итак, я вынужден вместе с вами предстать перед публикой в том, что я называю «школьной пылью». Моей главной целью будет подвергнуть строгому анализу ваши самые заметные идеи, прозондировать доводы, которыми вы их подкрепляете, указать вам на их возможные изъяны и тем самым дать вам средства самостоятельно развеять те предубеждения, что могли

лечь в основу ваших суждений. Что же касается меня, то я изложу свои принципы лишь в той мере, в какой они относятся к делу которое нас разделяет; ведь помимо того, что более подробные разъяснения были бы излишни для моей цели, я не забуду, что мне предстоит выступать перед широкой публикой.

Какова бы ни была причина, лишаяющая животных способности возвыситься до нравственных понятий, вы прямо признаёте, что они лишены этой возможности; и вы соглашаетесь (страница 20), что до настоящего времени этот высокий дар на земном шаре был уделом одного лишь человека.

После этого признания (хотя как опытный писатель вы могли бы при составлении своей фразы избавить нас от необходимости гадать, относите ли вы слово «атрибут» к причине или к следствию - то есть к самой способности пользоваться системой знаков или же к способности возвыситься до моральных понятий), я мог бы на этом и завершить нашу дискуссию. Поскольку моя основная задача - защитить человеческую природу, столь очевидно превосходящую природу животных, то стоит лишь признать этот момент, как все выводы, вытекающие из этого великого факта или, вернее, великой аксиомы, становятся очевидными сами собой. Таким образом, всё остальное сводится лишь к второстепенным затруднениям и, быть может, даже к простой нехватке внимания - либо с вашей стороны, либо с моей. Тем не менее, поскольку я вступил в этот спор не ради себя, нужно постараться не оставлять без внимания ни единой детали.

Вы утверждаете, что именно неспособностью животных возвыситься до использования знаковых систем обусловлена их неспособность постичь и нравственные понятия. Полагаю, в данном случае вы принимаете следствие за причину. Мне кажется, этому явлению можно дать более глубокое объяснение, по отношению к которому ваше будет лишь частным следствием; ведь прежде следовало бы показать, откуда именно берется у животных эта неспособность возвыситься до использования знаков. Впрочем, здесь не место углубляться в столь важные вопросы. Раз мы оба признали, что животные лишены наших нравственных понятий и что мы - единственные обитатели этой планеты, обладающие подобной привилегией, наша главная цель теперь заключается лишь в том, чтобы внимательно проследить, каким образом эта привилегия раскрывает в нас свои различные свойства.

Согласно языку философов (страница 18), человеческий разум представляет собой совокупность, единство всех способностей, посредством которых человек воспринимает вещи, сохраняет их в памяти, сравнивает, судит о них, рассуждает и так далее. Вы рассматриваете каждую операцию, на которую способен этот разум, как отдельную способность. Вы, несомненно, не откажетесь включить в этот перечень и нашу нравственную привилегию, которую вы уже признали и которая, в силу предполагаемой в нас способности чувствовать нравственные принципы и распространять их плоды вокруг себя, также заслуживает того, чтобы называться способностью.

Но есть две вещи, в которых вы мне отказываете: во-первых, в праве называть эту способность нравственным чувством; во-вторых, в признании того, что для различных наших способностей существуют разные органы (та же страница 18).

1) Поскольку для вас всё является ощущением, я не вижу причин, почему бы мне не применить слово «чувство» к этой нравственной способности - точно так же, как я мог бы по праву применить его ко всем остальным способностям, перечень которых вы только что представили. Ведь тем самым я, казалось бы, выступаю скорее на вашей стороне, чем против вас; однако я должен предупредить: под названием «нравственное чувство» я подразумеваю восприимчивость иного рода, нежели та, что присуща нашим телесным органам чувств.

2) Отказываясь признавать наличие различных органов для различных способностей, вы вынуждены заключать их все в едином центре; ведь вы действительно утверждаете (на той же странице 18), что именно в одних и тех же органах ощущения воспринимаются, сохраняются, воспроизводятся, комбинируются и так далее.

И вот здесь, как мне кажется, вы недостаточно тщательно взвесили свои слова. Ведь если вы не допускаете существования разных органов, значит, вы полагаете, что существует лишь один; а если он всего один, следовательно, следовало говорить «в том же самом органе», а не «в тех же самых органах».

Кроме того, мне кажется, что сами наши тела решительно восстают против вашего учения. Зрение, слух, обоняние, вкус и осязание (которые я, по вашему желанию, буду называть чувствами или способностями) - располагаются ли они в разных органах или в одном и том же? Если они находятся в разных органах, значит, для этих различных чувств или способностей существуют и разные органы. Если же они пребывают в одном и том же органе, то как вы согласуете это с общепринятым словоупотреблением? Вы ведь знаете, что мы ежедневно говорим: «орган зрения», «орган слуха» и так далее.

Точно так же вы не сможете прийти к согласию с опытом и наблюдением, которые - вопреки вашим собственным утверждениям (страница 18) - докажут вам, что ощущения воспринимаются не в тех же самых органах и не в одном и том же органе. Ведь совершенно очевидно, что наши зрительные, слуховые и прочие ощущения возникают каждое в собственном, предназначенном для него центре; воздействие света происходит для меня отнюдь не через орган вкуса, а воздействие звука - не через орган зрения и так далее. Разве что под словом «орган» вы подразумеваете человека в целом; в таком случае я могу последовать вашему примеру, но это никак не изменит сути вопроса.

Я полагаю, что эти столь явные и ясные физические законы могли бы умерить ваш страх перед множественностью интеллектуальных и нравственных органов. Ведь подобно тому, как совокупность всех органов моих физических ощущений образует лишь одно тело, так и совокупность всех органов моих интеллектуальных и нравственных способностей могла бы составлять то существо, которое вы хотите называть рассудком; которое вы запрещаете другим называть совестью (страница 33), а мне - нравственным чувством; но которое вы сами, вероятно, не побоялись бы, однако, назвать душой, духом, гением или разумом, поскольку именно этими названиями вы пользуетесь в различных местах, и особенно (на странице 29), говоря о Мальбранше, чьи заблуждения вы оплакиваете, отдавая при этом должное его талантам.

Насколько я придиричив к идеям, настолько же я покладист в отношении слов. В своей программе вы перевели как «интеллект» то, что Бэкон, ваш учитель, называл *anima*, душа. Кто-то другой, в свою очередь, мог бы назвать душой то, что вы желаете именовать интеллектом. Но под каким бы именем вы ни подразумевали эту нравственную способность, вы больше не можете отрицать её существование. Вам более непозволительно ограничиваться вашим слабым аргументом, который я оспаривал в своем выступлении (страница 9) и который сводился к мнимой необходимости двух нравственных чувств: одного - чтобы судить о том, что было бы нравственно добрым, и другого - о том, что было бы нравственно дурным. Ведь пример наших физических чувств достаточно ясно учит нас обратному: моего зрения, при всей его простоте, вполне достаточно, чтобы с одинаковой легкостью увидеть как человека, имеющего несчастье быть горбатым, так и человека, не имеющего этого недостатка.

Таким образом, совершенно неважно, как именно называть эту нравственную способность: мышлением, душой, разумом, рассудком, человеческим инстинктом (чтобы отличить его от животного), интеллектом, сердцем, духом или совестью. Для меня всё это - лишь одна и та же сущность, которую я рассматриваю с разных сторон, в зависимости от того, какая из её функций в данный момент преобладает.

Следовательно, когда я буду рассматривать эту сущность в контексте её нравственных состояний или того, что вы называете нравственными понятиями, я стану использовать выражение «нравственная способность» или даже «нравственное чувство», поскольку такое обозначение не влечет за собой никаких неудобств, раз уж его смысл четко определен. Я имею в виду, что под этой нравственной способностью или нравственным чувством я понимаю силу, которая воспринимает в нас через посредство органов чувств - как физических, так и интеллектуальных - верное или ложное впечатление о том, что в моральном плане мы называем добрым

и дурным. При этом мои материальные чувства никогда не являются первоначалом или порождающим источником того впечатления, которое получает эта способность, хотя они часто служат для него инструментом и проводником. Это подобно моим окнам: они пропускают солнечный свет к моим глазам, но отнюдь не являются источником этого света, и зачастую он достигает меня без их помощи. Это способность, которая в результате полученного впечатления любит или ненавидит предмет, явленный ей этим впечатлением; наконец, это способность, которая приближается к этому предмету или удаляется от него, ведомая чувством притяжения или отвращения, которое это впечатление в ней пробуждает к данному предмету.

Когда же я буду рассматривать это существо в качестве рассудка, я найду для него не только иное прибежище, но и иное применение. Чтобы быть кратким, я ограничусь лишь замечанием, что рассудок судит о *точности*, тогда как нравственное чувство судит о *справедливости*. Это две вещи, которые в человеческом понимании имеют разное значение и, кажется, даже имеют свои отдельные области, несмотря на ту взаимную помощь, которую они могут оказывать друг другу в своих соответствующих сферах деятельности.

Вы хотите объяснить работу этой нравственной способности и всех операций рассудка через чувствительность. Вы уже видели (на 10-й странице моего рассуждения), что я не возражал против этого, поскольку само это название ничего не меняло в сути вещей и выражало лишь принцип действия инструментов, а не сами инструменты. Тем не менее, чтобы вы не подумали, будто я принимаю вашу систему, я охотно признаю, что всё в деятельности нашего духа и нашей души - или нашей нравственной способности - воспринимается чувствами. Однако я отрицаю, что всё в них является ощущением, так как это слово закреплено за физическими впечатлениями нашей материи. Пытаясь перенести его в область иного порядка, вы стремитесь уподобить их друг другу, в то время как вы уже сами признали их различие, согласившись, что нравственные понятия являются исключительным достоянием человека.

Поэтому не думайте, что спиритуалисты сокрушены этим признанием, как вы это утверждаете (на 45-й странице). Спиритуалисты, признавая, что материя обладает способностью к ощущениям, знают, что она вовсе не мыслит, как я и доказал в своем рассуждении (на 9-й странице) - хотя сегодня вы и отвергаете мое доказательство, причем несколько поспешно, на что я вскоре обращу ваше внимание. Если они и знают, что материя не мыслит, то лишь этим простым фактом они ограничивают свои утверждения; точно так же, как и мое доказательство ограничивалось лишь этим простым фактом.

Они вовсе не спорят о том, являются ли наши ощущения феноменами определенной организации материи; и в этом они разделяют вашу осторожность и вашу умеренность. Впрочем, хотя они и признают за организованной материей свойство чувствовать, они знают, что это свойство ей лишь одолжено; и когда эта материя предоставлена самой себе, она возвращается в свое ничтожное состояние, чтобы не сказать - в небытие.

Они не спорят между собой о том, может или нет мысль когда-либо быть атрибутом организованной материи, ни о том, вечна ли она, как вы, по-видимому, полагаете, причисляя меня к тем, кто приписывает вам подобные мнения; от этих обвинений я, впрочем, охотно откажусь, если действительно их допустил. Но, хотя я более не смею отныне подозревать вас в материализме, поскольку вы утверждаете обратное, я должен признать, что спиритуалисты не считали бы себя столь далекими от этой системы, как вы, если бы они были убеждены, подобно вам, что все наши мысли - лишь простые, абстрактные или комбинированные ощущения (на 44-й странице). Они вовсе не вступают в споры ради прояснения бесконечного множества вопросов, которые в большинстве случаев лишь неверно поставлены; дело в том, что у них есть сложившееся мнение по всем этим поводам, и они знают, в чем кроются причины заблуждений и блужданий, которые ежедневно случаются в подобных материях.

Они, - коль скоро нужно об этом сказать, - слишком заняты достоверными истинами, чтобы останавливаться на пустых спорах о возможностях и случайности вещей. Это удел профессиональных теологов и метафизиков, которым нечего более существенного включить в

свои размышления, и потому они тешатся этими неопределенными и бесплодными дискуссиями. Однако спиритуалисты вовсе не являются профессиональными теологами или метафизиками.

Теперь уже можно понять, почему вы отвергаете (на 47-й странице) мое доказательство того, что материя не мыслит: главным образом это происходит потому, что вы придали моему утверждению о простом факте такой масштаб, которого я вовсе не подразумевал в вопросе о случайности, поскольку я никак не высказывался о возможности или невозможности иного способа существования материи.

К этой оплошности вскоре добавилась и другая: вы придали моему доказательству облик собственного сочинения, после чего без колебаний провозгласили себя победителем.

Если бы я мог предположить, что отсутствие внутренней культуры и отсутствие способности чувствовать - это одно и то же утверждение, как вы заявляете (на 47-й странице), то я бы впал в глубочайшее противоречие с самим собой. Ведь отказывая материи в культуре, которой она действительно не обладает, я в то же время официально признаю за ней ощущения, для которых она, очевидно, являетсяместилищем, органом и средоточием. Но вы настолько поглощены своей системой ощущений, что, будь ваша воля, все слова в наших языках и весь наш словарь в конечном итоге свелись бы к одному лишь слову «чувствовать». Впрочем, даже если бы вы так упростили язык, это вовсе не означало бы, что вы упростили действия живых существ. Посмотрим же, к чему это нас приведет.

Если признать культуру одной из прерогатив нашего духа, а ощущения - свойствами, присущими материи, то становится ясно: даже если в вашем неточном изложении моего тезиса вы сводите эти две различные операции к одному лишь слову «чувствовать», то винить в подмене решения самим вопросом, лишь переформулированным иначе (как вы это делаете), следует не меня, а вас. Именно вас стоит упрекнуть в том, что под одним и тем же термином вы объединяете две абсолютно разные вещи. Но мы еще не закончили.

Я знаю, что в отношении культуры вы не вполне определили предел, на котором эта способность прекращается у животных; вы убеждены, что они приобретают знания и даже овладевают искусствами (страница 20). Что ж, пусть так. Давайте перейдем к чему-то более решающему.

Даже если бы мы не могли знать наверняка, способна материя мыслить или нет, мы уверены, что она не мыслит. И мое убеждение на этот счет согласуется с вашими собственными свидетельствами. Ведь наделяя животных рассудком, вы все же признаете (страница 20), что они не обладают человеческим разумом. К тому же вы отрекаетесь от материализма и полагаете, что лучшие доказательства неспособности материи мыслить строятся на нашей невозможности представить, чтобы протяженность и мысль принадлежали одной и той же субстанции - материи (страница 47).

Но если мы уверены в том, что она не обладает свойством мыслить, мы столь же уверены, что ей присуще свойство чувствовать. И если, согласно вашей системе, все операции нашего рассудка или интеллекта, или того, что другие называют мыслью, сознанием, душой или моральным чувством, - не что иное, как результаты способности чувствовать, и могут быть выражены одним словом «чувствовать», то очевидно: когда я стану произносить слова «мыслить» и «чувствовать», я буду использовать равнозначные понятия. Следовательно, когда я захочу выразить свойство чувствовать, характеризующее материю, и свойство мыслить, в котором ей отказано, я смогу сказать, что материя обладает свойством чувствовать и что материя не обладает свойством чувствовать.

Признаюсь, в таком случае путаница, которую вы мне столь щедро приписывали, достигнет своего апогея; но я также утверждаю, что именно на вас ложатся все издержки этой непоследовательности. И идет ли речь о моей совести, о моей душе, о моем моральном чувстве, о моем разуме или о моей способности чувствовать - я никак не могу принять это на свой счет.

Теперь, когда нам необходимо понять, на каких позициях стоим мы с вами в отношении морального чувства (иначе мы не поймем этого никогда), я перейду к фундаментальным возражениям, которые вы выдвигаете против его существования. Одни из них проистекают из

преступлений, порожденных религиозным фанатизмом и священнослужителями (страница 34), другие - из варварского огрубения диких народов и неэффективности этого самого морального чувства у народов цивилизованных (там же).

Картина опустошений, которые религия породила на земле, и вполне оправданный ужас, который в этом отношении она может внушать, были бы, на мой взгляд, лишь косвенными мотивами для отрицания морального чувства и крайне недостаточными средствами для доказательства того, что его не существует.

В самом деле, легко увидеть, что касательно этого морального чувства, которое вы отрицаете, вы равным счетом ничего не добьетесь, даже если до основания разрушите всё религиозное; это чувство с такой же легкостью найдет опору в тех, кто его отвергает, как и в тех, кто желает его защищать. И вот почему.

Стремится ли человек к божеству и верит ли, что почитает его - будь то через некий внешний культ или через простое поклонение сердцем (что объединяет всех благочестивых людей, с какой бы стороны мы их ни рассматривали); восстает ли он против него с богохульствами, подобно нечестивцам; или же ограничивается тем, что низводит его в небытие, дабы не тяготиться его присутствием, как поступают люди слабые и подвластные страстям - я утверждаю, что предаться любому из этих различных состояний можно лишь посредством морального чувства. Ибо моральное чувство есть средоточие наших нравственных переживаний, подобно тому как наш разум или, если угодно, интеллектуальное чутье есть средоточие наших размышлений. Единственное различие, которое необходимо признать, заключается лишь в разном применении этого морального чувства в каждом из этих случаев.

Скажу больше: если бы божество могло быть доступно какому-либо приятному или болезненному впечатлению со стороны смертных, оно позволило бы ему проникнуть в свою суть лишь в зависимости от того, благое или дурное применение нашли бы люди этому моральному чувству. Ибо грезы метафизиков и даже самих атеистов о его природе, о его атрибутах и об устройстве его замыслов, не должны, на мой взгляд, затрагивать само Божество. Оно должно поступать с подобными рассуждателями так же, как поступают правительства: они позволяют сторонникам различных политических систем безнаказанно теоретизировать, но обращают внимание лишь на тех, кто на деле стремится принести пользу гражданскому обществу, либо же активно вредит государству или оскорбляет общественную нравственность.

Поэтому я не беру здесь в расчет ни чисто рациональные труды «за» или «против» всего божественного и религиозного, ни пустые слова, которыми обмениваются по этому поводу обе стороны, ни, наконец, любые плоды простого разума или простого рассудка. Эти способности, по мнению спиритуалистов, являются лишь ответвлениями морального чувства - той духовной, а не чисто физиологической способности, в которой они видят истинный зародыш мыслящего существа, а в этом отношении - и человека в целом.

Это, однако, не отменяет того, что сам рассудок (или то, что можно назвать умом), какую бы сторону он ни защищал, остается необходимым инструментом в области логики и рассуждений, подобно тому как моральное чувство является необходимым инструментом в сфере чувств и переживаний. И тот, кто верно судит о предметах, и тот, кто ошибается, в равной мере доказывают наличие у них ума. Разница лишь в том, что первый использует свой ум с полезной точностью, а второй находит ему ошибочное и более чем бесполезное применение.

Но если бы последний не обладал этой способностью ума, ему было бы так же невозможно впадать в интеллектуальные заблуждения, как первому было бы невозможно верно применять свой разум, не имея он этой способности. И в этом смысле для всякого, кто над этим задумается, безумец и атеист доказывали бы наличие в человеке способностей ума так же очевидно, как и человек с самым упорядоченным мышлением, хотя их доказательства и уводили бы в противоположную сторону.

Я не говорю здесь о слабоумном, у которого эта способность находится в состоянии застоя или недоразвития.

Возвращаясь к своей теме, я оставляю за вами свободный выбор: склониться ли к божественному и религиозному, подобно людям благочестивым; объявить ли тому и другому открытую войну, подобно нечестивцам; или же просто презирать их. Влекут ли вас к этому ваши собственные склонности, или же те беспорядки, которые эти понятия являют вашему уму, внушают вам негодование; считаете ли вы и то, и другое истиной или ложью; приближаетесь ли вы к ним или отдаляетесь - какую бы сторону вы ни выбрали, всегда будет действовать ваше моральное чувство. Оно действует либо «за», либо «против»; либо активно, развиваясь, как это происходит у людей набожных и безбожников; либо пассивно, позволяя подавлять себя при виде тех беспорядков, которые эти идеи влекут за собой; либо, наконец, позволяя вашим склонностям наносить ему вред.

И без него вам было бы не только невозможно принять какое-либо решение по этим вопросам, но даже испытать в их отношении ни малейшего впечатления, ни благоприятного, ни враждебного - подобно тому как я не смог бы воспринять солнечный свет ни как нечто приятное, ни как нечто болезненное, будь я полностью лишен зрения. В этом смысле мое мнение наглядно подтверждается примером животных: они не являются ни друзьями, ни врагами Бога или религии, поскольку не обладают способностью, необходимой для того, чтобы либо избегать этих понятий, либо стремиться к ним.

Впрочем, я осознаю те трудности, которые здесь возникают. (Это не касается вас, так как вы уже согласились со мной, что материя не мыслит, а значит, данное замечание к вам не относится). Мне могут возразить, что я не знаю всего, что происходит внутри животных; что мне неизвестно, мыслят ли они и есть ли у них свой язык и прочее, а следовательно, я не могу делать никаких выводов из этого примера.

Во-первых, я мог бы сослаться на то, что уже говорил о языке животных в своем рассуждении (на странице 15). Во-вторых, я замечу, что мои оппоненты зашли бы слишком далеко, выдвигая подобные возражения, как это было доказано в моем предыдущем труде.

Ибо если бы не было уверенности в том, что животные лишены мысли и языка, в равной мере нельзя было бы утверждать, что, обладая всеми этими способностями, они не пользуются ими так же, как и мы. Нельзя было бы поручиться, что среди них не ведутся беседы о духовности и религиозных воззрениях, подобные нашим, равно как и те схоластические и философские дискуссии о высоких материях, которые занимают нас так сильно и приносят так мало плодов. И раз уж мы пустились в предположения относительно этих животных, я смею утверждать: нет никаких причин полагать, будто они ограничиваются простыми разговорами на эти темы и не испытывают, подобно нам, искушения претворять в действия и обряды все те мнения, которые они обсуждают в своих беседах.

Таким образом, я мог бы сказать каждому из своих оппонентов: вы не можете судить о том, что именно эти животные совершают в подобном роде без вашего ведома. Ведь точно так же, как они не знают, что происходит в этой сфере у нас, мы вполне можем не ведать о том, что происходит у них. Так, в тот самый миг, когда вы спокойно едете верхом на своей лошади, когда ваша собака ловит перепела, а кошка - мышшь, возможно, одни из них заседают в Сорбонне, другие выступают с кафедр, а третьи исполняют обязанности дервишей и так далее. Вот как рискованные предположения незаметно ведут нас к абсурду. Возвращаясь к своему предмету.

Когда вы видите, как я принимаюсь защищать нравственное чувство, и если вам кажется, будто вы опасаетесь, что я тружусь лишь ради тех, кто религиозен, то вам следует успокоиться, исходя из принципа, который я вам изложил. Ведь совершенно ясно, что я в равной мере тружусь и для тех, кто желает быть нечестивым, поскольку лишь при наличии этого самого нравственного чувства человек может стать либо тем, либо другим.

Повторюсь: никто не относится с большей терпимостью, чем я, к выбору, который каждый волен сделать в этой области, и никто менее меня не одержим страстью к прозелитизму. Однако я не могу не заметить, сколь невыгодное положение вы сами создали для своего дела, не исследовав достаточно глубоко те основания, на которые, как вы полагаете, опирается ваша защита.

В самом деле, весь мир состоит лишь из двух разрядов людей: к первому относятся те, кто религиозен (и в их число я включаю также всех тех, кого называют идолопоклонниками); ко второму - те, кто являет собой полную противоположность, то есть люди нечестивые и атеисты. Ведь равнодушные и нейтральные не имеют никакого веса лишь потому, что их нравственное чувство притуплено; но стоит ему хоть немного очнуться от своего оцепенения, как оно тут же примет ту или иную сторону.

Таким образом, защищая нравственное чувство, с какой бы стороны его ни рассматривали, я тружусь на благо всего человечества; вы же, исключая нравственное чувство, восстанавливаете против себя всё человечество - то есть не только тех, кто хотел бы быть религиозным, но и тех, кто желал бы быть нечестивцем и атеистом; ведь вы лишаете их единственного элемента, благодаря которому они могут обрести удовлетворение.

Если вдруг вместо страха перед тем, что я воздвигну идолов, о которых вы говорите (на странице 24), вы боитесь, что я их низвергну, то видите, что у вас и в этом случае есть повод успокоиться на мой счет. Мне не придется прикладывать руку к этому разрушению, поскольку именно вы первым бросите камень в этих идолов или заставите рухнуть их храм, уничтожив единственный фундамент, на котором он может стоять.

Таким образом, вы ничего не докажете, описывая нам мерзости и ужасы, которые религия принесла в мир: злоупотребления отнюдь не опровергают принципы, они их подтверждают. Злоупотреблять можно лишь тем, что реально существует. Вы наверняка не выбросите античную медаль, не изучив внимательно то, что может скрываться под её ржавчиной и патиной. И хотя в наших городах и деревнях слишком часто встречаются гнусные поджигатели, которые в своей ярости уничтожают наши дома, мебель и имущество, зачастую превращая и нас самих в добычу пламени, вы всё же не только не вздумаете убеждать нас, будто огня не существует, но даже все эти бедствия не помешают вам самим с удовольствием греться у огня. И вы будете рады тому, что огонь служит для приготовления пищи, для ремесел и для прочих нужд и удовольствий жизни.

Первый урок, который преподает нам наука о человеческом разумении, заключается в том, что вовсе не заблуждение должно заставлять истину отступать; напротив, именно истина должна обращать заблуждение в бегство.

Другой важный урок, который должна дать нам эта наука о человеческом разумении, состоит в том, что нравственное чувство - равно как и все прочие наши способности, и так же как наши телесные чувства - может быть всеобщим, но при этом не быть развитым повсеместно. Ведь слово «всеобщий» может означать лишь всеобщность существования, а не всеобщность деятельности, и тем более не деятельность единообразную. Именно в этом смысле можно сказать, что язык является общим для всех людей, хотя они и не говорят постоянно, а главное - хотя они используют свои языки столь по-разному, как по форме, так и по существу.

Таковы первые начала здоровой философии. Если бы вы помнили об этих началах, вас не остановили бы ни неистовства фанатичного священника, ни зверства дикаря, ни жестокости человека цивилизованного. Я говорю: «если бы вы помнили об этих началах», ибо я совершенно убежден, что они вам вовсе не чужды. В самом деле, как могли бы вы, не обладая хотя бы этими знаниями, взяться просвещать нас по тем важным вопросам, которыми мы заняты? Это было бы подобно тому, как если бы кто-то, не знакомый с различными состояниями - замерзанием, сжижением и газообразным видом, - в которые может переходить одно и то же вещество, вздумал преподавать физику.

Но если вы знакомы с этими основами - а я в этом убежден, - то, возможно, вы, видя во мне лишь ученика, не считаете меня достаточно зрелым, чтобы я мог их постичь. И потому вы не находите уместным вести себя со мной так, будто это знание нам обоим одинаково привычно. В таком случае я считаю своим долгом заверить вас, что уже более тридцати лет я глубоко проникся этими принципами; а значит, вы ничуть не проявили бы неосмотрительности, если бы в общении со мной опирались на эту базу.

Итак, чтобы устранить те трудности, которые вас пугают, давайте помнить: нравственное чувство, хотя оно и всеобщее, может быть развито не повсеместно. То же самое относится и к этому утомительному вопросу о врожденных или не врожденных идеях, который постоянно обсуждается в научных школах и который вы также выносите на обсуждение, следуя за Декартом, Платоном и Мальбраншем (страницы 26 и 29). Для меня этот вопрос давно и окончательно решен, и я предпочел бы не вмешиваться вновь в эти схоластические споры; тем не менее я последую за вами в этом вопросе.

Вы справедливо замечаете существенную разницу в обсуждаемом вопросе между Платоном и Декартом. Не пренебрегая этим верным порывом, вы, возможно, достигли бы цели - полного очищения платонизма и его защиты, прежде всего, от крайностей мальбраншизма. Спиритуалисты, которые, как я вам уже говорил, вовсе не принадлежат к числу профессиональных теологов или метафизиков; которые весьма терпимы к чужим мнениям, хотя и проявляют крайнюю осторожность, чтобы не подпасть под их влияние, если считают их ложными; которые не превращают дискуссию в обвинение и, наконец, не вменяют человеку в вину его сомнения (чего вы опасаетесь на странице 42) - эти спиритуалисты, повторюсь, принципиально и неизменно противостоят идеологам. Последние хотели бы, чтобы мы сами создавали свои идеи на основе наших ощущений, в то время как идеи лишь передаются нам посредством наших ощущений.

Они вовсе не считают, подобно Декарту, что наши идеи являются врожденными.

Они не верят, вслед за Мальбраншем, что сам Бог производит в нас все наши идеи.

Хотя у них и есть серьезные расхождения с Платоном, изложение которых здесь заняло бы слишком много времени, именно с ним у них меньше всего разногласий, хотя они и отвергают его учение о переселении душ, а также все те мнения, которые ему приписывают и которые нельзя не признать странными - по крайней мере, если судить о них в том свете, в каком они нам представлены.

Они полагают, что наши идеи вовсе не врождены нам, а находятся подле нас.

Они считают, что наш разум рождается и живет среди мыслей точно так же, как наши тела рождаются и живут среди стихий и всех творений природы.

Они убеждены, что наш разум способен черпать вокруг себя - если можно так выразиться - все те разнообразные идеи, которыми он окружен и которые являются для него пищей первой необходимости; подобно тому как с помощью органов нашего тела мы собираем плоды земли, без которых наш организм не может обойтись.

Они полагают, что если бы в нашем разуме не было некой основы, родственной окружающим его идеям, они никогда не смогли бы проникнуть в него или вступить с ним в какую-либо связь; подобно тому как если бы в нашем желудке не было соков, аналогичных сокам земных плодов, эти плоды никогда не смогли бы в наших внутренних органах превратиться в питательную среду и кровь.

Они считают, что здоровье нашего разума зависит от гармонии, которую мы умеем поддерживать между этой основой, которая его характеризует, и теми идеями, от которых он находится в постоянной зависимости; подобно тому как здоровье нашего тела зависит от гармонии, которую мы умеем поддерживать между пищеварительными соками нашего желудка и питательными соками земных плодов, совершенно нам необходимых.

Они полагают, что для поддержания этой гармонии, которая является обязательным условием, наш разум должен не только заботиться о том, чтобы тщательно перерабатывать идеи, собираемые им вокруг себя, но прежде всего уметь выбирать из их великого множества те, которые - вместо того чтобы поддерживать и питать его - могли бы причинить ему вред и даже заразить его; подобно тому как наше тело умеет различать среди земных плодов те, что вместо здоровья и жизни могут принести ему болезни и смерть. Они считают, что наше невежество и небрежность в отношении этих двух видов режима являются причинами того, почему как в нравственном, так и в физическом плане среди людей так часто встречается расстроенное здоровье.

Вот краткое изложение системы спиритуалистов по этому вопросу. Вероятно, она не придется вам по вкусу, поскольку относится к иному порядку вещей, нежели тот, в котором вы стремитесь нас удерживать. Однако я полагаю, что она, по крайней мере, заслуживает вашего внимания. И хотя я лишь с неохотой составляю подобные чисто элементарные обзоры, я всё же представляю вам этот краткий очерк, поскольку он может помочь прояснить ваше затруднение относительно неверного применения нравственного чувства или его неэффективности. Итак, я возвращаюсь к вам.

Первый вывод, который следует сделать из всего вышеизложенного, заключается в том, что если нравственное чувство, будучи всеобщим, развито не у каждого, и если оно поддается искажению и порче из-за неверного образа жизни, то нам не стоит удивляться тем ложным результатам, которые из этого проистекают. Это может пойти даже гораздо дальше, чем в телесном плане; ведь мы можем настолько деформировать наше нравственное существо, что сами доведем его до состояния чудовища; тогда как в физическом мире монстры, как правило, не являются творцами собственного уродства.

Даже если бы подтвердилось, что число таких обездоленных или чудовищных существ в нравственном плане выше, чем в физическом, этот факт нашел бы исчерпывающее объяснение в том же самом принципе; и вот каким образом.

Хотя нравственное чувство у людей поразительно притуплено, всё же нравственный порядок затрагивает нас гораздо сильнее, чем порядок физический. Ведь именно в этом нравственном порядке и из него рождаются наши глубокие привязанности и, как следствие, те глубокие представления, которые мы о них формируем; тогда как физический мир - лишь среда, посредством которой устанавливаются наши нравственные и интеллектуальные связи, и инструмент, с помощью которого мы воплощаем в жизнь те решения, которые диктуются нашими глубокими нравственными привязанностями.

Следовательно, если этот нравственный порядок действительно касается нас гораздо ближе, чем порядок физический; если мы, в некотором роде, несем ответственность за управление им, то не стоит удивляться тому, что мы и злоупотребляем им в гораздо большей степени. И в самом деле, я довольно часто замечаю, что рука человека, когда он не проявляет предельной осторожности, портит всё, к чему прикасается.

Напротив, поскольку мы не имеем столь же прямого доступа к первоначалам природы; поскольку они подчиняются скрытому закону, которым мы не распоряжаемся; и, наконец, поскольку в этом отношении наша власть может внести беспорядок лишь в конечные результаты их действия, - сама природа по сути берет на себя управление основами нашего физического восприятия.

И вот, поскольку природа всеми силами стремится к упорядоченности, а мы не можем вмешиваться в её управление - в то время как вмешательство в управление нравственное, принадлежащее нам, является одновременно и нашим правом, и нашим долгом, - нет ничего удивительного в том, что если в творения природы, не вверенные нашему руководству, и вкрадываются некие уродства, то их оказывается ничтожно мало по сравнению с теми, что обнаруживаются в подвластном нам нравственном порядке.

И поистине, если бы мы имели такую же неограниченную власть над физическим порядком, какую имеем над порядком нравственным, то, я полагаю, природа уже давно ощутила бы это на себе; и те уродства, которые она бы являла, были бы столь же многочисленны и невообразимы, как и те, что возникают в нашем нравственном порядке. Возможно, они дошли бы до такой крайности, что заставили бы нас однажды отрицать даже сами физические чувства; и я не удивлюсь, если молекулярная теория когда-нибудь приведет нас к этой причудливой концепции.

Так пусть же ваше справедливое негодование и удивление распространяются сколь угодно далеко: на неистовство фанатичных священников, на чудовищные зверства дикарей и их варварские обычаи, на другие малоизвестные пороки, о которых редко пишут в книгах, даже на жестокость народов, считающихся цивилизованными, и, наконец, на то апатичное

оцепенение, в которое люди почти повсеместно позволяют впадать тому всеобщему нравственному чувству, которое я защищаю, - всё это не дает вам права восставать против самого этого чувства.

В самом деле, вы могли бы рассматривать все эти примеры лишь как различные видоизменения одной и той же основы. Так, вулкан то извергает из своих недр соли и серу, полезные для торговли и земледелия, то опустошает и до основания разрушает окрестные земли, а то замирает на время, не подавая никаких признаков жизни. Ведь если мы видим, как одни вулканы полностью угасают, то видим и то, как рождаются новые; точно так же, как мы видим, как различные проявления нравственного чувства развиваются, угасают, обновляются и последовательно сменяют друг друга в различных человеческих сообществах. Это достаточно ясно говорит о том, что в обоих этих миропорядках существование их основ никогда не прекращается. Важное различие, которое здесь необходимо подчеркнуть, заключается в том, что в нравственном порядке эта основа принадлежит человеку, а в физическом - природе.

Поэтому я заклинаю вас: не опирайтесь так сильно на те возражения, за которыми вы пытаетесь укрыться, ведь они ничего не решают. Напротив, факты повсеместно подтверждают ту самую основу, которую вы оспариваете, и ни в чем её не опровергают. Вы, вероятно, не рассчитываете, что в этом труде я развею все сомнения, которые еще могут окружать столь важные темы. Согласен, их немало. И все же их стоит считать второстепенными по сравнению с теми вопросами, которые, как мне кажется, я достаточно прояснил для каждого, кто желает вникнуть в суть. Этим людям предстоит самим восполнить свои знания; есть множество книг, способных помочь им в этом, хотя я и убежден, что не из книг стоит ждать самых действенных решений.

Впрочем, невежественной толпе простительно идти на поводу у трудностей, порожденных лишь воображаемыми страхами - страхами, которые никогда не исцелят ни нынешнее зло, ни то, что еще только должно родиться. Но человек, чьи таланты и знания позволили ему занять почетное место наставника человеческого разума, должен, как мне кажется, не только предостерегать своих учеников от подобных ложных шагов, но и прежде всего оберегать от них себя самого. Следовательно, он обязан использовать все имеющиеся у него средства, чтобы отличать истинную суть вещей от превратностей их применения; словом, чтобы убедиться в прочности тех основ, на которых он должен выстраивать свои принципы.

Прежде чем закрыть эту тему и перейти к другим вопросам, которые нам осталось обсудить - в частности, к моим «зачаткам языков», которые, как вы полагаете, вы уже объяснили (страница 42), - я хочу не то чтобы изложить вам свой символ веры (ведь я согласен с вами, что вера и философия еще очень далеки от заключения союза) и не то чтобы заявить о своих религиозных убеждениях (поскольку в глазах философии убежденность пользуется не большей популярностью, чем вера), но представить вам мое свидетельство уверенности.

Дело в том, что я уверен: человек способен самостоятельно, опираясь лишь на помощь своего нравственного чувства - взятого во всей его полноте и сведенного к его подлинным началам - пролить свет на все те неясности, что окутывают глубокие предметы, которые мы обсуждали до сих пор и которые внушают вам такие опасения. Я уверен и готов провозглашать это во весь голос: причина, по которой сомнения и разногласия по этим вопросам столь многочисленны, кроется исключительно в том, что человек в поисках истины обращается к иным свидетелям, нежели он сам; и вы видите здесь, до какой степени простирается моя уверенность, ведь, выступая против вас в защиту нравственного чувства и религиозного начала в целом, я одновременно восстаю против всех частных проявлений религии и против всех философий, которые сегодня в моде. Продолжим.

Я утверждаю, во-первых, что если доказательства, выдвигаемые философами против божественности, столь хрупки и слабы, то и те, что используют ее сторонники для защиты, ничуть не убедительнее, когда они не могут доказать эту божественность иначе как через созерцание природы - что они делают повседневно и что является, так сказать, их единственным доводом. Причина этого проста.

Природа - это смесь беспорядка и гармонии, зла и блага. У нее два облика: с одной стороны, она подтверждает мудрость и мощь высшего начала; с другой - она могла бы свидетельствовать не только о бессилии этого начала, но даже о его злонамеренности. Словом, это свидетель, всегда готовый по первому требованию давать показания как «за», так и «против». Однако с точки зрения здравого правосудия невозможно вынести обоснованное решение на основании столь противоречивых показаний; и мы вправе требовать свидетеля более надежного и пребывающего в согласии с самим собой.

Я утверждаю, во-вторых, что еще более нескладно поступили те, кто не умел и не умеет доказывать религиозные истины ничем иным, кроме книг, и основывать их лишь на преданиях. И у меня было бы подтверждение в виде опыта, которое показало бы мне, как часто эти неумелые наставники терпят неудачу; насколько шатки их успехи и как часто они сами ловят себя на тайном сомнении и внутреннем отторжении тех самых книг и преданий, которые проповедуют их уста и которые служат им единственным доводом.

Таким образом, подобных свидетельств недостаточно, чтобы удовлетворить человеческий разум. Естественно полагать, что, поскольку нравственное чувство человека предшествует любым книгам и любым преданиям, именно это чувство, обладая всей полнотой своих прав, должно быть верховным судьей во всем, что касается религиозного начала, - ведь именно оно и считается его главным объектом. В конечном счете, только оно может быть беспристрастным свидетелем: не только для того, чтобы подтвердить, имеет ли это религиозное начало реальный источник, но и для того, чтобы затем различить во всех книгах и преданиях, трактующих этот предмет, то, что оно черпает из своего изначального основания, и те наслоения, которые оно накопило на своем пути.

Если это нравственное чувство, возвращенное к своим истинным основам, вправе и в силах просвещать нас относительно природы религиозного начала, оно также может помочь нам постичь цель, к которой должны стремиться люди, посвятившие себя служению ему. Оно показывает нам, что во всех религиях предназначение служителей должно заключаться, во-первых, в том, чтобы приближать к божеству философов и людей великого ума, раскрывая перед ними тот глубокий свет, источником которого оно является, и даруя им, тем самым, осознанную и близкую их природе тягу к ней.

Во-вторых, приближать к тому же самому божеству человека простого и доброго, описывая ему сокровища добродетели и любви, которые оно изливает на тех, кто жаждет и ищет его.

В-третьих, наконец, сблизить этим путем философа и простого человека; тогда каждый из них, будучи связан с этим божеством - пусть и с разных сторон, - перестал бы считать другого чужаком, и они признали бы друг в друге членов одной семьи.

Однако для того, чтобы служитель религиозного начала достиг подобного успеха и пришел к такой цели, необходимо, повторюсь, чтобы он сам прежде словно сроднился с этими двумя видами сокровищ, которые мы здесь по праву называем Истиной и Благом. Прежде чем сделаться их распорядителем, он должен стать их истинным хранителем и выразителем через неустанное развитие своего нравственного и интеллектуального чувства. Так он явит в самом себе, в союзе Истины и Блага, ту «внутреннюю симпатию» (*intima sympathia*), которая в данном случае будет чем-то иным, нежели то, что открывают нам наши физические чувства, когда являют нам солнце и сообщают обо всех тех полезных услугах, которые оно может нам оказать.

Ведь вы обходитесь со мной отчасти как с учеником, приводя это сравнение с солнцем (страница 21), в котором ощущение и познание представлены вами как нечто единое и тождественное, то есть как непрерывное ощущение. Я готов признать это непрерывное ощущение в том, что касается памяти и физического инстинкта - как у нас самих, так и у животных, которые, испытав на себе благотворное влияние солнца, вновь ищут его тепла. Но чем глубже я погружаюсь в свою душу, к чему вы сами призываете нас на той же странице, тем больше я убеждаюсь: те операции и расчеты, которые совершает мой разум относительно астрономических или физических законов солнца и тому подобного, суть нечто иное, нежели просто непрерывные ощущения от созерцания солнца и его тепла.

Следовательно, если вы полагали, что достигли глубин своей души, когда излагали нам эту идею, вы лишь заблуждались на этот счет; на самом же деле вы оставались лишь на её поверхности. Тем более, когда на странице 23 вы объявляете Бэкона исполнителем гармонического закона «внутренней симпатии» (*intima sympathia*), у меня есть основания полагать, что ваше изложение потребовало бы более детального развития. Я готов поверить, что вы ни в коем случае не рассматриваете здесь Истину и Благо в физическом смысле, ибо тогда животные продвинулись бы в этих двух вопросах так же далеко, как и Бэкон; ведь они прекрасно умеют тянуться к тому, чью пользу познали через ощущения. И если вы рассматриваете эти два понятия, Истину и Благо, в плане интеллектуальном и нравственном, то я убежден что, проникнув глубже в недра вашей души, вы, несомненно, обнаружили бы там, подобно Бэкону:

1°. одного-единственного человека, который представляет собой всё;

2°. две способности, благодаря которым этот единственный человек познаёт то, что истинно, и то, что благо; способности, которые ему необходимо постоянно сочетать между собой, если он желает пробудить ту внутреннюю симпатию, в которой он нуждается, чтобы целостный человек обрел гармонию и удовлетворение;

3°. наконец, бесконечное множество результатов, непрестанно проистекающих из союза этих двух способностей; результатов, более или менее совершенных в зависимости от того, насколько тесен этот союз; результатов, словом, которые могут быть более или менее уродливыми, ложными и нездоровыми, смотря по тому, насколько порочны две эти порождающие способности.

И если в этом порядке вещей я признавал за вами - и признаю до сих пор - наличие способности чувствовать, то я вновь настойчиво прошу вас не отождествлять всё воспринимаемое чувствами с тем, что является лишь чувственным. Вернемся к нашему предмету.

Если человек, посвятивший себя делам божественным и религиозным и считающий себя способным выступать их служителем, пожелает приблизиться к ним, не приведя свое существо в состояние гармонии или не выполнив те необходимые условия, о которых я упоминал выше; или же если, надлежащим образом исполнив обязанности своего служения, он позволит своему нравственному и интеллектуальному чувству прийти в упадок, но при этом будет упорствовать в желании исполнять свой долг - к чему это приведет? К тому, что оба источника его наставления иссякнут; истина и благо станут для туманными для его нравственного чувства и интеллекта, подобно тому как они стали таковыми для большинства людей. Он ни в коей мере не оправдает ожиданий тех, кто, каждый в своем роде, ждал от него помощи, которую он был обязан им оказать; и то из гордости, то по невежественному простодушию он будет внушать им понятия, совершенно противоположные тем, что они надеялись от него получить.

Таким образом, с одной стороны, когда философы и возвышенные умы обратятся к нему, чтобы обрести просвещение в вопросах божественных и религиозных, он скажет им, что в эти области проникнуть невозможно; что слово «тайна» - это единственный ответ, который можно дать по существу данных предметов. И вместо ясности, за которой они придут, они унесут с собой лишь мрак.

С другой стороны, когда простые люди придут к нему, чтобы напиться кроткими мыслями о божественной любви и благости, он будет изображать им Бога лишь в пугающих красках: он представит Его лишь дышащим яростью и мщением; и вместо того чтобы почерпнуть в наставлениях этого служителя утешительное упование, они станут лишь жертвами ужасающего страха.

Но это еще не всё. Обнаружив таким образом свое глубокое невежество перед философами и гениями, которых он обязан был питать светом истины, и парализовав страхом этих простых и добрых людей, которых ему следовало скорее учить любви, нежели трепету, ему придется прибегнуть к авторитету своего положения, чтобы узаконить те понятия о тайне и ужасе, которые он ввел. Вместо того чтобы основывать свой статус на своих правах - как это было бы, если бы он придерживался своего естественного и предначертанного пути, - теперь он будет выводить свои права из своего статуса. Он настолько отождествит себя с Божеством, что не допустит ни малейшего различия между собственными словами и тем, что сказало бы само

Божество; и он станет выдавать за божественные откровения те речи, которыми, с одной стороны, желает принудить философов и возвышенные умы слепо верить в то, что Бог знания и света есть Бог невежества и тьмы; а с другой - властно заставить простых и добрых людей видеть в Боге любви и благодати лишь злобного Бога, полного капризов и ярости.

Таким образом, отныне он находится в диаметральной противоречии с главной целью своего предназначения, которая заключалась в том, чтобы приблизить к Божеству эти две категории людей.

В самом деле, едва лишь отождествив себя подобным образом с Божеством, он стал для них преградой вместо того, чтобы служить средством. Ибо философы и возвышенные умы, приходя к нему в поисках того Божества, что было светом, видели теперь лишь его самого, бывшего тьмою; и, не находя в нем этого Божества, они заключили, что Оно - лишь вымысел, и вычеркнули Его из своих мыслей. Простые же и добрые люди, вынужденные постоянно склоняться под игом этого служителя, не только не достигали более познания благого и любящего Бога, но зачастую в итоге привыкали видеть Бога в его представителе настолько, что когда этого служителя не оказывалось рядом, для них больше не существовало и Бога.

В конце концов, в результате череды новых злоупотреблений идея Бога и образ священнического облачения стали настолько неразрывно связаны, что более не возникают в сознании одно без другого. И потому ни возвышенные умы, ни простые люди не могут слышать упоминания о Боге без того, чтобы их тут же не начал преследовать образ этого облачения, занимающего Его место в их мыслях. Это приводит к тому, что первые отвергают Его с негодованием и презрением, а вторые проводят свои дни в отчаянном страхе оттого, что никогда не смогут прийти к Богу без одобрения и дозволения Его представителя.

Если к этой картине пассивного зла, которое служитель культа распространил по земле, добавить описание всевозможного зла активного, которое он также допустил или которое совершил сам, то станет ясно, как множатся эти препятствия. И не стоит удивляться тому, что, с одной стороны, растет возмущение философов и возвышенных умов, когда Божество предстает перед ними лишь в облике своего служителя, который, подобно мирским посредникам, так часто ставит себя на место своего доверителя; а с другой стороны - что столь многие простые и добрые люди дошли до нежелания иметь ничего общего с Божеством, которое служитель представлял в столь отталкивающем свете.

Но если я и сожалел о том, что столь талантливый человек, как вы, в вопросах нравственного чувства, зашли в тупик из-за трудностей, основанных лишь на воображаемых страхах, мне было бы не менее прискорбно видеть, как вы упорствуете в тех поспешных выводах, картину которых я только что обрисовал, и не используете во благо те обстоятельства, что возникли вокруг вас в результате революции.

В самом деле, было ли исчезновение священнического облачения вызвано лишь естественными и политическими причинами, или же оно произошло по воле Провидения, пожелавшего устранить его, чтобы этот символ более не представал перед нами, и Божество могло вновь обрести в наших мыслях те права, которые оно теряло из-за подобной преграды, - так или иначе, это облачение исчезло; и кажется, что в гуще нашего мира оно более не существует, пребывая теперь лишь в мире ином.

Впрочем, даже если и верно, что те, кто носил и до сих пор носит это облачение, действительно находятся под гнетом Божественного правосудия, я не стал бы из-за этого просить вас поступиться своим мнением из сочувствия к их положению; хотя всегда было бы уместно проявлять к ним уважение, подобающее им как в силу характера их наказания, так и в силу величия их Судьи. Но я попросил бы вас смотреть на них так, словно они более для вас не существуют; и мне хотелось бы, чтобы вы воспользовались этой благоприятной возможностью и примирились со своим нравственным чувством, которое это священническое облачение, возможно, отталкивало сильнее, чем вы полагаете. Я желал бы, чтобы благодаря последовательному изучению, которое вы могли бы предпринять по поводу нравственного чувства, не прибегая ни к книгам, ни к преданиям, ни к каким-либо из тех подозрительных свидетельств, о которых я упоминал выше, чтобы вы попытались заново осмыслить все те вопросы, которые

вы недостаточно отделяли от облачения тех, кто их трактует. Я не только верю, что этот путь мог бы привести вас к ясным решениям по этим предметам, но и убежден, что без него вы никогда не сможете разрешить ни один из тех вопросов, в отношении которых я счел возможным зайти столь далеко, чтобы заявить вам о своей полной уверенности.

Если вы не примете это предложение - как у меня есть основания полагать, - вы, по крайней мере, не сможете упрекнуть его в недостаточной философичности. В самом деле, есть ли что-либо более философское, чем метод, который ограждает вас от всех бесчинств фанатизма, от всех нелепостей суеверия и даже от всех туманностей, если не сказать - от всех пустых фантазий метафизики?

Ведь призывая вас отказаться от любых традиционных книг, которые, с одной стороны, опираются на нравственное чувство, а с другой - служат всеобщим основанием для дел религии, я точно так же призвал бы вас отложить в сторону все труды метафизиков и знаменитых писателей, под чьими знаменами вы встаете; словом, вообще все книги, какими бы они ни были и без всякого исключения. Настолько я убежден, что всестороннее развитие вашего нравственного чувства откроет вам в этом порядке вещей всё, что вам необходимо знать!

Признаю, тем не менее, что если способ, который я вам предлагаю, и в высшей степени философичен, то в то же время он весьма радикален и исключителен; именно это и заставляло меня сомневаться в том, что он вам подойдет. Впрочем, вы также не сможете упрекнуть его в том, что он ведет к тем рукоплесканиям и той славе, чей шум, по вашим словам (страница 33), помешал Руссо, Хатчесону и многим другим разглядеть риф, о который они разбились. Поскольку ваша система ощущений - которую я, вопреки себе, не могу не воспринимать как настоящую «мышечную систему» - сумела привлечь множество сторонников, вы можете быть уверены: если бы вы последовали указанным мною путем, он оградил бы вас от опасностей их восхищения. Я могу говорить об этом, опираясь на опыт, который не мешал мне идти этим же путем с тех самых пор, как я начал мыслить, и не мешает мне сегодня быть преданным ему более, чем когда-либо.

Должен также предупредить вас, что при том принципе, который я защищаю, человек меньше, чем вы полагаете, подвержен риску тех применений, которые, по вашему утверждению (на той же 33-й странице), никогда не бывают точными и легко становятся излишне ораторскими и поэтическими. Я слишком откровенен, чтобы скрывать от вас следующее: в этих немногих словах вы нарисовали верный портрет вашей собственной философии, которая и впрямь нуждается в ухищрениях красноречия и находит в этом роде деятельности полезную опору в ваших талантах и вашей ловкости.

Тем не менее, позвольте мне сказать вам, что заметно, что ваши войска совершенно не связаны между собой и не составляют единого целого. Из-за этого ваша тактика чаще всего сводится лишь к мелким стычкам, в которых после нескольких блестящих залпов - порой даже холостых - вы воображаете, будто захватили все крепости врага, взяли штурмом все его лагеря и истребили все его армии. Что же касается меня, то я редко прибегаю к ораторским приемам. И дело не только в том, что я не лущу себя надеждой обладать подобными средствами; я убежден, что мне и вовсе нет нужды их использовать. Мое дело таково, что даже если бы я защищал его с величайшей небрежностью в слоге или даже неуклюже, я все равно бы победил. Ведь оно само по себе настолько сильно, что защищает себя само. Ваше же дело, сколько бы вы ни растрачивали ради него все секреты и сокровища красноречия, неизбежно ускользнет от вас, и вам стоит быть готовым к его утрате.

Что до Хатчесона, то я не знаком ни с одним из его трудов и знаю о нем лишь то, что вы сами мне сообщили, представив его сторонником теории «нравственного чувства», а также то, что сообщает о нем исторический словарь. Согласно словарю, он почти двадцать лет с отличием занимал кафедру профессора философии в Глазго и был христианским философом, который сочетал в себе пронизательный ум и добродетели, внушаемые религией. Я знаю чуть больше трудов Руссо, хотя в целом я уже давно перестал следить за новыми книгами.

Не знаю, окажется ли анализ красноречия этих двух писателей, который вы намерены провести, торжествующим и победоносным по отношению к их системе, или же он будет лишь

торжествующим, но не победоносным (поскольку вы проводите четкое различие между этими двумя понятиями); однако я считаю весьма смелой затеей ваше намерение вырвать из их рук пальмовые ветви первенства, которые они себе снискали, и разубедить публику, которая ими их увенчала - особенно если вам нечего предложить взамен их учения, кроме вашей системы ощущений. Ведь если вы справедливо находите крайне нефилософским искать истоки Нила в небесах, как вы весьма остроумно заметили по поводу языков (страница 41), неужели вы полагаете, что сторонники этих авторов сочтут более философским с вашей стороны заставлять их искать «нравственное чувство» не иначе как в мускулах?

Что до меня, я полагаю - насколько мне позволено об этом судить, - что система этих двух писателей, предлагаая мне, с одной стороны, основания, истинность которых для меня доказана, а с другой - результаты, которые представляются мне благими, должна быть ближе к *intima sympathia* [внутреннему сочувствию], чем ваша, которая, с одной стороны, видится мне ложной, а с другой - вряд ли кажется способной породить что-то доброе. Впрочем, на чьей бы стороне ни оказалась победа, все мои чаяния - на стороне истины.

А пока позвольте мне сделать одно замечание по поводу двух упомянутых выше слов: «торжествующий» и «победоносный», заранее отдавая своё мнение на суд тех, кто способен рассудить это лучше меня. Я охотно верю, что можно торжествовать, не побеждая, и люди в отношениях друг с другом ежедневно доказывают нам это; но я также считаю, что восторжествовать над чем-либо можно лишь в той мере, в какой это поддается победе. А поскольку истину победить невозможно, то нельзя и торжествовать над ней. Можно, конечно, взять верх над теми, кто не умеет её защитить, но само по себе это не означает торжества над самой истиной.

В конце концов, торжествуют над врагом или препятствием, так как их можно победить и преодолеть. Но истина - это не враг, жаждущий нашей гибели, и не препятствие, призванное нас остановить; это не слабый разум, который можно ослепить или ввести в заблуждение. Следовательно, мы никогда не сможем ни победить её, ни восторжествовать над ней. Ваше выражение исполнено блеска, который может прельстить, однако, при всём моём уважении, я полагаю, что ваша идея ещё не достигла своей зрелости.

Вернёмся к тому радикальному шагу, который я вам предлагаю, а именно: оставить всякое чтение книг. Я вижу, что вы уже заранее отчасти разделили мой взгляд на этот предмет. Ведь если вы обходитесь без нравственного чувства, то тем более вам следовало отсечь и то бесчисленное множество трудов, которые трактуют вопросы божественного и религиозного и которые опирались лишь на это самое чувство. И в самом деле, к чему было бы здание, фундамент которого решили убрать?

В этом отношении вы проявили даже больше изобретательности и смелости, чем лиса из басни. Видя, что не может дотянуться до винограда, она довольствовалась словами о том, что он ещё зелен. Вы же, оказавшись в точно таком же положении, превзошли её в находчивости, заявив, будто винограда и вовсе не существует и что искать его - чистое безумие, раз его нет и в помине.

Однако, склоняя вас к тому радикальному шагу, о котором я только что упомянул, - а именно к тому, чтобы предостеречь вас от любых традиционных книг и всех церковных уставов, - я преследовал цель, чтобы вы научились разрешать трудности, а не просто вознамерились их отсекают. Я желал бы, чтобы вы, подобно богатому и деятельному собственнику, поискали в своих собственных владениях - не найдётся ли там рудника побогаче и металла более чистого, нежели те, что вам подносили в смеси с таким огромным количеством чужеродной земли. Я хотел бы, чтобы, отбросив прочь всех этих священных эмпириков, вы сами получили неопровержимое доказательство их шарлатанства. И, наконец, я хотел бы, чтобы вы смогли извлечь из своих собственных недр то самое целебное средство, которое все они притязают вам дать и хранителями которого каждый из них, без всяких на то оснований, себя провозглашает.

Но вместо того чтобы посвятить себя тягостному труду, которого потребовало бы подобное исследование, вы, не видя в их аптеке ни одного спасительного лекарства, сочли более

удобным убедить себя в том, что он сами выдумали всё то, что в этой области носило имя медицины; это с того самого момента избавило вас от необходимости продолжать свои изыскания в их кругу.

Однако по причине той склонности, что заставляет всех нас выбирать самый удобный путь, вы, вместо того чтобы целиком обратиться к тому нравственному чувству, которое отвергаете и которое одно - я в этом убежден - открыло бы вам всё о подлинной природе человека и его истинных связях, отправились искать ответы у прославленных философов и знаменитых метафизиков. А ведь от них вам следовало бы отстраниться так же, как и от всех прочих учителей. У них вы искали те решения, которых не смогли найти у священных эмпириков и которые вам не хватило духу поискать в самом себе.

Да и как могли бы вы найти у них эти решения, если они сами в этом вопросе всё еще блуждают впотьмах и ведут поиски; если между ними царит вечный раздор и если даже вы сами вынуждены предостерегать себя от части мнений тех авторов, за которыми следуете?

Подобный путь, следовательно, был менее философским, нежели тот, что предлагаю вам я. И по правде говоря, я не вижу ничего менее философского, чем рассуждения о человеческом разуме, опирающиеся исключительно на книги. Также я нахожу, что когда человек столь богат собственными мыслями, как вы, обращаться к чужим суждениям - значит недостаточно ценить самого себя.

Несмотря на это, вы, вероятно, сочтете свой путь еще более философским, нежели мой, на том основании, что, отвергая материализм (в котором я ни в коем случае не намерен вас обвинять), вы одним росчерком сводите всю науку о человеке к такой мере, которая избавляет его от любых усилий и ограничивает его дух областью, где он более не чувствует потребности в малейшем движении.

Однако, во-первых, мне кажется, что истинное призвание философского учения - предоставлять человеческому духу максимально возможную широту, а не стеснять его столь тесными рамками; позволять ему ощущать и задействовать все составляющие его способности, а не сковывать и не подавлять их. Ведь медицина никогда не принимала состояние оцепенения, в которое нас погружает опиум, за подлинное телесное здоровье, при котором мы вольны развивать все наши движения и всю нашу активность.

Во-вторых, мне представляется, что ваше учение совершенно противоречит истине, поскольку, согласно представленным мною наблюдениям (страница 82), на земле нет ни одного человека, не исключая и вас самих, кто не свидетельствовал бы в пользу того нравственного чувства, которое вы стремитесь упразднить.

Пусть отдельный человек, отвечающий лишь за самого себя, использует в личных целях все доступные ему средства; пусть он даже извлекает или не извлекает пользу из всех способностей своего духа - никто не вправе ему что-либо возразить; но если некий наставник человеческого разума берется руководить обучением множества людей и при этом сразу же отвергает единственное основание, на котором может покоиться просвещение человечества, то в этом случае люди имеют право на протест. Один знаменитый писатель сокрушался о том, что медицина никогда не приходит без врача; но неужели вы полагаете, что он был бы спокойнее, видя приход врача без медицины?

Я отнюдь не стремлюсь, повторюсь, причислить вас к разряду материалистов - вы весьма далеки от того, чтобы принять их систему (страница 44). Однако должен признаться: я нахожу их более последовательными, нежели вы, в тех границах, которых они придерживаются. Ибо они рассуждают об ощущениях точно так же, как и вы; но, закончив свои поучения, они прямо признают себя материалистами и никем иным. Они принимают на себя как обязательства, так и выгоды своего учения; вы же желаете пользоваться одними лишь выгодами, полностью отвергая обязательства.

Вы также не желаете быть причисленным к числу спиритуалистов и утверждаете (на той же 44-й странице), что ни те, ни другие - ни они, ни материалисты, - сколько бы они ни говорили сверх того, что признаете вы, на самом деле знают ничуть не больше вашего. Тем не менее, вы не даете нам четкого ответа на вопрос, кем же вы являетесь; ведь ваше исповедание

веры (страница 46) недостаточно отделяет вас от материалистов, хотя вы и не желаете, чтобы вас с ними смешивали. Между тем, когда человек всходит на кафедру, чтобы преподавать знания, было бы нелишним дать слушателям возможность точно понимать, каких именно фундаментальных принципов придерживается их наставник.

Если в вопросах божественного и религиозного порядка мы видели, что всё человечество делится лишь на два разряда - на тех, кто верует, и тех, кто не верует, - то столь же очевидно, что и в среде философов, создающих системы, может существовать лишь две стороны. Одна - это те, кто желает видеть в материи единственную движущую силу нашего существа; это учение я никак не могу отличить от материализма. Другая же сторона - это те, кто признает, что мы суть духи и что, как таковые, мы несем этот движитель в самих себе. Именно эту движущую силу я и назвал нравственным чувством. И любые философские системы, какими бы они ни были, строятся либо на одном, либо на другом из этих элементов, либо же на их сочетании.

Итак, если вы не принимаете ни материю, ни дух, я предоставляю вам самим объяснить нам, кому же вы приписываете управление нашими мыслями; ведь совершенно необходимо, чтобы такое управление существовало. Что касается меня, то я не могу примириться с настолько двусмысленной позицией, а потому позволю себе смелость изложить здесь историю развития ваших собственных взглядов.

Вы - человек мыслящий, но вы не стали глубоко вникать в обе эти системы и при первом же знакомстве с ними легко отвернулись и от той, и от другой. От материализма - потому что он не представил никаких доказательств, убедительных для вашего здравого рассудка; от спиритуализма же - потому что священническое облачение и вся сопутствующая ему неясность встали на пути ваших мыслей и помешали им двигаться дальше. Тогда вы попытались удержаться между этими двумя подводными камнями. Однако в силу естественного движения ума вас неизбежно влекло, в большей или меньшей степени, то к одной, то к другой из этих двух систем; и сами того не замечая, вы всякий раз перенимали те или иные оттенки их цветов. Из них вы постепенно и неосознанно сформировали в своем сознании тот неопределенный и смешанный образ мыслей, который свойственен множеству людей на этой земле. Такая позиция не может вас удовлетворить, какие бы усилия вы ни прилагали, чтобы заполнить в ней пустоты; рано или поздно она пошатнется сама собой, как бы вы ни утверждали (на странице 44), что ничто не способно поколебать ваше основание.

Я даже полагаю, что вы скорее склонитесь к системе духа, нежели к системе материи. Ведь если материалисту менее трудно подняться до разряда спиритуалистов, чем спиритуалисту опуститься до уровня материалистов, то тем более это восходящее движение дастся легче тому, кто, подобно вам, не будучи спиритуалистом, всё же уберег себя от материализма.

Впрочем, я восхищаюсь тем, как вы оградили себя от материализма, встав на сторону, как вы это делаете, под знаменами Кондильяка. Хотя я читаю мало, я только что весьма поверхностно - и это правда - ознакомился с его «Опытом о происхождении человеческих знаний» и его «Трактатом об ощущениях». То ли я плохо их понял, то ли мне не ведом ваш секрет, но я почти не встретил в них мест, которые не вызывали бы у меня отвращения; и могу сказать, что не нашел ни одного, который бы меня привлек. Его статуя, например, в которой все наши чувства рождаются одно за другим, кажется насмешкой над природой, которая создает и формирует их все одновременно. Посудите сами, насколько можно полагаться на вытекающие из этого выводы. Что касается меня, то каждая идея автора кажется мне покусением на чело- века, истинным человекоубийством; и при этом он - ваш главный учитель! Видно, что вы вскормлены его идеями, решительно преданы его системе (за некоторыми исключениями) и постоянно используете его язык.

Я также ознакомился, пусть и очень бегло, с «Анализом философии Бэкона», которого вы также признаете одним из своих учителей. Какое иное впечатление я от него получил! Ничто меня там не отталкивает, всё привлекает. Хотя Бэкон и оставляет желать лучшего во многих отношениях, для меня он не только менее отталкивающий, чем Кондильяк, но и стоит на ступеней выше. Кондильяк кажется мне рядом с ним в том, что касается философии, тем же,

чем в вопросах физики является фокусник Комус рядом с Ньютоном. Не знаю, как вы смогли одновременно примириться с двумя столь чуждыми друг другу духовными пищаами.

Бэкон, не будучи спиритуалистом в широком смысле, который я могу вложить в это слово, выступает за него в той же мере, в какой вы - против. Я уверен, что он бы меня понял; и у меня есть все основания полагать, что Кондильяк - нет. Бэкона уж точно нельзя обвинить в одобрении суеверий, поскольку он пишет (глава XLII первой части): *«Невежество и варварство порождают суеверие; лицемерие поддерживает его пустыми обрядами; ложное рвение распространяет его, а корысть увековечивает»*. Но как философ глубокий и уравновешенный, он в той же главе замечает: *«Чрезмерный страх перед суеверием приводит к последствиям почти столь же опасным, как и само суеверие»*.

Таким образом, мне кажется, что Бэкон соблюдал точное равновесие во всем, что становилось предметом его наблюдений. Несомненно, он высказал далеко не всё по тем тонким вопросам, которые мы с вами сегодня обсуждаем - то ли ему не хватало для этого некоторых данных (в чем я убежден), то ли он сдерживал себя из соображений осторожности, в чем не сомневались ни д'Аламбер, ни кто-либо другой. Однако следует верить, что он действительно думал так, как говорил, ибо ничто не принуждало его высказываться; то же, что он заявлял в пользу религии, не могло в достаточной мере перевесить сказанное им против её злоупотреблений и, следовательно, ни в коем случае не послужило бы ему защитой.

Вот почему я с удовольствием обнаружил в его труде сотни свидетельств и даже целые главы (в частности, XXXIII главу первой части, «О добродетели»), в которых я узнаю свои самые важные основы и в которых ваши взгляды почти всегда либо оспариваются, либо исправляются. Поэтому вполне очевидно, что этот философ вас несколько стесняет. Объявив себя его последователем, вы приближаетесь к его школе лишь сдержанно и с осторожностью. Среди провозглашаемых им принципов есть немало таких, на которые вы справедливо опираетесь, и я нахожу их столь же превосходными в ваших устах, как и в его собственных. Однако вы крайне неохотно принимаете те принципы, которые - в отличие от вас - не отрицают наличие в нас любого иного источника познания, кроме чувств.

Вы, кажется, не замечаете, что он признает в нас божественную душу, существующую независимо от нашей животной души, для которой та служит лишь инструментом (глава XVI первой части). Он мало распространяется об этой божественной душе по нескольким причинам: во-первых, я не думаю, что он обладал необходимыми познаниями, чтобы предложить нам более глубокие рассуждения на этот счет; во-вторых, за неимением широких познаний в данном вопросе он считает нужным оставить эти заботы религии, которую он, впрочем, не умеет анализировать до самых основ; в-третьих, целью его труда является лишь руководство нами на поприще чисто философских наук.

Но, в конечном счете, его выражения ясны: он не только воздает божественной душе добровольную и, судя по всему, искреннюю дань уважения, но и официально признает ту способность, или нравственное чувство, в защиту которого я выступаю. И несмотря на всё то, что ему еще оставалось бы нам поведать по этому поводу, сказанного им достаточно, чтобы между ним и самым взыскательным из спиритуалистов воцарился мир.

Вы также, кажется, игнорируете то, что он говорит в главе VII той же части): *«Естественный свет - это язык, на котором все создания обращаются к нашему разуму, и тот иной язык, на котором тайный инстинкт говорит с нашим сердцем. Это светоч разума и совести, служащий для руководства нашими мыслями и поступками»*. Я специально цитирую вам этот отрывок, чтобы вы не обвинили меня в том, будто я выбираю у этого автора лишь то, что выгодно мне. Таким образом, мы оба найдем здесь опору: вы - в словах «естественный свет», которые вы примените к своим ощущениям; а я - в словах «тайный инстинкт», которые сами по себе выражают всё то, что я вам уже подробно изложил.

В конечном счете, вы, кажется, игнорируете и многие другие положения того же автора; или же, если вы считаете возможным иногда ссылаться на него самого для оправдания его *intima sympathia* (внутренней симпатии), как вы это сделали (на стр. 23), то вы видите, что в конечном итоге впадаете в противоречие с вашей собственной доктриной и признаете то, что

хотели отрицать. Для нашего просвещения наверняка должен существовать путь более краткий, чем путь книг, которые ведут лишь к скучным и бесполезным спорам. И этот более краткий путь, повторюсь, должен заключаться в том, чтобы внимательно заглянуть в самих себя и увидеть, не найдем ли мы там тот свет, который ищем у других людей.

Вот почему, несмотря на возражения, которые у вас, без сомнения, всё еще имеются против моего понимания нравственного чувства, я продолжаю представлять его вам как единственного судью, способного вынести априорное суждение по всем спорным вопросам, которые нас разделяют.

Именно оно научит вас, что любая ошибка - это лишь искаженная истина; что мы можем исказить её только с помощью тех же самых способностей, которые были даны нам для того, чтобы удерживать её на своём месте; что мы можем довести эти способности до уродливого состояния; и этого должно быть вам достаточно, чтобы объяснить все суеверные нелепости и фанатичные ужасы, которые справедливо вызывают у вас возмущение. Наконец, именно оно подскажет вам, права ли философия - или то, что вы называете здоровой метафизикой, - когда останавливается у очерченных вами границ; и верно ли то, что иные доказательства, кроме приводимых вами, относятся к разряду «откровений» (стр. 48) - выражению, которое из-за своего сомнительного ореола и малого доверия, коим оно пользуется, не оставило у вас сомнений в окончательности вашей победы.

Я надеюсь, что сегодня вы сочтете излишним прибегать к этому средству, поскольку я, напротив, убеждал вас отложить в сторону любые книги, предания и всяческие откровения и остаться наедине с самим собой. Тем не менее, перчатка брошена; и я не могу позволить себе не поднять её, прежде чем идти дальше. Поскольку вы придали весьма широкое значение слову «чувствовать», я прошу у вас позволения расширить и значение слова «откровение»; и заранее прошу вас не думать, что я путаю это понятие с книгами.

Обычно это слово применяется лишь к так называемому прямому общению Божества с некоторыми людьми, которым оно якобы сообщает свою волю, а также свои общие или частные замыслы; эти замыслы охватывают как божественные и духовные законы, предписываемые нам, так и события, касающиеся судеб народов или природных катаклизмов. Но в человеческом общении это слово приобрело и менее возвышенный смысл, более доступный нашему пониманию: так, когда кто-то делится со мной знаниями, известными лишь ему одному, я могу сказать, что этот человек открывает мне то, что было для меня тайной; точно так же мы ежедневно говорим: природа открывает свои тайны тем, кто её изучает.

Таким образом, в наших языках это слово в целом применимо к обнаружению любой скрытой вещи, к какому бы порядку она ни относилась. Но пока скрытое остается таковым - то есть пока оно не передано или не открыто - оно остается непознанным. И как только нечто становится известным, я могу сделать вывод, что оно было передано или открыто; ведь именно в этом смысле я и расширяю значение слова «откровение». И даже более того: расширив значение слова, я считаю возможным распространить его и на сами факты - рассматривать все сокровища природы: плоды растений, химические свойства различных минеральных веществ, законы движения тел, явления света, электричества и прочее - как своего рода откровение, обращенное к нам. Иными словами, через свое внешнее проявление они сообщают нам знания или тайны, им присущие, которые без этого самообнаружения остались бы для нас несуществующими.

Так, распускающаяся роза являет или открывает моему взору все те сокровища, что были скрыты сначала в её зародыше, а затем в бутоне; и раз уж мы заговорили о сокровищах, которые открывают нам растения, посмотрите, сколько чудес обнаружили натуралисты в самой семядоле.

Таким образом, всю природу можно рассматривать как состояние непрерывного, активного и действенного откровения; или как процесс, в котором она беспрестанно открывает саму себя на всех уровнях и во всех своих проявлениях. Рассмотрев подобным образом физический порядок, обратимся к порядку интеллектуальному и нравственному. Здесь нам следует вспомнить сказанное ранее: человек рождается и живет в окружении мыслей. И вот, если

эти окружающие его мысли не проникают в него, не развиваются в нем и, одним словом, не открывают того, что они в себе таят, он будет знать их не более, чем знал бы явления природы, если бы она не являла их перед ним.

Однако, судя по тем разнообразным результатам, о которых свидетельствует человеческий разум, нельзя отрицать, что он познал и продолжает в той или иной степени познавать этот нравственный и интеллектуальный порядок, или те самые мысли, что его окружают. Те из мыслей, что достигают самого его центра, вызывают в нем некое брожение - каждая согласно своим свойствам - и порождают то столь многообразное состояние, картину которого нравственный и интеллектуальный человек являет нам изо дня в день.

Таким образом, можно сказать, что в своем нравственном и интеллектуальном порядке эти мысли совершают внутри него собственное откровение, подобно тому как явления природы совершают свое в порядке физическом. Можно лишь заметить, что человек едва ли лучше - а порой и того хуже - различает то, что открывают в нем эти нравственные и интеллектуальные мысли, нежели то, что являет ему природа.

Тем не менее остается истиной то, что все имеющиеся у него понятия подобного рода и всё, что он обнаруживает в нравственном и интеллектуальном плане, изначально происходит из тех зачатков, которые доносят до него эти нравственные и интеллектуальные мысли.

И вот, среди множества плодов развития, следы которых являет нам его разум, мы видим разрозненные понятия, о вещах божественных и религиозных; об отношениях человека с его первоначалом; наконец, о тех преданиях, которые в высшем порядке вещей обычно называют откровениями и которыми теогония и мифология всех народов едва ли не наводнили землю. Какими бы запутанными, странными, непостижимыми ни были эти понятия, какими бы бессвязными и чудовищными ни казались вымыслы, которые воображение надстроило затем над всеми этими предметами - будь то даже басня о гиппогрифе, - человек никогда не смог бы изобрести их основы, если бы они не открылись сами собой; у него нет иной власти, кроме как составлять из этих разрозненных частей любые сочетания по своему вкусу. Он вправе быть живописцем и сочинять свои картины так, как ему угодно; но прежде ему необходимо иметь предметы для изображения и краски на своей палитре.

Именно на основе этих данных, сообразно своим способностям, человек создает либо карикатуры, либо шедевры; и без этих материалов первой необходимости он не смог бы представить нам ни шедевров, ни карикатур. Таким образом, поскольку человек не может обладать ни одним из тех божественных и религиозных понятий, о которых мы только что говорили, если они изначально не происходят от брожения, вызванного в нем теми нравственными и интеллектуальными мыслями, среди которых он рождается и живет, необходимо признать, что он пользовался - будь то в разных местах или в разные времена - неким ощутимым развитием этого рода религиозных зачатков; без чего ему было бы не только невозможно обладать даже малейшим из этих понятий, но само название этих предметов не было бы ему известно. И здесь, отнюдь не желая опровергать ваш принцип чувственности, я, напротив, наглядно доказываю его абсолютную необходимость; я лишь уточняю его, расширяя его границы и напоминая вам, что не смешиваю чувственно воспринимаемое с собственно чувствительностью.

Впрочем, я вовсе не намерен подвергать анализу в наших дискуссиях все те учения, что столь затруднительны для мыслителей, и уж тем более - все те ядовитые и смертоносные субстанции, что могли подняться и продолжают ежедневно подниматься из глубин этого вулкана. Не я разверз эту бездну; это логика сорвала с нее печати; именно она открывает ее нам и указывает на ее существование.

Она же, поведав нам, что человеческое воображение никогда не могло бы упражняться ни на чем, кроме реально существующих предметов, открывает нам и то, что - независимо от того причудливого применения, которое человек волен давать этим предметам, - среди мифов, наполняющих его мифологию, могут найтись и такие (как, например, Гидра, Протей и др.), которые имеют под собой иную основу, нежели его прихотливая фантазия. Ведь, согласно

наблюдениям натуралистов, в огромном классе полипов можно воочию и физически обнаружить те удивительные и внезапные превращения формы; эти бесчисленные способы размножения, которые происходят не только путем отсечения головы или других конечностей этих существ, но и, так сказать, при их измельчении на куски; словом, ту бесконечность явлений, которые не менее реальны, хотя и кажутся нам, и по праву, столь необычайными.

Осмелимся ли мы сказать, что человек создал вымысел о Гидре и Протее на основе этих природных реалий? Безусловно, он мог бы это сделать, подобно тому как он мог бы ежедневно черпать множество других образов из того бесконечного числа чудес, которые природа развертывает перед нашими глазами. Но, принимая это мнение, следует руководствоваться лишь ясностью принципов. Вот чему они нас учат.

Поскольку материя вовсе не мыслит, она не только не могла сама вообразить ни сути, ни формы тех явлений, которые она представляет нам в столь любопытном классе полипов; она не способна даже сама по себе решиться на исполнение или раскрытие этих причудливых чудес. Когда она трудится над их проявлением, она может осуществлять их лишь согласно неким прообразам и источникам действия, чей активный импульс управляет ею и которыми она сама не распоряжается.

Тем не менее, являя эти чудеса, она вполне могла пробудить человеческий разум и открыть ему глаза на эти прообразы и на тот побуждающий источник, который принуждает природу воплощать их физически перед нашим взором; но в таком случае это означает доказывать скорее в пользу этих самых прообразов, нежели в пользу человеческого воображения; ибо и в самом деле видно, сколь мало было необходимости человеку их выдумывать, раз пассивное состояние природы уже продемонстрировало или открыло нам их существование.

Вот к чему, в данном вопросе, сводится власть природы. Она лишь направила разум человека к той атмосфере идей, которая повсюду следует за ним и его окружает; к атмосфере, в которой также могут существовать различные прообразы и побудительные мотивы всякого рода, поскольку она заключает в себе даже мысли самого возвышенного порядка, а именно: те, что относятся к божественному и религиозному; к атмосфере, чью силу природа лишь превращает в жизнь, а планы - реализует; наконец, к атмосфере, где человеческий разум, пробудившись при виде этих творений материи, открывает то, что относится к области дарованного ему интеллекта. И поистине, если бы он бросил на чудеса природы тот философский взгляд, пример которого я только что привел и который считаю весьма показательным, плоды, что он мог бы из этого извлечь, были бы безграничны. Ведь у этих чудес нет иной цели, кроме развития наших мыслей; и именно потому, что наши мысли бесконечны, эти чудеса бесчисленны. Тем не менее, остается верным и то, что каждому из этих двух классов надлежит совершать свое собственное откровение; ибо подобно тому как класс мыслей вовсе не является тем, что исполняет и производит чудеса природы, так и сама природа вовсе не является тем, что порождает мысли, хотя она и ведет нас в их обитель.

Таким образом, что касается явлений, происходящих в классе полипов, глубокие и естественные соответствия которых нам здесь открыла логика, мы видим - повторюсь, - что они могут иметь и наверняка имеют под собой особое основание; и это вовсе не означает, что я хочу оспорить тот факт, что мифологические вымыслы бесконечно многим обязаны человеческому воображению. Я также считаю, что невозможно подобрать особый ключ к этим физическим явлениям, рассматриваемым самим по себе, пока мы не достигнем подлинного познания воды. Поскольку эти явления происходят именно в воде, вероятно, что они совершаются также и главным образом при ее посредстве. Следовательно, именно она должна просветить нас через свои собственные действия или, в этом отношении, явить нам свое собственное откровение; но для этого, помимо прочего, нужно, чтобы у наблюдателя были глаза, способные видеть ее в действии.

То же самое было бы верно, если бы существовали земные полипы: именно земля должна была бы дать нам ключ к явлениям, сопровождающим их существование, или явить нам в их отношении свое собственное откровение. Но вернемся к нашей теме.

Поскольку не я, а сама логика открыла эту бездну божественных и религиозных истин, о которых упоминалось выше, вовсе не мне надлежит направлять тех, кто пожелает приблизиться к этому вулкану, чтобы лучше судить о его размерах и происходящих в нем явлениях. Каждый из нас вынужден лишь ловить - как получится - среди выходящих из него мрачных туч те интеллектуальные, нравственные и божественные проблески света, которые порой их прорезают; эту задачу я разделяю со всеми себе подобными, и все мы несем одно и то же бремя. Но поскольку логика учит меня, что именно через нравственное чувство те моральные и религиозные понятия, о которых я упоминал, достигли людей в разных частях света, то и за их разъяснением я должен направить вас именно к нравственному чувству. Продолжим.

Не только вещи существуют для нас лишь в той мере, в какой каждая из них являет нам свое собственное развитие или откровение; можно также сказать, что любая вещь покоится на основании или корне своего собственного развития или откровения и не ведает о том, что принадлежит к сфере порядка более высокого, чем её собственный. Вот почему животные не знают, что происходит в наших мыслях, хотя они и не заблуждаются относительно законов, касающихся поддержания их жизни, и всего того, что способствует развитию их свойств - то есть их собственного откровения. Более того, если бы материя могла верить, были бы все основания утверждать, что каждая вещь верит лишь в своё собственное откровение.

Точно так же и люди перенимают оттенок или убеждения того объекта или той вещи, чье развитие или откровение они изучают; и в своей вере они не идут дальше, чем сама эта вещь заходит в сфере своего собственного проявления. Так, материя, являя лишь откровение материи, не знает ничего иного и не могла бы поверить ни во что другое, если бы была способна верить.

Вот почему физики и все те, кто занимается лишь науками о материи, так легко приходят к убеждению, что всё вокруг есть материя. Вот почему, несмотря на ваше заявленное неприятие материализма, вы всё же невольно пришли к утверждению - подобно его приверженцам, - будто не знаете, строго говоря, ничего универсального, кроме самой вселенной (стр. 32); тогда как в вас самих есть нечто гораздо более универсальное, чем эта вселенная, а именно - ваша мысль.

Как могли бы убеждения упомянутых ученых распространиться дальше материи? Они ограничивают себя рамками откровений материи и не обращают внимания на процессы развития, происходящие в человеке, или на те естественные и присущие ему откровения, которые совершаются в нашем существе посредством окружающей нас атмосферы мыслей.

Те же, кто изучает человека, но ограничивается лишь использованием способностей своего разума, также не верят ни во что, выходящее за его пределы, поскольку живут исключительно в рамках развития или откровений самого разума. При этом они находятся в порядке вещей гораздо более высоком, чем порядок откровений материи, которая не способна до них возвыситься. Если геометр, пребывающий в сфере откровений разума, заявит невежественным сельским жителям, знающим лишь откровения материи - заявит им, повторяю, что в точности измерит высоту колокольни или длину поля, не приближаясь ни к тому, ни к другому, - они ему не поверят. А когда он докажет им это на деле, они всё равно этого не поймут. Но разум - это лишь светильник мыслящего человека, а не сама его жизнь. В человеке есть еще более фундаментальная и глубокая способность - та самая, которую вы не желаете признавать; та, которой мы уже давали столько имен и которую знаменитые писатели до меня называли *нравственным чувством*.

И эта фундаментальная способность, это нравственное чувство, также должно пройти путь своего собственного развития или своего естественного откровения, иначе оно останется непознанным. До тех пор пока в нас не совершится это развитие или это откровение, наше существо не будет целостным, как не будут полными и наши знания. Ведь в таком случае мы парализуем или отсекаем одну из наших основ, один из центров нашего развития. Без этого фундамента, без этого коренного истока - словом, без активного действия нашего нравственного чувства - мы не сможем, полагаясь на один лишь разум, достичь развития или откровения тех знаний, что соответствуют этому нравственному чувству. Точно так же мы не можем,

опираясь лишь на простые процессы развития или откровения материи, обрести развитие или откровение тех знаний, что соответствуют нашему разуму.

Я с сожалением лишь вскользь коснулся этого важного вопроса, который заслуживает отдельного исследования и сам по себе мог бы стать предметом обширнейших размышлений. Однако я охотно забуду о том внутреннем принуждении, которое мне пришлось преодолеть, чтобы заговорить об этом, если то немногое, что я представил вашему вниманию, помогло вам увидеть в слове *откровение* иной смысл, отличный от того, что вкладывает в него толпа; и если я сумел показать вам, что, используя это слово в разговоре со мной, вы нисколько не смутили меня. В самом деле, я не только не сужаю значение этого слова, как принято в обычном понимании, но, напротив, утверждаю: всё, что развивается в природе, в нашем разуме и в нашем нравственном чувстве, проявляется в каждой из этих областей исключительно через свое собственное и подлинное откровение. Между тем откровения, содержащиеся в книгах и религиозных учениях всех народов мира, - это лишь откровения традиционные. Они не только требуют посредничества человека для своей передачи, но и их достоверность невозможно убедительно доказать себе иначе, как задействовав собственные способности и поставив себя в те же условия, в которых, как считается, находились те, кого нам представляют как свидетелей или героев этих откровений.

Ведь если физика настоятельно рекомендует опираться на опыт, то истинная религиозная наука требует этого в гораздо большей степени. И именно потому, что лишь немногие дают себе труд заняться такой проверкой, столь многие пребывают в ослеплении и заблуждении. Перейдем теперь к вопросу о языках.

Если я, как могло показаться, пытался оградить себя от тех усилий, которые вы, по-видимому, прилагали, чтобы свести языки к простому названию знаков, то это лишь потому, что, не определив тогда значение ваших выражений, я опасался, что вы тем самым вновь вернете нас в тот тесный круг ощущений, над которым, по моему убеждению, человеческий язык стоит гораздо выше. Более того, хотя сегодня вы более точно определяете эти самые выражения, если бы я присмотрелся к ним повнимательнее, возможно, вы не до конца рассеяли бы мои опасения на этот счет.

Тем не менее, поскольку сказанное вами сейчас применимо как к моим принципам, так и к вашим, вы увидите не только то, насколько я нетребователен к словам, но и то, что я не побоюсь расширить понятия «знаки» и «языки» даже больше вашего, подобно тому как я поступил с понятием «откровение».

Таким образом, я могу вслед за вами и теми, кто первым высказал эту мысль, признать, что все знаки суть языки, а все языки суть знаки (стр. 41); и даже моя убежденность в этом столь же давняя, как и та, что я выразил вам ранее относительно следующего тезиса: некий смысл может быть всеобщим, не будучи при этом развит повсеместно. Поэтому мне не составит труда раскрыть вам ту идею, которую я вкладываю в слово «язык»; и здесь я почерпну из одного труда, опубликованного некоторое время назад, часть того, что собираюсь представить читателю.

Я полагаю, что язык в самом широком и в то же время в самом строгом смысле может рассматриваться как явное выражение проявлений свойств, данных каждому существу тем источником, который его породил. Поскольку же не существует ни одного существа, которое по своей природе не обладало бы определенными свойствами и не проявляло бы их тем или иным образом, можно согласиться с тем, что на самом деле нет ни единого существа, которое, в строгом смысле слова, не обладало бы своим языком - если понимать это слово во всей той полноте, которую способен придать ему разум.

Однако здесь необходимо отметить различие, существующее между этими разнообразными видами языков. Одни выражают себя в безмолвии и самим фактом своего бытия, как мы видим это в безмолвном взаимодействии всего, что составляет природу, где каждая вещь активно и наглядно являет все присущие ей свойства; другие используют для этого некоторые дополнительные средства выражения, такие как крики животных и различные проявления их

инстинктов; наконец, третьи выражаются через слово, что мы наблюдаем в человеческой речи, а также во всех её вспомогательных средствах.

В этой картине можно заметить, что активное, насущное и безмолвное проявление свойств живых существ является, в некотором роде, самым прямым и простым языком, поскольку в данном случае жизнедеятельность существа и его язык составляют единое целое. Крики животных и различные проявления их инстинктов образуют язык, в котором этот характер единства уже не прослеживается, так как он служит лишь выражением желаний и потребностей этих животных; а эти желания или потребности не образуют единства с самим языком, хотя он их и представляет. Наконец, сами человеческие языки представляют собой знаки, еще более отделенные и обособленные от мыслей, от деятельности разума и тех внутренних движений, которые мы стремимся выразить.

Таким образом, мы обладаем тремя видами языков: языком материальных неодушевленных существ - в силу одного лишь нашего телесного существования; языком существ чувствующих - через наши крики и инстинктивные действия, которые в равной степени служат нам для выражения наших животных состояний; и, наконец, языком существ разумных и любящих - благодаря нашей способности описывать словом всё, что касается игры наших идей и оттенков наших нравственных чувств.

Итак, мы видим, что первые два языка даются повсеместно вместе с жизнью двум классам существ, способных проявлять: одни - простые свойства, другие - помимо этих свойств, еще и признаки желаний и потребностей животного порядка, которые они склонны испытывать. Как же мог человек - единственный, кому дано выражать всё, что относится к интеллектуальному и нравственному порядку, - оказаться по самой своей природе лишенным средств для достижения этой цели? Как мог бы он быть вынужден самостоятельно создавать свой язык в этой области, тогда как два других класса существ, столь бесконечно низших по сравнению с ним, оказались в своем роде наделены гораздо щедрее него?

Кроме того, мы замечаем весьма поразительный факт: в каждом из первых двух классов языки единообразны среди представителей одного и того же вида; почему же в третьем классе, то есть в классе людей, язык не обладает этой привилегией единообразия?

Вот соображения, которые большинство авторов, писавших о языках, оставили без внимания, хотя они и заслуживали того, чтобы на них на мгновение остановились. Вот почему я, в отличие от вас, отнюдь не склонен приписывать невнимательности Руссо (стр. 40) то знаменитое утверждение, которое разделяет нас с вами, как мы вскоре увидим.

Мне кажется, что, столкнувшись с этим столь важным и основополагающим наблюдением, упомянутые мыслители должны были бы, по крайней мере, не спешить с выдумыванием искусственного происхождения человеческого языка, прежде чем не исследуют всё вокруг в поисках его природного источника. Ведь этот источник наверняка существует, так же как существуют источники двух других языков; словом, мне кажется, им следовало бы прибегать к подобным усилиям своего разума лишь в том случае, если бы надежда на вышеупомянутое открытие была явно потеряна.

Здесь открывается фундаментальная истина, а именно: во всех классах язык существ находится при них самих.

Это является лишь переводом, дополнением и подтверждением того важного положения, согласно которому каждая вещь должна сама себя раскрывать. Кроме того, является ли непрерывной истиной тот факт, что во всех классах язык существ находится при них самих, поскольку языки, как и всё остальное, по необходимости должны также проходить через собственное развитие или собственное самораскрытие; и мы уже здесь обнаружим те зачатки, которые, как вы вскоре увидите, остались без объяснения, вопреки вашему заявлению (стр. 42).

Однако этот закон проявления языков действует с различными временными интервалами в зависимости от классов и видов; но он должен быть применим ко всем существам, поскольку все они обладают свойствами, требующими проявления. В противном случае, если мы захотим отказать им в природном языке, соответствующем их классу, нам придется также отрицать и наличие у них свойств, подлежащих проявлению в рамках этого самого класса.

Между тем, общеизвестно, что применительно к человеку именно к этому в конечном итоге приходят результаты изысканий философов-теоретиков; и одни - намеренно, другие - по невнимательности, позволяют себе настолько глубоко зайти в эти теснины, что уже не могут выбраться из них иначе, как прибегая к столь затруднительным и опрометчивым выводам.

Давайте же проследим, как этот закон близости существ и их языков на самом деле проявляется повсюду в природе и различается лишь длительностью временных промежутков, через которые эта близость дает о себе знать. Мы не можем сомневаться в том, что дело обстоит именно так во всем, что стоит ниже животного класса (понимая, впрочем, под языком в данном случае непосредственное выражение свойств существа), поскольку всё, что находится ниже животного класса, подтверждает нам этот закон физически; иными словами, в этом классе само существование существа и проявление его свойств находятся в такой близости друг к другу, что они одновременны.

В животном классе некоторые существа - например, определенные виды птиц - отчасти уже с самого рождения демонстрируют нам эту близость между их существованием и выразительной способностью, или свойственным им языком. Так, мы видим, как едва вылупившись из яйца, одни из них начинают плавать, другие - ходить, искать добычу, издавать звуки и так далее.

Среди четвероногих, хотя у большинства из них развитие активных телесных свойств (таких как ходьба, способность самостоятельно добывать пищу и т. д.) и происходит с задержкой, встречаются и такие, кто пользуется этими преимуществами сразу. В конечном итоге мы видим, что все они обладают - то есть имеют при себе - языком звуков или криков для выражения тех чувственных и животных состояний, к которым они восприимчивы в зависимости от своего вида и возраста. Кроме того, все они по прошествии различных промежутков времени обретают во всей полноте всё то, что предназначено им в качестве языка или средств для проявления своих свойств и склонностей.

Что касается человека и трех различных языков, которые мы в нем подметили, то два из них пребывают при нем с самого рождения; один - это язык безмолвный, который принадлежит его физическому существованию и является общим для него и всего материального; другой - это язык его животных состояний, ведь он начинает кричать с первым же шагом за пределы материнского чрева, попадая под прямое иго стихийных сил.

О третьем же из природных языков человека - то есть о его разумном языке (представленном здесь его условным и изменчивым языком, который заменяет первый) - также можно сказать, что он отделен от него лишь временным промежутком. Ведь те, кто говорит на его условном языке, те, кто должен развить в нем его зачатки и передать его ему, находятся рядом с ним и не покидают его. И если вы просто исключите промежуток времени между первым мгновением его жизни (или появлением учителей его условного языка) и моментом, когда он начнет активно применять их уроки на практике, то увидите, что он и его условный язык соприкасаются точно так же, как соприкасаются другие существа и их единообразные природные языки в иных классах - сообразно течению времени и разнообразию изменений, которые различие в их существовании неизбежно вносит в их устройство, воспитание и всё, что их касается. Вы увидите, повторяю, что он и его условный язык находились совсем не далеко друг от друга, раз они соединяются по истечении этого промежутка времени.

Таким образом, по аналогии было бы уместно предположить, что если в самом низшем классе природный язык существ рождался вместе с ними и был от них неотделим; если во втором классе этот природный язык, с одной стороны, рождался вместе с ними, а с другой - соединялся с ними по прошествии некоторого времени; то было бы уместно, повторяю, предположить, что для третьего, высшего класса, который и является собственно человеческим, этот закон не должен быть ни отмененным, ни мнимым. Таким образом, вероятно, естественный и единообразный язык его третьего класса, который должен быть чем-то большим, нежели его условный язык, должен был существовать для него так же, как он наблюдал в самом себе языки своего первого и второго классов; с той лишь разницей, что этот естественный и единообразный язык третьего класса находился для него в состоянии ожидания, подобно

тому как он видел, что его условный и изменчивый язык был на деле лишь отсрочен, поскольку родители, которые должны были его ему передать, находились рядом.

Наконец, если этот естественный и единообразный язык его третьего класса был для него лишь временно приостановлен, он мог быть совершенно уверен: дай он своим интеллектуальным и нравственным способностям подобающее им развитие, он неизбежно обрел бы единство со своим интеллектуальным, естественным и единообразным языком - точно так же, как он обретает единство со своим условным и изменчивым языком по прошествии времени, необходимого для его воспитания. Следовательно, ему оставалось лишь восполнить собственным содействием тот промежуток, который отделял его от интеллектуального, естественного и единообразного языка, подобно тому как он восполнял своим содействием промежуток, отделявший его от языка условного и изменчивого; и он не должен был более стремиться самостоятельно создавать тот интеллектуальный, естественный и единообразный язык, который его ожидает, точно так же как двухдневные младенцы, рожденные в Париже, не пытаются сами изобретать свой частный условный язык или французскую речь, на которой им предстоит заговорить через несколько лет.

Вместо того чтобы зрело взвесить эти очевидные трудности, те, кто, подобно вам, ограничивают себя системой ощущений, вообразили, будто нашли в этой системе всё необходимое человеку для создания своего языка. Вследствие этого они с жалостью взирали на того, кто утверждал, что речь была необходима для возникновения самой речи. И именно здесь я вновь приму сторону тех «зародышей», которые я защищал в своем рассуждении (страницы 12 и 13), и постараюсь показать вам, что я вовсе не на вашей стороне против Руссо, как вы пишете (страница 42), а, напротив, более чем когда-либо на стороне Руссо против вас.

Если бы, выражаясь подобным образом, он имел в виду лишь то, что вы ему приписываете (страница 40), касательно речи в том виде, в каком она существовала в Афинах при Перикле и так далее, я полагаю, он высказал бы лишь ребяческую мысль, имеющую к тому же воображаемое основание, что я и отмечу через мгновение. Если бы он, напротив, утверждал, будто потребовалось некое соглашение, установленное посредством речи, чтобы заставить дикарей оставить свои нечленораздельные крики и тому подобное - бесполезность чего вы справедливо замечаете (страница 41), - то он изрек бы полную нелепость.

Я утверждаю относительно первого пункта, что он высказал бы лишь ребяческую мысль, поскольку это свелось бы к утверждению, что для того, чтобы говорить так, как люди говорили в те славные времена, которые вы цитируете, им прежде необходимо было бы уже обладать речью. Это ничуть не прояснило бы вопрос, который нас занимает и который состоит в том, чтобы выяснить, какими путями языки формировались изначально. Кроме того, я считаю надуманной ту основу, которую вы подводите под своё наблюдение, а именно - будто речь тех веков и тех ученых мужей была установлена соглашениями и речью множества людей и множества уже весьма просвещенных веков; и вот почему:

Независимо от того, что мне всё равно пришлось бы выяснять, кто же просветил ранее тех других людей и те другие века (поскольку ваша система ощущений оставляет меня в неведении по этому поводу), я убежден, что во всех этих языках, которые я называю условными по отношению к языку неизменному, соглашение не составляет и сотой доли вклада, если не сказать, что оно не вносит его вовсе. Ибо даже когда академии составляют прекрасные словари языков, они либо диктуют обществу свои предписания, либо принимают их от него, но вовсе не заключают с ним соглашений.

Этим они олицетворяют человеческий гений, который во все времена изменяет и преобразует, почти по своему усмотрению, те интеллектуальные и нравственные основы, которые находит в самом себе, равно как и условные языки, принятые в той или иной среде, в которой он воспитан. Даже само обыкновение, которое принято считать верховным властителем языков, есть лишь исполнение законов, навязанных властью обстоятельств и творческим духом; законов, которым большинство людей подчиняется скорее из покорности, чем в силу свобод-

ного и осознанного согласия. И те замечания, которые я здесь высказываю, могут - с необходимыми поправками - относиться не только к различным развитым языкам, как древним, так и современным, но и к самым несовершенным наречиям.

Что касается второго пункта, я утверждаю, что Руссо высказал бы явную нелепость; ведь было бы абсурдно заявлять, будто дикарям требовалось некое соглашение, чтобы обрести способность издавать нечленораздельные крики, свистеть, гоготать и тому подобное, поскольку большинство подобных способов общения дарованы природой даже животным. С тем же успехом можно было бы сказать, что мне нужно было заключить договор со своим отцом, чтобы он, даруя мне жизнь, наделил меня еще и способностью дышать.

Понятие «соглашение» имеет столь ограниченный смысл, когда оно сводится лишь к чисто человеческим установлениям, что мне прискорбно видеть, как вы в данном случае превратно его толкуете. С другой стороны, это слово становится столь возвышенным, когда оно прилагается к своему истинному предмету, что для понимания его подлинного значения я вынужден снова направить вас к вашему нравственному чувству.

Впрочем, здесь вы лишь укрепляете меня в мысли, что я высказал ранее, а именно: всё сущее верит лишь в собственное откровение. Люди так привыкли всё устанавливать сами, их ум до такой степени сроднился с их соглашениями и плодами их собственных трудов, что под словом «установление» они не мыслят ничего, решительно ничего, кроме того, что установили сами. И если случается так, что человек, менее заблудший, чем прочие, естественным образом придает этому выражению тот подлинный смысл, который оно должно иметь, они его совершенно не понимают и с презрением отвергают. Такова печальная участь истины: когда она пытается пробиться сквозь человеческие языки, она не находит в них почти ни одного слова, которое не было бы искажено.

Следовательно, мысль Руссо, с которой моя полностью совпадает, не подразумевает никакого рода соглашения в том, что касается установления речи. Она также не подразумевает и какого-либо чуда - слова, которое вы, несомненно, используете намеренно и которое, возможно, были бы не прочь услышать и от меня, чтобы затем обернуть против меня и это жреческое облачение, и те откровения, к которым я вовсе вас не отсылал, как вам хорошо известно. Эта мысль опирается исключительно на ту простую и очевидную необходимость, в силу которой мы, будучи по самой своей природе существами мыслящими, вместе с интеллектуальной и духовной жизнью получили и зародыш соответствующего ей языка - подобно тому, как животные получают вместе с жизнью зародыш криков и звуков, соответствующих потребностям животного мира. Ведь подобно тому как порождающее животное обычно обладает всеми свойствами, которые со временем должны проявиться в его потомстве, точно так же и порождающий источник нашего мыслящего существа, каков бы он ни был, должен обладать всеми качествами, которые это мыслящее существо призвано развить в свой срок.

И поскольку это развитие обнаруживает в нас исключительную способность говорить - и прежде всего говорить о вещах нравственных и интеллектуальных, о которых животное не имеет ни малейшего представления, - естественно полагать и утверждать, что упомянутый источник не только должен был посеять в нас зародыши такого рода речи, но и сам должен был ими обладать изначально. Ведь мы видим, что сами наделены всеми теми свойствами, которые передаем своим детям. Все эти естественные и основополагающие истины с огромной силой выражены в этом прекрасном и возвышенном положении: «речь была необходима для установления речи». Ибо в данном случае установление - это не что иное, как передача зародыша со стороны источника, каким бы он ни был, и его постепенное развитие со стороны порожденного существа, за исключением тех различий, которые это развитие может претерпевать в немыслящей области, где оно должно происходить.

Я уже вижу отсюда, как вы встревожены призраком возможных последствий и многочисленными трудностями, в которых ваша система заставляет вас видеть лишь одни неудобства, совершенно не замечая путей к их исправлению. Но что же должно взять верх: ложная система или система туманная, которая к тому же перестанет быть для вас таковой, как только вы действуете то нравственное чувство, о котором я не перестаю вам говорить? Если вы не могли

разрешить эти великие вопросы, следовало оставить их в покое и не судить столь опрометчиво о тех, кто, по-видимому, занимался ими больше вашего.

Что касается меня - а я уже говорил вам, что не берусь читать здесь курс лекций по этим вопросам, - я оставляю вас бороться с призраками, которыми, как я вижу, вы окружены; я же вновь сужу рамки обсуждения, показав вам, почему не могу, подобно вам, приписать простой оплошности это прекрасное и возвышенное положение Руссо.

Его оплошность и мизантропия действительно заставили его рассматривать дикое состояние как подлинное естественное состояние человека и искать среди дикарей тот общественный договор, который никогда не существовал нигде, кроме как в его мыслях. И раз уж он зашел так далеко, что почерпнул в этом диком укладе и общественный договор, и сам источник цивилизации, ему ничего не стоило бы поискать там же и те языки - или ту речь, - изобрести которую ему было бы не труднее, чем вам или другим создателям языков. Ведь сама по себе она, возможно, менее удивительна, чем была бы цивилизация и все составляющие действующего общественного договора, если предположить, что они возникли исключительно благодаря усилиям людей. Мне кажется, таким образом, что для решения проблемы, которую ставит перед нами Руссо - желая, с одной стороны, сделать человека творцом своего общественного договора, а с другой, поставить происхождение языков в зависимость от речи, которую он считает обязательным условием (*sine qua non*), - необходимо занять позицию одновременно более верную и более выгодную.

Какие бы чудеса ни породил гений Руссо и какие бы упреки ни заслуживало его сердце (ведь я полагаю, что этот знаменитый человек умер, будучи в меньшей степени безумцем умом, нежели сердцем), я убежден, что по своей природе его сердце было выше его ума. Тем не менее, он порой впадал в ту ошибку, в которую ежедневно впадают люди, целиком посвятившие себя писательскому ремеслу: эта ошибка заключается в том, что они зачастую заставляют свой ум работать гораздо больше, чем сердце.

Между тем, рассуждения о происхождении человеческих союзов и о фундаментальной основе общественного договора относятся гораздо больше к области ума, нежели сердца - особенно когда в этом договоре видят лишь человеческое основание, как это делал Руссо. Вот почему, взявшись за эту тему, он мог ошибиться и увлечь нас в страну химер, как во все времена поступали те, кто, не опираясь на принципы, стоящие выше человека, пытался воздвигнуть здание человеческого сообщества и цивилизации. Напротив, рассуждения о фундаментальной основе языка (которая есть нечто иное, нежели синтаксис и грамматика) относятся гораздо меньше к уму, нежели к сердцу. В самом деле, человеческие языки, если вернуть их к истинному предназначению, должны быть выражением наших мыслей; а наши мысли - выражением наших нравственных чувств, подобно тому как языки животных являются выражением их физических состояний. Кроме того, наши нравственные чувства, чтобы быть правильно упорядоченными, должны опираться не только на некую преобладающую, плодотворную и созидательную идею, но и на некое изначальное чувство, которое можно назвать материнским чувством.

Итак, мы видели, что мысли сосредоточены в нашем рассудке, а наши нравственные чувства, которые должны быть их источником, пребывают в нашем нравственном чутье или в том, что мы называем здесь сердцем. Поэтому Руссо, чье сердце, вопреки его заблуждениям, было выше его ума, смог ощутить, занимаясь языками, как внутри него зреет тот самый коренной зародыш языка, который несут в себе все люди; и они признали бы его так же, как и он, если бы, подобно ему, имели счастье не позволять трудам своего ума столь часто затмевать богатство и свет своего сердца.

Таким образом, благодаря этому мощному внутреннему брожению он смог увидеть, как в нем рождается тот благодатный плод и та величественная идея о том, что речь была необходима для установления самой речи. Эта идея представляется мне одной из самых глубоких и величественных истин, когда-либо сошедших с человеческих уст; в конечном счете, эта мысль не могла бы родиться в нем, если бы в тот момент он не пребывал в истинном внутреннем созвучии (*intima sympathia*) своего нравственного чутья с рассудком.

Да, убежденность в необходимости речи для возникновения самой речи может проистекать лишь из убежденности в существовании у человека нравственного чувства. Более того, необходимо, чтобы тот, кто признает это чувство, испытывал его влияние достаточно живо, дабы не относиться к нему с безразличием или как к простому мнению, пригодному лишь для того, чтобы занимать место в какой-либо системе. И коль скоро вы вовсе не желаете признавать нравственного чувства, не стоит удивляться тому, что масштабная идея Руссо не может найти к вам никакого доступа. Однако, исходя из того, что я только что изложил, я полагаю, что среди наших судей найдутся те, кто в отношении этой возвышенной идеи рассудит, что с вашей стороны было оплошностью обвинять Руссо в том, будто он высказал её лишь по неосторожности. Продолжим наши наблюдения за происхождением языков.

Те, кто придерживается притязания, будто наши языки и вся наука нашего рассудка формируются исключительно под воздействием природных обстоятельств и одними лишь нашими человеческими средствами, по собственной воле подставляют себя под целый ряд затруднительных возражений, касающихся врожденного, интеллектуального и единообразного языка человека, или же когда речь идет лишь о его языке условном и изменчивом.

Первое из этих возражений, которое возникает прежде всего, заключается в тщетности их попыток задумать и осуществить подобное предприятие: ведь с самого начала они должны видеть, что в отношении первого из этих языков против них будут свидетельствовать сами принципы, а в отношении второго - факты. Что касается первого из этих языков, или естественного и единообразного языка разумного человека, то против них выступают принципы, поскольку, исходя из всего того, что мы только что рассмотрели, нельзя отрицать, что разумный человек должен получать от своего первоисточника вместе с рождением необходимое средство для выражения своих качеств - то есть язык, неразрывно связанный с этими самыми качествами. Мы видим, что именно так природа ведет себя по отношению к двум другим классам, одушевленному и неодушевленному, которые стоят ниже разумного человека.

Что же касается второго из этих языков, или языка условного, то здесь против них выступают факты - если только они не пожелают сочинять историю происхождения языков так, как сочиняют театральную пьесу, где автор прилагает огромные усилия, чтобы отбросить всё, что может противоречить его замыслу или затмить славу героя, которого он хочет выставить в полном блеске. Против них, повторюсь, будут свидетельствовать факты, поскольку, я надеюсь, они не дойдут до такой неосмотрительности или недобросовестности, чтобы не замечать: человек повсюду рождается в окружении своих близких и повсюду он естественным образом перенимает от них тот особый условный язык, на котором ему суждено говорить в тех краях, где он родился; и что, следовательно, их самый первый предок, кем бы он ни был и каково бы ни было его происхождение, неизбежно должен был подчиняться тому же закону. Поэтому они выбрали самый удобный для себя путь - попросту игнорировать этот вопрос, стараясь вместо этого философски обосновать, как все эти условные языки могли зародиться в человеческом роде, и отыскать для них какой-нибудь источник среди тех наспех собранных компонентов, которыми они изо дня в день наполняют свои хранилища. И вот именно здесь начинается их театральная пьеса. Окидывая взглядом различные материалы, имевшиеся в их распоряжении, они сказали:

«Нашей пьесе придет конец, если мы будем смотреть на человека, помещенного на эту землю, как на того, кто должен упорным трудом развивать в себе зачатки составляющих его интеллектуальных и нравственных способностей, и если признаем, что он не мог быть здесь поселен без того, чтобы ему не указали на некоторые жилы в том руднике, который он должен разрабатывать, и не дали инструменты, необходимые для его работы».

«Нашей пьесе придет конец, если мы позволим течь этому ручью, которого одного было бы достаточно, чтобы образовать целые реки».

«Наконец, нашей пьесе придет конец, если мы признаем очевидную необходимость того, что первый росток человеческого рода, каким бы ни был этот росток, получил свою долю жиз-

ненных сил, чтобы затем последовательно передать их всем ветвям и ответвлениям семьи человеческой; или, одним словом, если мы признаем ту неоспоримую истину, что слово было необходимо для самого установления речи».

«Отбросим же с самого начала все те средства, которые могли бы нам помешать. Не будем обращаться к учению материалиста: вычеркивая человека из духовного порядка, оно тем самым парализовало бы все наши функции, поскольку нам нечего было преподать существу, которое по самой своей природе не способно ничему научиться. Не будем использовать и учение спиритуалиста: подчиняя человека отеческому правлению его первоначала, оно тотчас же погрузило бы нас в состояние полного застоя».

«Не станем задерживаться на той очевидной трудности, заключающейся в том, что - будь то в материализме или в спиритуализме - должен существовать некий первый человеческий росток, ставший хранителем того, что сегодня мы узнаём лишь от наших отцов. Ведь если бы этот первый росток был взрослым человеком, он ни в чем не должен был бы знать недостатка; а если бы он был лишь ребенком, он не смог бы ни дать себе жизнь, ни обрести средства для приобретения всех знаний. Поэтому отложим в сторону все эти материалы или все те свидетельства, которые наш разум усматривает в естественных архивах человека; попробуем достичь успеха в нашем предприятии без их помощи и составим с этого момента то, что мы назовем фабулой нашей поэмы».

Сформировав этот замысел, они и в самом деле отбросили все те столь веские и неоспоримые основы, не признать бесповоротное существование которых невозможно - разве что при наличии предвзятого намерения или из-за намеренно искаженного взгляда на вещи. И что же они предложили взамен, избавившись от них? Обыкновенное предположение.

В своем вымысле они представили двух индивидов, до того времени лишенных всякого общения даже с животными. Они проследили различные этапы развития, которые последовательно проявляются в способностях этих двух существ; они весьма искусно восстановили постепенное зарождение естественных знаков: указательных, подражательных, образных и знаков-привычек. Увлечшись своим предметом, они поспешили перенести в тот язык, который пытаются породить, всё то, что находят в языках уже существующих. При этом они не потрудились решить проблему превращения голосовых звуков или криков человека-животного в выразительную речь, соответствующую мысли. Вместо этого они просто подвели итог этой «очаровательной» череде наблюдений, заявив: знаковый язык речи будет расширяться, с каждым днем становясь всё богаче; на его основе сформируется система, и так возникнут языки. Они настолько не сомневаются в успехе своего вымысла, что вскоре переходят к утверждению и заявляют с поразительной уверенностью: происхождение языка объяснено.

Я не стану вновь излагать им те наблюдения, которые уже представлял ранее относительно природных обстоятельств, что при любых возможных гипотезах должны были сопутствовать появлению человека - будь он создан уже взрослым или же еще ребенком. Не стану я и спрашивать, откуда они возьмут этих двух индивидов, лишенных до того момента всякого общения даже с животными, и каким образом эти двое сумели бы сохранить свою жизнь. Ведь если допустить это, то более не составит труда вообразить, как эти существа испытают - согласно тому же вымыслу - и чувство взаимного удивления при встрече, и любопытство, внушаемое каждому из них новизной зрелища подобного себе создания, и чувство тесной связи, основанной на соразмерности их нужд и деятельности. В силу этой связи, будь то на войне или в мире, один едва ли сможет сделать что-либо, что было бы безразлично для другого.

Я не стану, повторюсь, спрашивать их, каким образом эти два индивида достигли бы подобного рубежа, если до той поры они не имели общения ни с каким иным существом, кроме самих себя? Я скажу им лишь, что подобная философия вполне могла бы найти признание, заявляя о себе лишь как о философии поэта; но их вымысел не кажется мне достаточно правдоподобным, чтобы удостоиться даже чести считаться поэзией философа.

Когда при таком положении дел я вижу, как они в некотором роде сетуют, подобно вам, на то, что и сегодня весьма распространено мнение, будто язык не мог быть создан по чьему-

либо установлению; когда я вижу, как они с неким состраданием напоминают, что еще несколько лет назад женеvский философ полагал неопровержимо доказанным то блестящее положение, по поводу которого я только что столь решительно высказался против вас; когда я вижу, повторяюсь, их спокойную уверенность в собственной победе, я не могу не спросить их в ответ: неужели для опровержения того знаменитого утверждения - что речь была необходима для самого установления речи - достаточно простого знака неодобрения? Особенно когда самые глубокие и строгие наблюдения вновь возвращают нас под власть этой истины, а её противники могут предложить взамен лишь заведомо неполные основания и такой порядок вещей, который рушится сам собой вместе с породившим его допущением.

Тем не менее, я глубоко уважаю писателей, которых имею в виду в этом изложении; я отдаю самую искреннюю дань их таланту и прошу их не приписывать форму и тон моей защитительной речи никаким мотивам, на которые они могли бы посетовать.

Прежде чем заговорить о другом возражении против дела создателей наших языков и преобразователей нашего разума, я прошу у вас позволения представить небольшую притчу - быть может, несколько детскую, но таковую лишь по своему происхождению, а отнюдь не по тем сопоставлениям, к которым она ведет.

В раннем детстве однажды ночью мать подарила мне брата. Утром, пораженный этим неожиданным зрелищем, я спросил свою няню, откуда взялся этот младенец. Она ответила мне, как и большинство женщин её круга, что его нашли в огороде под капустным листом.

Размышляя о великих предметах, занимающих нас ныне, и о том, как философы пытаются объяснить нам их происхождение, я порой не мог удержаться от мысли - признаюсь в этом, - что они, считая нас, судя по их речам, несмышленими детьми, решили точно так же поместить человека под капустный лист, до тех пор пока мы не будем в состоянии узнать больше.

Но я также помню, что, каким бы маленьким я ни был, я не желал оставлять последнее слово за няней; и некоторое время спустя я сказал ей: «Если брата нашли в огороде под капустным листом, то почему же не берут там же и всё то, что ему дают и что используют для ухода за ним: и мамино молоко, которым его кормят, и пеленки, в которые его заворачивают, и огонь, которым его согревают, и даже те песни, которыми вы пытаетесь его развеселить, покачивая его колыбель? «Помолчи, малыш, - ответила она мне, - в твоём возрасте не стоит знать так много».

То, что я говорил тогда своей няне, я с ещё большей уверенностью скажу теперь мнимым учителям наших языков; и, показав им бесполезность их затей, я продемонстрирую им ложность их учения. В самом деле, если допущение, на котором они хотят воздвигнуть свое здание, более чем сомнительно; если основы, к которым мы пытались их вернуть, неизменно проявляются вновь, какие бы усилия они ни прилагали, чтобы их устранить; и если эти основы упрямо отстаивают свои права, то не логично ли предположить, что все открытия, совершаемые ими с такой проницательностью в рамках этого вымышленного допущения, были бы сделаны ими точно так же, и даже в ещё большем объеме, на пути, имеющем все черты реальности?

Разве не кажется тогда почти несомненным, что они приписывают воображаемому источнику, которым они тешат себя, то, что на самом деле принадлежит коренному источнику человеческого бытия? Или же источнику того языка, который человек должен был обрести одновременно с жизнью; источнику всех тех чудес, которые этот язык должен ему открывать, будучи тем единственным средством, с помощью которого человек проявляет все присущие ему свойства; наконец, источнику всех тех сокровищ истины, примеры которых он ежедневно проявляет в виде знаков, и которыми он так склонен гордиться, когда совершает их открытие?

Неужели не очевидно, что все те прекрасные наблюдения, которыми полны их труды - о развитии человеческого языка, о его употреблении, о его связи с общественными институтами, о совершенствовании и искажении, которым он ежедневно подвержен под влиянием множества различных составляющих нас элементов и мощных окружающих нас обстоятель-

ств, - неужели не очевидно, говорю я, что всё это объяснится гораздо лучше и с меньшим количеством наслоений через тот же самый источник, который породил язык человека, и через злоупотребление его дарами, нежели через вымысел, который ему явно чужд?

Если это так; если верно - возвращаясь к стилю моей притчи, - что наставники наших языков, поместив человека под капустный лист, не могут, тем не менее, найти там никакой помощи, в которой он нуждается; если они вынуждены вопреки своей воле (и, я даже готов допустить, втайне от самих себя) брать в отцовском доме и пищу, которой хотят его напитать, и великолепные наряды, которыми хотят его украсить, и наставления, с помощью которых они хотят развить его разум, - то не проще ли было позволить ему родиться в этом доме и не давать ему мнимую мать, в то время как всё необходимое они получали от матери настоящей?

Независимо от бесполезности указанного наставниками языков средства, и независимо от несовершенства их учения, им можно предъявить и другое возражение. Оно заключается в том, что если бы в своих теориях о происхождении языков они действительно отыскивали истинный способ их формирования, то это стало бы для человечества сущим мучением. Ведь может ли быть что-то более прискорбное, чем та неимоверная протяженность времени, которую ему пришлось бы провести в ожидании, и то бесконечное число веков, которое должно было бы миновать, прежде чем человек открыл бы, развил и довел до совершенства способ удовлетворения своей потребности в беседе и взаимопонимании?

Сколько поколений было бы принесено в жертву этому удручающему ожиданию? Сколько членов человеческой семьи оказалось бы отсечено от жизни до того, как эта семья смогла бы воспользоваться своими правами? И когда она наконец ими воспользуется, какую пользу принесет слава человеческого рода тому бесчисленному множеству людей, которые уже успели бы пройти свой земной путь, так и не сумев осуществить самую значимую цель своего существования?

Даже самые ничтожные существа в природе не подчинены этому возмутительному и противоречивому закону. Их язык всегда при них, он рождается вместе с ними и развивается постепенно, в согласии со всеми способностями, которые им положено проявлять, как мы уже видели выше. Они не перепоручают свои радости будущим поколениям своего вида. Они получили от благодетельной природы средства добывать их самостоятельно; и если животные, чтобы прокормиться, совершенствоваться, продолжать свой род и взаимодействовать друг с другом сообразно своему виду, нуждались в том, чтобы ждать уроков от своих потомков, их род угас бы уже на первых представителях или, вернее, вовсе никогда бы не существовал.

И вы, теоретики, вы, признающие превосходство человека над всеми прочими существами; вы, кто собственными талантами доказали бы это превосходство, даже если бы громогласные учения утверждали обратное, - неужели вы хотите, чтобы именно человек, это привилегированное существо, оказался единственным, на кого пало бы столь пагубное исключение? Вы хотите, чтобы тот, кто единолично призван наслаждаться великолепным даром речи, делающим человека вечным чудом, оказался при этом единственным, кто обречен на лишение столь прекрасного права до тех пор, пока потоки веков, омывая эту драгоценную жилу, не сумеют наконец открыть ему все её богатства! Вы не страшитесь приносить в жертву священнейшие права человека мимолетной выдумке вашего ума, и притом на протяжении бесчисленного ряда поколений! Вы не боитесь того, что ваши учения вступают в противоречие со здравомыслием строгого разума! Вы не боитесь выставлять свои иллюзии на суд реальности!

О вы, в ком нам так хотелось бы видеть апостолов истины, позаботьтесь же, ради вашего собственного величия, равно как и для нашего удовлетворения, позаботьтесь о том, чтобы избрать путь более последовательный и поучительный. И не забывайте: нравственное чувство, если вернуть его к истинным началам, дает вам для этого все необходимые средства. Именно оно, гражданин, на вашем собственном опыте и без всяких чудес убедит вас в том, что слово было необходимо для возникновения самого слова; потому что таков всеобщий и непреложный закон: всякая вещь должна сама раскрывать свою суть.

Это учение не должно внушать вам опасений. Если бы вы вникли в него глубже, то не стали бы попрекать меня, как вы это делали на заседании, склонностью к религиозным идеям.

Тогда я ничего не ответил, поскольку мне пришлось бы говорить о себе самом, а я не считал уместным в столь важных делах подменять обсуждение сути вещей обсуждением личности. Теперь, когда наша дискуссия окончена, я могу вернуться к этому и сказать, что в юности я несколько лет прослужил офицером в линейных войсках, но, увлеченный тягой к наукам, рано удалился от дел, предпочтя уединение и независимость. С тех пор я не занимал никаких постов ни при старом порядке, ни при нынешнем строе; а значит, ни мое прошлое положение, ни моя нынешняя жизнь не несут на себе и тени суеверия или фанатизма.

Полагаю, на этом я могу закончить свои замечания и ответы на те возражения, которыми вы дополнили картину нашего спора в собрании. Я обещал излагать свои принципы лишь в той мере, в какой они касаются наших дискуссий; и всё побуждает меня сдерживать слово. Однако, не отступая от этого правила и не переставая верить, что мы можем почерпнуть в самих себе знания более высокие, чем те, что содержатся в книгах, я приведу ниже несколько цитат в подтверждение того, что изложил в своем ответе. Они покажут вам, что мои принципы и я сам уже давно составляем единое целое.

С уважением и почтением.

Вот цитаты, о которых я только что упомянул (авторства Сен-Мартена).

О заблуждениях и истине.²

Стр. 246. Разве не следовало, напротив, понять, что интеллектуальные способности человека, будучи более высокого порядка, чем причины чувственные (*сензитивные*), не могли находиться в подчинении у этих чувственных причин? И что нашим интеллектуальным способностям для их приведения в движение и оживления требовалось воздействие причины и деятеля иного рода - то есть такого, который был бы той же природы, что и интеллектуальное существо человека?

Стр. 460. Таким образом, верно, что если бы наблюдатели дошли до того тайного и внутреннего выражения, которое интеллектуальное начало производит в нас, прежде чем проявиться вовне, - они бы не стремились объяснить факты высшего порядка лишь простыми законами материи.

Стр. 464. Безусловно, было бы интересным и поучительным исследованием наблюдать во всей природе то соответствие, что существует между способностями существ и средствами, данными им для их выражения... В этом смысле мы могли бы приписать некое подобие языка даже самым малым из сотворенных существ...

Естественная картина отношений, существующих между Богом, человеком и вселенной.

(Часть первая, стр. 223). Если очевидно, что мы не можем воспринимать ничего в интеллектуальном плане иначе как через чувственное, и если при этом мы не сомневаемся в том, что интеллектуальное начало человека получало - и получает ежедневно - некие мысли, то из этого следует, что эти мысли приняли некую чувственную форму, прежде чем достичь его. Словом, из этого следует, что подобная модификация или этот чувственный знак невидимо существует вокруг нас, подлежит нам, равно как и сам источник мыслей; и если бы вместо вторичных мыслей, которые мы получаем от людей, мы возвысились до мыслей живых и первоначальных, почерпнутых в самом их источнике, то им обязательно предшествовали бы аналогичные им живые знаки, им присущие - подобно тому как грубые и условные знаки, такие как письменность и речь, предшествуют для нас мыслям, которые передают нам другие люди.

Стр. 235. Когда мы преисполняемся восхищением перед красотой природы, благоговением перед героями, нежностью к другу - мы всё еще далеки от идолопоклонства. Мы бы ни-

² Некий мошенник, выдававший себя за автора этого сочинения, осмелился добавить к нему продолжение, не имеющее к нему никакого отношения и официально отвергнутое истинным автором.

когда не приписали ни одному низшему существу ни имен, ни титулов, принадлежащих Бо-
жеству, если бы идея высшего совершенства не была предварительно развита в нас - либо са-
мой природой, либо примером и даже тем несовершенным обучением, которое мы получаем
в процессе воспитания и от окружающих нас людей.

И даже когда мы забываемся настолько, что обожествляем людей или чисто земные пред-
меты, на самом деле вовсе не их мы возводим в достоинство богов; они слишком слабы и не-
мощны, чтобы склонить нас к истинному идолопоклонству. Скорее, это величие нашего соб-
ственного существа мы низводим с той высоты, на которую его подняли пример и
наставление, и позволяем ему покоиться на низменных объектах.

Человек желания.

(№ 7). Языки для них - лишь совокупность знаков, а не выражение и плод самой жизни.

Потому и происхождение их они ищут исключительно в наших простейших связях;

И это при том, что им во всеуслышание было сказано: для самого установления речи уже
необходима была речь;

И при том, что они видят, каким путем дети обучаются языкам и что существует лишь
один закон, который подстраивается и соразмеряется со всеми нуждами и любым возрастом.

Материя, материя, какую пагубную завесу набросила ты на истину!

Слово явилось на землю лишь путем возрождения; прежде оно было для нас сокрыто.

Оно могло возродиться лишь как семя, подобно растениям; но прежде оно должно было
дать свой собственный росток, чтобы затем принести плоды в человеческом роде.

(№ 85). В материалистическом учении нет ничего живого или осязаемого, на что оно
могло бы опереться; оно лишь обречено повсюду выкрикивать: «Пустота, ничто!» - и не спо-
собно нанести своим противникам ни одного действенного удара.

Оно само уязвимо со всех сторон и не имеет ни малейшей оборонительной силы, которую
могло бы противопоставить.

Оно подобно тем идолам из камня и дерева, которые, по словам Варуха, не могли защи-
тить себя ни от непогоды, ни от грязи, оставляемой насекомыми; которые не могли ни ходить,
ни даже стоять на ногах, если их не приковывали скобами, словно преступников.

(№ 163). Когда же ты откроешь глаза на те ребяческие «чудеса», что выходят из твоих рук?

Ты способен лишь на перестановки, тогда как творения природы - это непрерывное сози-
дание. Повсюду она следует своему труду и никогда не замечает твоих дел.

(№ 263). Человек, ты столь великое существо, что лишь твоё собственное действие спо-
собно доказать тебе твоё величие!

Ты не найдешь себе места между сомнением и чудесами. Если ты сам не создаешь миры,
то перестаешь верить, что рожден Создателем миров.

Новый человек.

(№ 22). Таков этот неисчерпаемый рудник, в котором нет таких богатств, которые мы не
могли бы найти, но который стал словно чужим даже для того, кто является его владельцем;
ведь люди, жаждущие внешних наук, обратили вовне все способности своего духа вместо того,
чтобы направить их на тот внутренний мир, который научил бы их всему и одарил бы всеми
своими сокровищами.

Так они позволили завалить этот рудник обломками, которые падают туда ежедневно; он
оказался настолько скрыт под ними, что они перестали верить в его существование, а затем
приложили все усилия, чтобы помешать и нам поверить в него и попытаться его разрабаты-
вать.

(№ 70). Именно в этом отношении тебе следует рассматривать себя как некую всеобщ-
ность, поскольку ты находишь в себе мир божественный, мир духовный и мир природный;
тем самым ты - образ Того, Кто всё создал и Кто является всем. Но ты остаешься образом Того,

Кто всё создал и Кто является всем, лишь до тех пор, пока пребываешь в Нем, и пока Он сам придает форму всем твоим способностям и всему твоему существу; ведь как мог бы ты быть частичной всеобщностью, если бы не был постоянно зачинаем, рожаем и питаем великой Всеобщностью?

Ecce homo.

(№ 1). Воспользуемся ли мы сокровищами истины, которые этот божественный союз нам открывает - это, несомненно, то, что должно оказать величайшее влияние на наше подлинное удовлетворение, но это никак не влияет ни на существование самих этих сокровищ, ни на ту часть нас самих, которая является их вместилищем. Таким образом, утрата этого возвышенного чувства в искаженных душах и все вытекающие из этого заблуждения не могут уничтожить ни необходимый и вечный первопринцип бытия, ни ту божественную аналогию, которую каждый из нас имеет с Ним.

(№ 2). Человек может перестать быть тем, кем он был, но он всегда способен чувствовать то, чем он должен быть. Он всегда может ощущать несовершенство своей тленной и материальной природы, которая обладает лишь пассивной властью над ним - властью поглощать его способности из-за беспорядка и непроницаемости, которым она подвержена; в то время как его мыслящее существо обладает активной силой создавать, так сказать, тысячи способностей в его телесном существе, которых оно не имело бы по своей природе и без воли человека. Это различие мы намеренно представляем здесь человеку материальному, и оно слишком очевидно, чтобы можно было оправдать того, кто не замечает в нем следов своего бывшего достоинства и превосходства своей мысли. Это различие, повторюсь, могло бы возвысить человека и доказать ему, насколько правы те, кто говорит, что внутренние истины гораздо более надежны и поучительны, чем истины геометрические. Ведь последние опираются лишь на поверхности, в то время как первые активно рождаются в самом центре и позволяют разглядеть его глубину.

Письмо к другу о Французской революции (стр. 6).

Прежде всего следует заметить, что душа человека может жить только восхищением, и что среди всех существ природы он - единственный, кто к нему способен. Эта потребность в восхищении предполагает наличие над нами неисчерпаемого источника этого самого чувства, которое является для нас насущной пищей. В противном случае само наше первоначало обмануло бы нас, наделив неодолимым стремлением, которое оно не могло бы удовлетворить. Это одновременно и со всей очевидностью доказывает: существование высшего и достойного восхищения Существа, живущего собственным восхищением; наше абсолютное превосходство над всеми существами природы, поскольку мы - единственные, кто может причаститься к сладости этого чувства; и, наконец, нашу бессмертную связь и мощную аналогию с вечным и неугасимым средоточием жизни и света.

Озарение о человеческом сообществе (стр. 17).

Он (Руссо), подобно всем остальным политическим мыслителям, рассматривает законы и соглашения, которые, по его мнению, создали или должны были создать две эти способности (свобода и воля); тогда как следовало лишь изучить законы и соглашения, которым они должны были следовать. Этим способностям нужно было сказать: «Познайте неизменные законы и установления, предшествовавшие вам, и исполняйте их - тогда общественный порядок обретет свою истинную меру».

Ибо это стало бы неслыханным новшеством среди всех классов и разрядов существ, если бы хоть одно из них было направлено своим истоком в область, где оно должно было бы само устанавливать законы, согласно которым оно...

...должно было бы жить; где оно не нашло бы все эти законы уже установленными и где у него было бы иное дело, кроме как им подчиняться. Это аксиома, которую мы не боимся представить на суд самым строгим наблюдателям; она заранее учит нас тому, как стоит относиться ко всем тем законам, которые политический деятель изо дня в день выдумывает сам.

Размышления наблюдателя о вопросе Института: «Какие учреждения более всего способны заложить основы народной морали?» (стр. 49).

Если законодатель призван передать своему народу дух жизни и если для этого он прежде сам должен им проникнуться, то как он сможет достичь этого состояния, если не ощутит в себе желания и силы проникнуть к самым истокам, где пребывает этот огонь? И как он почувствует эту силу и это желание, если сначала не удалит от очага, призванного принять эту искру, все чужеродные вещества, которые помешали бы ей воспламениться, даже если бы она там появилась?

Обладание таким сокровищем и возможность делиться им, несомненно, заняли бы первое место среди прав человека. Именно поэтому люди с таким пылом стремятся к высоким постам, где этот священный огонь предположительно и находится. Однако, как и всякое право, оно даруется, обретается или принимается, но отнюдь не захватывается силой.

Крокодил (стр. 83).

Материальные объекты занимают нас и привязывают к себе так сильно лишь потому, что они представляют собой уменьшенное и видимое воплощение всех невидимых добродетелей и свойств, заключенных между тем уровнем в ряду вещей, на котором они начинают существовать, и тем уровнем, на котором они обретают способность выйти за свои пределы и проявить себя... подобно тому как цветок есть видимое соединение всех свойств, незримо существующих в нем от самого корня и до самого его расцвета... Именно поэтому материальные объекты так сильно разжигают наше любопытство; ведь нас влечет в них не столько то, что мы видим, сколько то, чего мы не замечаем... Вот почему, когда натуралисты пытаются очаровать нас изяществом, с которым они описывают всё видимое и осязаемое в этих предметах, они не справляются с той ролью, которую, казалось бы, взяли на себя перед лицом природы... Они обманывают наши ожидания, не утоляя ту пылкую и насущную потребность, которая влечет нас не столько к тому, что в этих вещах доступно взору, сколько к тому, что скрыто от него.

(Стр. 329.) Искусство условных знаков в том виде, в каком его, судя по всему, стремятся создать, вовсе не достигло совершенства и никогда его не достигнет, какие бы усилия ни прилагало тщеславное корыстолюбие человека ради этой цели. Ведь для того, чтобы учредить совершенное искусство знаков, человеку прежде следовало бы овладеть совершенным искусством мышления; поскольку знаки - как строго определенные, так и произвольные - несут в себе лишь тот смысл, который в них был вложен. Таким образом, знак не смог бы передать мне совершенную идею, если бы ранее некий разум, уже обладающий этой совершенной идеей, не поместил и не утвердил её в данном знаке. Повторим же еще раз: чтобы достичь совершенства знаков, потребовалось бы, чтобы те, кто обращается к ним как к средству, обладали именно тем, чего они от этого средства ожидают, - одним словом, обладали бы совершенством мысли.

О духе вещей. (Том первый, страница 112).

Все эти мысли, вечно новые, всегда были бы действенны, потому что их неизменно воодушевлял бы светоч жизни; в этом и заключается возвышенная цель нашего происхождения; таковы были бы наши права; таков тот деятельный свет, который мы непрестанно распространяли бы вокруг себя и по сравнению с которым наши книги - лишь ложный и обманчивый

образ, когда мы представляем их со слепым и горделивым притязанием на то, что они якобы должны производить этот победоносный эффект.

Но почему человеку следовало бы естественным образом источать столь великие сокровища и столь великий свет? Дело в том, что он сам и есть Книга в высшем смысле слова; он - единственная книга, которую Бог пожелал написать и издать самолично. Ведь прочие книги - такие как небеса, земля, небесные силы, управляющие вселенной, зримое явление всех тех нематериальных даров, что были излиты на обитель человека, самые чтимые предания благочестивых людей - все эти книги, повторюсь, либо были заповеданы Богом, либо Он позволил им быть составленными. Вот почему для нас так полезно и так важно читать в самом человеке; в этой книге, которая является единственной, где начертано что-либо рукой самого Бога; то есть в книге, которую можно было бы назвать первозданным божественным преданием или даже подлинным текстом всех божественных мыслей.